

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Марселен Дефурно

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ИСПАНИИ ЗОЛОТОГО ВЕКА









ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



ПОВСЕДНЕВНАЯ

Марселен Дефурно

Marcelin Defourneaux
L'ESPAGNE
AU SIÈCLE D'OR



HACHETTE LITTÉRATURES

ЖИЗНЬ

ИСПАНИИ ЗОЛОТОГО ВЕКА



МОСКВА · МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ · ПАЛИМПСЕСТ · 2004

УДК 94(460)«654»
ББК 63.3(4)511(4 Исп)
Д 39

Научный редактор, автор предисловия
В. Д. БАЛАКИН

Перевод с французского
Т. А. МИХАЙЛОВОЙ

Художественное оформление серии
С. ЛЮБАЕВА

Ouvrage publié avec l'aide
du Ministère français chargé de la Culture –
Centre national du livre

Издание осуществлено при поддержке
Министерства культуры
(Национального центра книги)

Перевод осуществлен по изданию:
Marcelin Defourneaux. L'Espagne au Siècle d'or.
Hachette, 1996

ISBN 5-235-02445-1

© Hachette, 1996
© Михайлова Т. А., перевод, 2004
© Балакин В. Д., предисловие, 2004
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2004
© Палимпсест, 2004



Миф о золотом веке сопровождает человечество на всем протяжении его истории. Поскольку не представлялось возможным вновь обрести утраченный рай, эпитет «золотой век» стали применять к реальным историческим эпохам, отмеченным расцветом и подъемом в различных областях жизни. При всей условности и даже спорности такого определения должны быть объективные предпосылки для его применения — успехи в экономике, политике, культуре, что само по себе не предполагает земного благоденствия для всех или хотя бы для большинства. Скорее наоборот, героические периоды в истории чаще всего были ознаменованы трудной жизнью народа, что служило и продолжает служить поводом, чтобы подвергнуть сомнению «золотое» содержание золотого века: для кого он был таковым и был ли вообще? Все это в полной мере относится к периоду испанской истории, традиционно именуемому золотым веком.

М. Дефурно в своей книге, выходящей теперь и на русском языке, придерживается традиционного определения этого периода — XVI — первой половины XVII века в истории Испании*. Не вдаваясь в полемику с

* Это определение используется и другими авторами, хотя хронологические рамки варьируют в весьма широком диапазоне, от 1470 до 1714 г.: *Davis R. T. The golden century of Spain. 1501—1621.* London, 1937; *Bennassar B. Un siècle d'or espagnol (1525—1648).* Paris, 1982; *Kamen H. Golden age Spain.* N. Y., 1988.

его противниками (среди которых немало и самих испанцев), он разворачивает перед читателем живописные картины повседневного быта различных слоев испанского общества, с самых низов до элиты господствующего класса, что, собственно, и являлось его главной задачей. Политика и экономика присутствуют лишь в качестве фона, на котором он рисует колоритные образы крестьян, ремесленников, купцов, солдат, студентов, артистов, писателей, монахов, авантюристов, идалго, придворных дам и кавалеров, королей. Вполне традиционен и его взгляд на золото и серебро, поступавшие в страну из южноамериканских колоний, как средство, позволившее Испании в рассматриваемый период осуществлять амбициозные политические проекты, но не оградившее ее от последующего упадка. Бесспорен (этого никто не отрицает) наблюдавшийся в то время культурный расцвет страны, который, по мнению многих, и был собственно золотым веком Испании. В других отношениях, полагают они, ее успехи были далеко не столь впечатляющи, чтобы говорить о некой эпохе расцвета — о золотом веке.

Поскольку М. Дефурно, как я уже отметил, уклонился от полемики, сосредоточившись на бытописании эпохи, будет уместно рассказать, хотя бы в самых общих чертах, о характерных особенностях исторической судьбы Испании. Сосуществование на Пиренейском полуострове в течение семи столетий трех религий — христианства, ислама и иудаизма — решающим образом повлияло на формирование национального характера испанцев, что нашло свое отражение и в историографии: для многих исследователей, как в самой Испании, так и за ее пределами, эта страна настолько «другая», что требуются особые категории для ее истолкования и понимания (правда, нечто подобное мы уже слышали: «Умом Россию не понять...»). Испанцев представляют как нацию, глубоко отличную от других народов Европы. Поскольку Испания, по мнению сторонников этой изоляционистской теории, шла своим особым путем развития как в Средние века; так и в Новое время, она

якобы не знала ни Ренессанса, ни барокко, ни Контрреформации, поэтому некоторые социальные характеристики — глубокая и страстная религиозность, обостренное чувство личного достоинства, болезненная гордость при отсутствии материального достатка — считаются типично испанскими, коренящимися в истории этого народа. Как в социальном, так и в культурном отношении испанцев считают далекими от мира сего. Подобного рода изоляционистский взгляд можно встретить среди историков различных убеждений: традиционалистов он привлекает акцентированием якобы исконно испанских ценностей, либералов — как повод в очередной раз предать проклятию отсталость своей страны, а не испанцы усматривают в нем подтверждение романтического представления о народе, якобы живущем прошлым.

Однако развитие в последние десятилетия компаративистики (сравнительных исторических исследований) с привлечением методов социологии и социальной антропологии* со всей очевидностью продемонстрировало, что, несмотря на имеющиеся особенности, исторический опыт Испании нельзя признать уникальным. В процессе социального и культурного развития страны действовали те же самые факторы, что и в Западной Европе. Кастильские купцы и предприниматели были весьма активны на рынках Европы как до, так и после открытия Америки, и тесно взаимодействовали с генуэзцами в средиземноморской торговле. Накапливались крупные капиталы, а дух раннего предпринимательства на Пиренейском полуострове был не менее крепок, чем где бы то ни было еще. Хотя многие писатели того времени продолжали высмеивать толстосумов и превозносить доблести средневековых рыцарей, финансовая буржуазия, жиревшая на торговле, занимала в Испании все более важное место. Трудность заключается лишь в том (и здесь она та же, что и в других

* См., в частности: *Gerbet M.-C. La nobles dans le royaume de Castille. Etude sur ses structures sociales en Estremadure (1454—1516)*. Paris, 1979; *Pitt-Rivers J. The People of the Sierra*. Chicago, 1991.

западных странах), чтобы проследить эволюцию буржуазии, следы которой зачастую теряются ввиду перехода ее представителей в благородное сословие или утраты ими своих состояний из-за превратностей торгового промысла. При ближайшем рассмотрении оказываются не столь уж глубоко укоренившимися, как традиционно считалось, и проблемы, связанные с чувством сословной чести и общественным положением: писатели XVI века допускали, что крупномасштабная торговля может быть столь же почетным занятием, как и профессия воина или литератора, а в XVII веке купцов даже принимали в духовно-рыцарские ордены. Телегу ставят впереди лошади исследователи, утверждающие, что экономические проблемы Испании в Новое время объясняются отсутствием в стране капиталистической этики и, как следствие этого, недостатком активной и преуспевающей буржуазии: было в ней то и другое, и лишь неблагоприятная в целом ситуация в стране не позволяла им развернуться. В книге М. Дефурно приводятся многочисленные примеры того, как неумолимо укоренялось в сознании испанцев презрение к труду и вообще любой полезной деятельности.

Негативна оценка исторической роли испанской аристократии, выступающей в роли реакционной общественной силы. Несомненно, что аристократия была хранительницей традиционных ценностей с упором на воинскую доблесть и приоритетом земледелия над торговлей. Однако, если еще во второй половине XV века, при Католических королях Фердинанде и Изабелле, династический брак которых и личная уния Арагона и Кастилии положили начало современной Испании, доступ в благородное сословие открывался только для отличившихся на войне, то в дальнейшем рекрутирование правительственной бюрократии из рядов благородного сословия все больше девальвировало рыцарскую этику, и при Филиппе II (1556—1598) в ходу были сетования на то, что перо теперь заменило меч и кастильская аристократия разучилась сражаться. Настойчиво внедрялся в общественное сознание ренессансный иде-

ал, согласно которому государственная служба — в администрации, университетах или армии — дает более важный титул, нежели рождение дворянином. В Испании, так же как во Франции и Англии, все больше дворянских титулов жаловалось государством. Эта «инфляция благородства» служила реальным отражением сближения финансовой и землевладельческой элит, доказывая тем самым, что испанское общество не застыло в своем развитии.

На другом конце социальной лестницы находилась масса беднейшего населения. Особый литературный жанр, плутовской роман, зародившийся в Испании и получивший в XVII веке широкое распространение, немало способствовал складыванию образа этой страны как безнадежно погрязшей в нищете. Заметки иностранных путешественников также увековечивали репутацию испанцев как нации праздных дворян и оборванцев-крестьян. Именно эта литература послужила одним из основных источников для написания М. Дефурно книги о повседневной жизни испанцев золотого века. И определенные политические факторы в совокупности с инквизицией усиливали непонимание ситуации на полуострове, так что не кажутся удивительными высказывания вроде того, что нет страны, менее известной остальной Европе, чем Испания. Принимается как бесспорная истина, что Филипп II закрыл страну для внешних влияний, хотя понятно, что эта цель не могла быть в полной мере достигнута: по крайней мере, поддерживались многосторонние связи с Италией, большая часть которой находилась под властью испанской короны, и Нидерландами.

Духовная и церковная история золотого века в Испании имеет ту отличительную особенность, что ее миновала Реформация. Это само по себе представляется загадкой, поскольку испанская церковь, подверженная всем характерным порокам того времени, нуждалась в реформировании не меньше, чем в странах, переживших Реформацию. Единственным правдоподобным объяснением может служить тот факт, что мультикультурный характер испанско-

го общества отвлекал его внимание от проблем самой церкви, направляя всю энергию на конфронтацию с иудаизмом и исламом. В связи с этим возникает вопрос о значении инквизиции. М. Дефурно в своей книге уделяет ему много внимания, и его оценка деятельности Святой службы мне представляется более обоснованной, нежели предпринимавшиеся в последние десятилетия попытки представить ее довольно безобидной, находящейся как бы на периферии общественной жизни. Инквизиция не только терроризировала представителей культурных и религиозных меньшинств, но и подавляла духовную свободу испанского общества в целом, оказывала крайне негативное влияние на литературу, искусство и науку, изолировала Испанию от других европейских стран.

По крайней мере, первая половина золотого века Испании была действительно славной эпохой в истории страны. Ее стремительный взлет, превращение при Карле V (1516—1556) в мировую империю, над которой никогда не заходит солнце, ставили в тупик многих историков, пытавшихся искать объяснение этому феномену. Не менее трудные вопросы ставил перед историками и последовавший за этим взлетом упадок Испании, заставлявший многих испанцев с пессимизмом смотреть на судьбы своего отечества. Этот пессимизм находил свое выражение, в частности, и в высказываниях подобного рода: Испания якобы была по-настоящему великой и процветающей при Католических королях Фердинанде и Изабелле, а то, что называют золотым веком, в действительности оказалось лихорадочным блеском упадка.

Так не является ли золотой век Испании иллюзией? Ответ на этот вопрос зависит от политических и моральных установок индивида, и многие испанские историки в XIX—XX веках проклинали весь этот период как время тирании и массовых предубеждений. Другие, не отрицая, что Испания была в XVI веке великой державой, усматривают в ее последующем упадке напоминание о неизбежности расплаты

за имперское величие. Если же попытаться уйти от моральных и идеологических оценок эпохи, получившей название золотого века, и принимать во внимание только факты, то придется признать, что в течение полутора столетий Испания прочно занимала положение великой европейской державы, осуществила колонизацию Южной Америки и Филиппин, выступала в роли стойкого и бескомпромиссного защитника католической веры и обогатила мировую цивилизацию вершинными достижениями своей культуры. В истории страны это был воистину золотой век, даже если повседневная жизнь большинства ее населения была весьма далека от райского блаженства, о чем увлекательно рассказал М. Дефурно в своей книге, за чтением которой можно провести с пользой для себя много приятных часов.

В. Д. Балакин

Посвящается Мишель

Применительно к Испании, выражение «золотой век» (*el Siglo de oro*) может пониматься двояко. С одной стороны, оно охватывает весь период (около полутора веков) от начала правления Карла V и до заключения Пиренейского мира, в течение которого золото и особенно серебро, поступавшие из Америки, позволяли Испании осуществлять крупномасштабные акции за ее пределами и распространять свое влияние на всю Европу, тогда как с конца царствования Филиппа II во внутренней жизни страны стали проявляться симптомы, свидетельствовавшие о ее экономическом истощении. С другой стороны, этот термин относится к эпохе, которую прославил гений Сервантеса, Лопе де Вега, Веласкеса и Сурбарана. В этот период политически ослабленная Испания добилась признания со стороны своих соседей блистательными достижениями в области культуры и особенно литературы, породившими за пределами страны, в частности во Франции, многочисленные подражания, давшие начало Великому веку Европы.

Попытка представить исчерпывающую картину «повседневной жизни», которая охватила бы весь XVI век и первую половину следующего столетия, сопряжена с риском анахронизма не только в описании материальной стороны жизни людей, но и,

что кажется нам более важным, в понимании этой стороны. Поступки и поведение, образующие повседневную жизнь каждого индивида или каждой группы людей, неотделимы не только от социальных структур, к которым они принадлежат, но и от концепций и идеалов, которые им навязываются и которые представляют собой отличительный признак эпохи.

Итак, в эпоху Филиппа II (1556–1598) и двух его преемников, Филиппа III (1598–1621) и Филиппа IV (1621–1665), происходит эволюция политических и моральных установок, влияние которой со всей очевидностью проявляется в различных аспектах общественной жизни и находит отражение в литературе. Смерть «благоразумного короля» позволила аристократии занять важное место в управлении делами государства и способствовала росту ее социальной значимости; изгнание морисков означало ликвидацию последних остатков религии ислама, унаследованных от средневековой Испании; упадок в экономике способствовал более четкому проявлению контраста между различными социальными группами населения, а спад производственной активности сопровождался все большей склонностью к показной роскоши и чопорности. Стоит отметить и такой парадокс, что Испания, в то время как гений ее писателей обеспечивал ей очевидное интеллектуальное лидерство в Европе, все больше стремилась замкнуться в самой себе, сделаться в некотором роде более «испанской», чем в предшествующем веке.

Несомненно, следует с недоверием отнестись к бесчисленным литературным свидетельствам, рисующим нам лицевую и оборотную стороны общества того времени и, возможно, зачастую искажающим действительность, представляя нам как «повседневное» то, что, напротив, привлекало внимание своей неординарностью. Следовательно, использование этих свидетельств имеет смысл только при условии их постоянного сопоставления с другими, документальными, источниками. Среди них рассказы иностранных путешественников представляют особый интерес, поскольку, несмотря на их многочисленность и различия в интеллектуальном уровне их авторов, совпадение точек зре-

ния, изложенных в них, в какой-то мере можно рассматривать как гарантию достоверности. Тем не менее не следует забывать, что как раз в первой половине XVII столетия «путешествие в Испанию» начинает превращаться в литературный жанр, просуществовавший вплоть до времен Т. Готье, А. Дюма и дальше, характерной чертой которого является поиск всего необычного. Из рассказов о путешествиях мы узнаем, что некоторые аспекты материальной и духовной жизни Испании эпохи золотого века, способные поразить наше воображение сейчас, спустя три века, отделяющих нас от той поры, поражали уже современников, приезжавших туда из других стран Европы, и что Испания привлекала к себе внимание непохожестью на другие края — как своей природой, так и людьми.

И наконец, эти повествования позволяют нам скорректировать неверное впечатление, возникавшее в результате рассмотрения исключительно внешних, порой весьма фривольных аспектов жизни испанцев. Они помогают нам не поддаваться иллюзии, которая рождается из наших знаний более поздней истории; иллюзии, которая заставляет верить в то, что в великом противоборстве Франции и Испании последняя, экономически истощенная, была обречена на поражение. Нет путешественника первой половины XVII века, который не восхищался бы могуществом «испанской монархии» (термин, обозначающий весь комплекс владений, управлявшихся из Мадрида), государства, искусной политики и военных предприятий которого не переставал страшиться Ришелье вплоть до своей смерти, наступившей его за несколько месяцев до Рокруа*.

Таковы причины, побудившие нас довериться нескольким иностранным путешественникам, большей частью французам, дабы они представили нам в воображаемом «*Письме о путешествии в Испанию*» «гордый народ», по отношению к которому в своем «*Политическом завещании*», составленном в 1635 году, кардинал Ришелье выразил столько же восхищения, сколько и враждебности.

* Рокруа — город во Франции, близ которого в 1643 г. в ходе Тридцатилетней войны (1618—1648) французы нанесли сокрушительное поражение испанцам. (*Прим. науч. ред.*)

«ПИСЬМО О ПУТЕШЕСТВИИ В ИСПАНИЮ»

Путешествие: таможни, транспорт, постоялые дворы. — Разнообразие испанского пейзажа. Изгнание морисков и его последствия. Экономический спад и его причины. Упадок городов; роль иностранцев. Испанский темперамент и провинциальный партикуляризм. — Королевство Франция и королевство Испания

Долгое время занимаясь изучением кастильского языка, чтобы глубже проникнуть в смысл восхитительных художественных произведений, в которых светлые умы обрисовали нам характеры и нравы жителей своей родины, я захотел изнутри узнать этот гордый и благоразумный народ, который, казалось, только затем и появился на исторической сцене, чтобы указывать другим, как жить, и распространять свое влияние на различные народы.

Между тем я извлек большую пользу из этой истинной и великой школы, каковой является путешествие в чужую страну, но у меня не было достаточно времени в Испании, чтобы прояснить для себя все вопросы, и я не удержался от того, чтобы расспросить людей, достойных доверия, о том, чего не смог увидеть сам, и о том, что могут знать только те, кто

родился, вырос и живет в этих краях. Таким образом, все представлено так, как я это увидел или узнал. Неудивительно, что я, пытаясь охватить самые различные аспекты жизни, где-то ненароком солгу, сам того не желая, или ошибусь, даже не узнав об этом¹.

Я пересек границу Испании в том месте, где это удобнее всего, переплыв через Бидасоа, реку или, вернее говоря, поток, который разделяет два королевства. Жители обоих берегов этой реки говорят на языке, бесписьменном и понятном только в этой местности. Поэтому общение между людьми на этой границе было всегда, даже тогда, когда между двумя народами шла война. В Ируне, первом населенном пункте, принадлежащем королю Испании и находящемся в четверти лье от упомянутой реки, не спрашивают ни паспорт, ни причину, по которой вы сюда приехали, и по отношению к вам не чувствуется ни опасения, ни недоверия. Только представитель инквизиции спросит у вас, нет ли в вашем багаже каких-нибудь произведений, запрещенных Святой Церковью (к которым в основном относятся сочинения теологов-еретиков), и заставит вас заплатить за этот контроль скромный взнос, который там называется налогом инквизиции².

Первая таможня королевства находится непосредственно там, где кончаются горы Басконии, недалеко от города Витория. Именно здесь начинается Кастильское королевство, которое включает в себя всю Испанию, кроме королевств Наварра, Арагон-Каталония и Валенсия. Тем не менее и эти три королевства являются неотъемлемой частью испанской монархии и обязаны подчиняться ее королю; но они сохраняют свои *фуэрос* (*fueros*), то есть определенные привилегии, одна из которых представляет собой большое неудобство для путешественника, как я многократно имел случай убедиться: между Кастилией и упомянутыми королевствами — или лучше сказать провинциями — существуют своего рода «сухопутные гавани», обязательные для путешественника переходы, где помещаются таможня и охрана; через эти контрольные пункты невозможно

проехать, не зарегистрировав под страхом сурового наказания свои упряжки, товары и деньги и не заплатив за все, что считается хоть в какой-то мере новым. Поэтому нужно иметь при себе паспорт, что, однако, порой не мешает таможеннику делать вид, что он сомневается в его подлинности, заявляя, что документ недействителен, и пытаясь проверить, нет ли в вашем багаже еще чего-нибудь такого, что вы не включили в декларацию; на самом же деле он хочет лишь выманить у вас несколько пистолей за разрешение продолжить путь.

Однажды я пожаловался одному знатному испанцу на назойливость этих людей, подобных гарпиям, подстерегающим проезжающих, особенно иностранцев, чтобы подвергнуть его унижению. Он ответил мне, что снисходительное отношение к этим канальям объясняется тем, что основной доход короля заключается именно в этой форме налогов, и на произвол сборщиков закрывают глаза, чтобы те лучше исполняли свой долг. Впрочем, сбором этих налогов занимаются в основном португальские евреи, именующие себя христианами; когда они вдоволь наворуются и набьют себе доверху карманы золотом и деньгами, их пытаются поймать в ловушку инквизиции, обвиняя в том, что они называют себя испанцами лишь для того, чтобы быть принятыми в Испании, а на самом деле они обыкновенные богохульники. Тогда их заставляют вернуть награбленное и поджаривают на медленном огне, чтобы они поплатились за все грехи и все зло, причиненное королю и его подданным³.

Кроме этих неудобств на таможе есть еще и другие обстоятельства, задерживающие путешественника, особенно простой из-за отсутствия лошадей. И при этом нет другой страны в мире, где почта была бы лучше обеспечена лошадьми, которых меняют через каждые два — четыре лье, поэтому всадники могут скакать во весь опор, преодолевая за день до тридцати лье. Но королевская почта служит лишь для пересылки писем и для сверхважных курьеров, отправляемых из Мадрида в другие крупные города и

на границы королевства, чтобы оттуда достичь Фландрии и Италии (если этому не мешает война с Францией); и хотя Филипп II позволил обращаться к услугам почты частным лицам, ею не пользуются для того, чтобы куда-нибудь добраться, и передвижение на мулах остается наиболее популярным. Люди знатного происхождения, желающие путешествовать с комфортом, арендуют подстилку, которую тащат два мула; но мало того, что этот транспорт очень медленный, он еще и чрезвычайно дорогой. Самой обычной считается поездка верхом на муле. Мне пришлось договориться в Сан-Себастьяне с погонщиком мулов (*moco de mulas*), чтобы он одолжил мне двух животных и служил проводником до Мадрида⁴.

Что касается пищи, то я научился путешествовать так, как принято в этой стране, то есть покупать съестное по случаю в различных местах, поскольку невозможно найти на протяжении всего долгого пути какой-нибудь постоялый двор, как это бывает во Франции или Италии, где можно пообедать и устроиться на ночлег. Вот что вы должны проделывать каждый день: прибыв в маленькую гостиницу, вы спрашиваете, есть ли свободные места; получив утвердительный ответ, нужно либо отдать сырое мясо, которое вы везете с собой, либо пойти в мясную лавку, либо дать денег посыльному, чтобы он туда сходил и принес все, что необходимо. Поскольку же зачастую у вас воруют часть того, что вы просите принести, самое разумное — привезти мясо в своей сумке и каждый день запасаться провизией на следующий день в тех местах, где есть все необходимое — хлеб, яйца и масло. По дороге можно встретить охотников, убивших куропаток или кроликов и готовых уступить их вам по сходной цене⁵.

Кажется странным, что в этих придорожных гостиницах нельзя найти ничего, кроме того, что вы принесли с собой. Причина кроется в налогах, которые называются *millions* и которые распространяются на все, что можно есть и пить. В каждом поселке или городке право торговать мясом и другой провизией приобретается у короля откупщиком, и все

это может продаваться только тем, кто купил у него это право.

Постоялые дворы имеют жалкий вид: когда смотришь на всю эту грязь вокруг, пропадает аппетит. Кухня представляет собой место, где посередине разводится огонь под трубой или дымоходом, откуда извергается такой густой дым, что порой кажется, что вы оказались в лисьей норе, из которой выкуривают укравшегося там зверя. Женщина или мужчина, похожие на оборванных нищих, одетые в грязные лохмотья, наливают вам вино из бурдюка козлиной или свиной кожи. Даже самое лучшее вино, которое производится повсюду в этой стране, после хранения в таких мешках, служащих вместо винного погреба (поскольку только в Каталонии и в королевстве Валенсия для этой цели используются бочки), приобретает невыносимый привкус шкуры и шерсти животного, превращаясь тем самым в отвратительное пойло. Но если вы путешествуете в сезон фруктов, вы сможете найти здесь фиги, виноград, яблоки, а также восхитительного вкуса апельсины.

Поскольку стол, накрытый в столовой, является общим для всех, хозяева, слуги, погонщики мулов едят вместе, каждый свое, после чего отправляются спать — одни на соломе, другие в постелях, которые еще хуже этих подстилок: считайте, что свершилось чудо, если блохи и клопы позволят вам хоть на мгновение сомкнуть глаза. Вот что говорит об этом Гусман де Альфараче, который провел ночь в одном из таких пристанищ (*venta*) Андалусии: «Если бы я сейчас предстал перед родной матерью, вряд ли она узнала бы меня, — такое количество блох ползает по мне, как будто я болен корью; когда я встаю утром, у меня нет ни одного живого места без укуса — ни на теле, ни на лице, ни на руках»⁶.

Небольшой компенсацией за столь плохое обращение является то, что вы мало потратите в этих гостиницах, поскольку вам придется выложить ровно ту сумму, которая указана в тарифе, написанном на табличке под названием *el arancel*. Хозяин обязан вывешивать ее так, чтобы каждый мог прочесть то, что на

ней написано; там можно увидеть цену, размер которой определен королевским указом и которая весьма умеренна, ибо обычно не превышает одного реала (который приблизительно равен четырем су) за постель, одного реала за еду и одного реала за свечу и услуги. Но хозяева гостиницы (*venteros*) порой оказываются мошенниками под стать разбойникам с большой дороги, так что утром, прежде чем садиться на своего мула, не забудьте проверить все свое снаряжение, а то можете чего-нибудь не досчитаться.

• • •

Хотя отец Мариана и заявляет в своей «Истории», что земля Испании является одной из самых лучших в мире и ни одна другая не превосходит ее целебными свойствами климата и обилием плодов⁷, однако следует признать, что природа здесь не лучше, чем во Франции, и что сухость климата этой страны и суровость ее гор (за исключением провинций Бискайя, Астурия и Галисия) в сочетании с беспечностью жителей способствуют тому, что бо́льшая часть этой страны остается невозделанной и дикой. Горы, пересекающие Испанию во всех направлениях, не имеют растительности, на них нет деревень, как во Франции, они состоят из высоких, голых и изрезанных скал, которые называют *sierras* или *penas*; если они чуть менее высоки и покрыты низкорослыми деревьями, то их называют просто «горами» и пасут там своих домашних животных. Среди этих гор встречаются и совершенно плоские равнины, как в Кастилии, но большинство из них обрабатывается лишь в окрестностях крупных городов и на расстоянии лье или полулье вокруг деревень, однако селения так удалены друг от друга, что порой можно скакать на лошади целый день, не встретив ни одной живой души, разве что попадется какой-нибудь пастух, стерегущий свое стадо. Большая часть Арагона еще более бесплодна, там нет никакой растительности — ни деревьев, ни травы, разве что тимьян да другие растения, служащие кормом для овец, которых, как мне го-

ворили, каждый год пригоняют сюда из Франции в количестве более двухсот тысяч⁸.

Конечно, Испания не всегда и не везде производит такое удручающее впечатление. Порой достаточно, чтобы умелая рука человека заставила бить воду из земли или подвела воду реки, дабы вырастить прекрасные сады среди этих пустынь. В долине Ла-Манча — которая является одной из самых засушливых — я видел вокруг деревень большое количество колодцев, называемых *norias*, куда ставят колеса, на которых крепятся горшки с землей; мулы, приводящие в движение эту машину, заставляют воду подниматься вверх, откуда она попадает в резервуары и потом течет по маленьким желобкам, орошающим землю, на которой благодаря этому произрастают всевозможные виды зерновых и овощей⁹.

Но похоже, что природа отвела для самых плодородных и приятных мест удаленные части страны. Когда попадаешь в Андалусию, взгляд с удивлением обнаруживает обширные пространства, занятые лесами, оливковыми и апельсиновыми деревьями и кипарисами¹⁰. Самые восхитительные места расположены в окрестностях Гранады, где мавры, которые долгое время жили в этом королевстве, подвели со Сьерры, покрытой снегами, с помощью двух каналов и канав воду, орошающую долину и цветущие холмы вокруг нее, делающую эту местность одним из самых красивых мест в мире.

Прекрасная земля находится в королевстве Валенсия. Эта земля столь богата, что ее называют *regalada* (что означает *подаренная*), будто бы она является подарком небес. Дожди здесь бывают редко, поэтому их заменяет вода фонтанов, которая подводится с помощью маленьких желобов из кирпича в глубь садов. Все королевство зелено от деревьев, травы и виноградников, а в болотистых местах здесь сажают рис; повсюду растут пальмы, лимоны, апельсины, шелковицы (поскольку там разводят шелковичных червей), а также тростник, из которого добывают сладкую воду для приготовления сахара¹¹.

Но этот дивный сад Испании утратил почти все

свое богатство и красоту после того, как король Филипп приказал в 1610 году изгнать всех морисков, живших в его королевстве и которых здесь было больше, чем в любой другой провинции. Это чрезвычайно суровое решение, лишившее короля множества добропорядочных и деятельных подданных, породило различные мнения и споры; одни сожалели о чрезмерной жестокости, вследствие которой целый народ потерял свою родину; другие восхищались действиями, которые не только свидетельствовали о благочестии короля-католика, но и изгоняли из королевства лжехристиан, которые, памятуя о том, что их предки в течение нескольких веков были хозяевами Испании, поддерживали постоянные связи с африканцами, турками и другими врагами монархии.

Мне захотелось поподробнее узнать об истинных причинах этого королевского приказа, но даже и сегодня существует такая разница во мнениях самых образованных и самых благоразумных людей, что по этому вопросу следует предоставить слово им.

Осуждающие решение короля Филиппа III и его советников отмечают, что в течение многих веков испанцы позволяли, чтобы мавры, жившие на отвоеванных у них территориях, сохраняли веру в Магомета и что испанцы из-за своей занятости, поскольку вели постоянные войны, разрешали маврам обрабатывать землю и заниматься различными ремеслами, к чему христиане не были приучены. Они говорят, что когда король Фердинанд и королева Изабелла завладели Гранадой, в результате чего вся Испания оказалась в их власти, они сначала обещали маврам этого бывшего эмирата уважать их религию, но потом нарушили свое обещание и стали охотиться за всеми, кто отказывался креститься; между тем великий король Филипп II, видя, что мавры, живущие в его королевстве, не только тайно хранят веру в свой Коран, но и сохраняют свою одежду, обычаи и язык, приказал, чтобы их рассеяли по всей Испании, дабы они, смешавшись с христианами, разом утратили и воспоминания о своих предках, и силу, которая заключалась в их численности; вот почему

эти мориски — так называют обращенных в христианство мавров — перестали представлять угрозу для веры и для безопасности монархии, несмотря на то, что в глубине души некоторые, или даже большинство из них, оставались привязаны к своей лже-религии. Теперь, говорят сторонники этой точки зрения, самой большой добродетелью считается обращать в свою веру нечестивцев и наставлять нехристей, а не выгонять их из собственного дома, и мудрый политик не должен, если только его к этому не вынуждают обстоятельства, применять повсеместно наказания, от которых государство только слабеет, а не исправляется.

Более многочисленны те, кто приветствует решение, которое они называют одновременно благоразумным и героическим, и кто, не отрицая вреда, нанесенного этим решением Испании, полагает, что нельзя даже сравнивать этот вред с уроном и общей опасностью, которые угрожали королевству все то долгое время, пока мориски продолжали в нем жить. Как можно надеяться, говорят они, привести к вере в Христа столь упрямых людей, которые более века упорно сопротивлялись как проповедям, так и преследователям и которые остались столь же верны Корану, как и африканские мавры? Пасторы, коим было поручено разъяснять маврам католическую доктрину, хорошо знали, что даже если те и соблюдали обряды христианской религии, делали это притворно, из страха перед инквизицией; поскольку их вынуждали исповедоваться перед Пасхой, они прилежно являлись на исповедь, но не каялись ни в одном из своих грехов; никогда они не обращались к священникам, чтобы те причащали больных, а порой, опасаясь, как бы те не пришли сами по долгу службы, утаивали свои болезни, создавая видимость скоропостижной кончины — во всяком случае, так говорили домочадцы, злонамеренно скрывавшие правду¹².

Впрочем, их число не уменьшалось, а, напротив, стало увеличиваться с тех пор, как Филипп II изгнал их из бывшего Гранадского эмирата — увеличивать-

ся по причине того, что никто из них не служил в армии и не уходил в монастырь, но все они женились и имели много детей, которых воспитывали в ненависти к христианству. И вот сложилось так, что большинство этих морисков, в количестве до 70 тысяч семей, собрались на землях Валенсийского королевства, прямо у берегов Берберии, откуда часто прибывали пираты, сходявшие по ночам на берег со своих бригантин и похищавшие христиан — мужчин, женщин и детей, чтобы увезти своих пленников в Алжир и другие города; поскольку же король Испании вел постоянные войны с маврами и турками из Берберии, испанские мориски вполне могли встать на сторону врага и помочь ему. Так что мудрое провидение помогло изгнать их из этой страны.

Но, как бы то ни было, королевство Валенсия с той поры оставалось разоренным и множество деревень, где жили мавры, так до сих пор и не заселено, а земли не обрабатываются. Испания не смогла оправиться от столь большой потери, которую некоторые оценивают в несколько миллионов человек; но я не думаю, что она была столь велика, поскольку, кроме Арагона, откуда также пришло большое количество морисков, которые превратили в цветущий сад долину Эбро, в других частях страны их было не так уж много¹³.

Помимо этого, по словам некоторых авторов, есть еще несколько причин, ослабивших Испанию. Завоевание колоний в Америке и их заселение вызывали каждый год отток населения из Испании. Многие люди обосновывались на новых землях, полагая, что они лучше тех, которые они оставили, и надеясь найти там свое счастье. Но сокровища Перу дали Испании лишь мнимые богатства и завоевание Южной Америки стоит расценивать скорее как кару небесную, нежели милость Божию¹⁴.

В самом деле, испанцы, сделавшиеся хозяевами этих сокровищ, использовали их не только для того, чтобы вести крупномасштабные войны во времена правления Карла V и его сына Филиппа, но и чтобы покупать у других народов все, в чем испы-

тывали нужду, так что Испания служила всего лишь каналом, по которому золото из Южной Америки прибывало в Европу для того, чтобы обогатить другие страны. Так, если сравнить земной мир с телом, то Испания предстает ртом, который получает добротное вкусное мясо, пережевывает его, подготавливая для того, чтобы отправить к другим частям, а сама лишь чувствует его вкус или смакует то, что застрекает в зубах¹⁵. Таким образом, Испания не может обходиться без торговли с другими народами, даже в состоянии войны, как это было во время войны с Францией, когда торговля осуществлялась не только в Бискайе, Наварре и Арагоне, где она практически всегда была разрешена, но и по всей Испании, где ее отстояли, поскольку Прованс всегда поддерживал связи с Валенсийским королевством просто из нужды в продовольствии; по тем же причинам Бретань и Нормандия, а также другие провинции, расположенные на океанском побережье, поддерживают отношения, соответственно, с Бильбао и Кадисом. Я говорю не только о пшенице и тканях, привозимых из этих областей; завозятся также и многие другие виды ремесленной продукции, от скобяных изделий и вплоть до шпаг, так что неверно было бы думать, будто все хорошие клинки делаются в Толедо.

Результат не замедлил сказаться: мануфактуры Испании, когда-то процветавшие, сегодня почти все разорены, поскольку, вместо того чтобы выпускать свою продукцию, например, из шерсти и шелка, как это делалось в былые времена, испанцы отправляют сырье в чужие страны — в Голландию, Францию и Англию, где из него вырабатывают ткани и потом продают им же, но по очень высокой цене. Поскольку же большая часть торговли Испании перешла в руки иностранцев, города, где еще совсем недавно процветали ремесла и товарооборот, пришли в упадок и превратились лишь в тень того, чем они были прежде: например, Бургос, когда-то богатый благодаря торговле кастильской шерстью, практически утратил свою коммерческую значимость; Сеговия,

производившая великолепные сукна, сегодня практически пустынна и очень бедна¹⁶.

Однако остается еще несколько больших и красивых городов, но, кроме Мадрида, все они находятся за пределами Кастилии. Сарагоса, построенная на реке Эбро, похожа на Тулузу больше, чем какой-либо другой город Франции, из тех, что я видел, поскольку в ней так же много больших кирпичных домов; мне показали там старинный замок, называемый Альхадерия (*Aljazeera*), который когда-то был резиденцией королей и который сегодня принадлежит инквизиции. Барселона, почти такая же большая, как Лион, окружена каменной стеной, отделяющей ее от пригородов, где находятся порт и мол, на строительство которых были потрачены огромные деньги, поскольку когда-то корабли были вынуждены стоять вдалеке от рейда и без прикрытия, вследствие чего они часто подвергались нападениям со стороны корсаров из Берберии. Внутри этих городских стен располагаются узкие, но весьма оживленные улочки. Около главного собора находится дворец, именуемый Депутацией, где представители испанских сословий решают судьбы страны; на стенах большого зала висят портреты правителей — начиная с бывших графов Барселоны и до нынешнего короля; наш Карл Великий и его сын Людовик Благочестивый тоже занимают там свое место. В Валенсии также есть своя Депутация, устроенная точно так же, но самое красивое здание здесь — расположенная на главной площади Торговая палата, или *Lonja*, в которую ведет большая каменная лестница¹⁷. Я уже не говорю о Севилье, поскольку она и так хорошо известна в целом мире из-за того, что через нее осуществляется связь с колониями Южной Америки.

Примечательной особенностью этих городов служит то, что в них живет множество французов, из которых одни занимаются различными ремеслами, а другие приезжают торговать товарами, привезенными из Франции. Меня уверяли, — хотя в это слабо верится, — что в Каталонии живет больше французов, чем местных жителей, что в Валенсии их насчитыва-

ется около пятнадцати тысяч, и больше десяти тысяч в Сарагосе, куда они приезжают из Гаскони и Оверни (самые нищие из них прибывают из Жеводана — вот почему испанцы всех французов называют «оборванцами»). Причиной такой многочисленности здесь французов и чужеземцев из других стран служит возможность быстро поправить материальное положение, поскольку прибывающие сюда бедняки в скором времени становятся зажиточными, а порой и превращаются в богачей. В самом деле, из-за того, что ручной труд в Испании стоит очень дорого, ремесленники там зарабатывают много, особенно если умеют больше, чем испанцы, которые презирают ремесло, именуя его «ничтожным». Каменщиками и плотниками здесь работают большей частью иностранцы, зарабатывающие в три раза больше, чем у себя дома. В Мадриде вы не найдете разносчика воды, который не был бы иностранцем, большинство портных — также чужеземцы. Даже земля не везде возделывается испанцами, и в Арагоне в сезон пахоты, посева и уборки урожая появляется большое количество крестьян из Беарна, которые зарабатывают много денег, сея для местных жителей пшеницу и потом убирая ее¹⁸.

Что касается торговцев, то они, помимо выгоды, получаемой от торговли, пытаются ввозить французские медные монеты, такие, как лиард, чтобы обменивать их в Испании на серебро, поскольку покойный король Филипп повысил номинальную стоимость монет из биллона*, поэтому серебро в Испании дешевле, чем во Франции, из чего можно извлечь немалую выгоду¹⁹. Трудность состоит в том, чтобы вывезти серебро из Испании, поскольку это строго запрещено законом. Тем не менее, как мы видели в Памплоне, после ярмарок, на которые собиралось большое количество французских торговцев, они знали способы, как переправить свой барыш на другую сторону гор. Если они не могли получить разрешение (которое предоставлялось очень редко), то

* Биллон — низкопробное серебро. (Прим. пер.)

находили крестьян, которые брались доставить им его за один-два процента в Сен-Жан-Пье-де-Пор, первый населенный пункт Наварры, оставшийся французским; эти крестьяне были знакомыми, пользовавшимися доверием людьми, которые, чтобы избежать встреч со стражниками, осуществляли переход ночью или по мало известным дорогам через скалы и песчаные равнины, где можно было встретить лишь коз да пастухов²⁰.

Даже нищие со всех стран приезжают сюда на поиски счастья. Немцы имеют обыкновение ежегодно приезжать сюда целыми ватагами; рассказывают, что, покидая свои дома, они обещают дочерям привезти приданое, собрав милостыню в деревнях и по дороге, имея в виду, что Испания для них приблизительно то же, что для Кастилии колонии в Южной Америке. Множество странников прибывает из Франции. Они идут в Сантьяго-де-Галисия, одни — будучи верующими, других гонит нищета, и мы часто встречали их в Бискайе с палками и дорожными флягами, в плащах с изображением морской раковины. Но даже в городах столько нищих, калек, настоящих или мнимых слепых, прибывших из других стран, что кажется, как говорил один из испанских авторов, никто из них не хочет оставаться где бы то ни было в другом месте, и вся нищета Европы хлынула в Испанию²¹.

Примечательно, что такое количество людей прибывает в Испанию с целью разбогатеть, тогда как большая часть Испании, как я уже говорил, бедна и убога. Но, помимо того, что все думают, будто все золото Перу хлынуло сюда, и надеются урвать кое-что для себя, сами испанцы, несмотря на проклятия, которые они адресуют приезжим, не препятствуют тому, чтобы эти чужеземцы жили за их счет и ели их хлеб. Причины этой ужасной бедности заключаются, на мой взгляд, не в природе и климатических условиях страны, а в характере ее обитателей. Их головы затуманены манией благородства, и они предпочитают нищету или службу какому-нибудь вельможе занятию ремеслом или промыслом;

и, если необходимость вынуждает их посвятить себя этим занятиям, они все равно норовят казаться благородными дворянами. Сапожник, оставив свои колодки и шило и нацепив шпагу и кинжал, едва ли снимет шляпу перед тем, на кого только что работал в своей мастерской²².

Таким образом, хотя они зачастую бывают восхитительны в своих невзгодах, перенося со стойкостью сильной души как удары судьбы, так и успехи, и несмотря на то, что среди них много учтивых, приветливых, воистину храбрых людей, их вполне заслуженно называют гордецами, от самого маленького до самого большого, поскольку они презирают весь остальной мир и считают, что он создан лишь для того, чтобы служить им, чему весьма способствует полное незнание ими других стран — сколь ни удивительно (а это истинный факт), когда речь идет о нации, покорившей столько других народов. Но дворянство и вельможи вовсе не покидают Мадрид и не отправляются на войну и в другие страны, разве что в тех случаях, когда их туда посылают с каким-нибудь поручением; именно поэтому они, не расставаясь со своим домашним очагом, даже не знают, где находится Амстердам — в Европе или в Южной Америке, а простые горожане и бедные крестьяне едва ли думают, что есть какие-то другие земли, кроме Испании, и другие короли, кроме их правителя²³.

Не меньшее презрение питают друг к другу и сами испанцы, живущие в разных частях страны. Каждый считает себя выше всех остальных и обвиняет арагонца, каталонца, валенсийца, кастильца во всех мыслимых пороках и всех бедах своей провинции. На мой беспристрастный, поскольку я не принимал участия в их раздорах, взгляд, гордость и важность являются отличительными чертами жителей Кастилии, у арагонцев же не меньше гордыни, но их высокомерный и упрямый нрав не смягчается добротой. Каталонцы более предприимчивы, чем другие испанцы, и меньше других отличаются от нас, французов, как по причине схожего климата, так и из-за большого количества наших соотечественников,

которые обосновались в этой провинции, где у многих выросло потомство и их кровь смешалась с кровью жителей этой страны. Нрав жителей Валенсии и Андалусии можно считать более легким, чем у других испанцев, которые считают их плохими солдатами, поскольку те слишком изнежены и склонны к наслаждениям.

Эти сплетни и споры — обычные темы для бесед, когда встречаются несколько жителей различных провинций. Но если вдруг среди них появляется кастилец, то все дружно набрасываются на него, точно собаки, увидевшие волка. Они жалуются, что кастильцы их тиранят, что никого, кроме кастильцев, не учитывают при распределении почестей и вознаграждений, хотя они своей доблестью столь же и даже больше, чем кастильцы, посодействовали возвышению испанской короны и укреплению могущества страны, чем кичится Кастилия, на их взгляд, совершенно случайно получившая приоритет среди королевств Испании; ибо, говорят они, если бы у Фердинанда, короля Арагона, был от Изабеллы, королевы Кастилии, сын, а не дочь Хуана, вышедшая замуж за Филиппа Австрийского и ставшая матерью Карла V, этот сын именовался бы Арагонским и собрал бы под своим скипетром все Испанское королевство. На что кастильцы возражают, что благодаря императору Карлу V и его сыну Филиппу II Испания завоевала среди других стран ту славу, которая у нее есть сегодня, и что именно Кастилия добавила огромные и богатые владения Америки к землям, отвоеванным когда-то у мавров, как говорится в рефрене:

A Castilla y a León,
Nuevo mundo dio Colon,

что означает: Христофор Колумб завоевал Америку, чтобы расширить Кастильское королевство, хотя выгода от этого была всей стране. Кроме того, добавляют они, Кастилия обрела право главенства той верностью, с которой она всегда служила королям, тогда как другие провинции восставали против них²⁴.

Мне кажется, что в этих спорах именно у кастильцев есть основания упрекать других, ибо нет другой части страны, которая была бы столь же обременена налогами, как она, и многие ее жители даже отправляются в другие провинции, — вот почему Кастилия полупустынна, — в то время как Бискайя и Наварра, которые сами по себе не столь богаты, более густо населены и их земли возделываются, потому что они меньше страдают от налогового бремени. Причина в том, что только в Кастилии король пользуется абсолютной властью, в то время как страны, которые объединились под короной во времена Католических королев, сохраняли, как я уже говорил, свои обычаи и привилегии, которые у них были как у иностранцев внутри королевства²⁵. Каждое из этих бывших королевств сохранило свои сословные представительства, именуемые Кортесами, которые король созывает время от времени, чтобы просить у них субсидии; однако, тогда как кортесы Кастилии голосовали за оказание королю такой *услуги*, кортесы Арагона, Каталонии и Наварры часто отказывали ему или давали очень мало.

Несмотря на то, что Филипп II в прошлом веке воспользовался восстанием в Сарагосе, чтобы ограничить независимость арагонцев, он не осмелился отменить все их свободы, которыми они так дорожили, что готовы были на все, чтобы их защитить. Король Испании не обладает полной судебной властью, а границы, разделявшие бывшие королевства, обозначены каменными столбами; алькальды, альгвасилы и прочие слуги закона могут переступить эти границы лишь после того, как положат на землю свой жезл, называемый *vara*, знак их власти²⁶; в Арагоне существует Верховный суд — хранитель древних обычаев страны, куда каждый подданный, личность или имущество которого подвергаются угрозе, может подать жалобу, чтобы наказать судью, который плохо вел его дело. Кроме того, горожане могут воспрепятствовать тому, чтобы войска, прибывающие из Кастилии, расквартировывались на их территории, причем король всякий раз должен про-

силь у них разрешения, которое он получает с большим количеством ограничений. Не меньше дорожат своими правами и каталонцы, особенно жители Барселоны, которые управляют своим городом и близлежащей территорией посредством Совета и с большой неохотой терпят королевские войска, проходящие по землям их графства, опасаясь, как бы король не использовал вооруженные силы для урезания их свобод. От этих двух провинций королю довольно мало пользы, так же, как и от Наварры, которая обеспечивает ему лишь безопасность границ до Пиренеев, являющихся естественной труднопреодолимой преградой, которую Бог воздвиг между Францией и Испанией. Но опасение, что жители этих провинций могут вернуться в подданство своего бывшего и законного государя, каковым был король Франции и которому они сохранили привязанность, не позволяет монарху обременять их денежными поборами.

Что же касается Португалии, которую король Филипп II вновь присоединил к своему государству как наследник ее бывших правителей, то все преимущества оказались у португальцев, а все тяготы легли на Кастилию. Дело в том, что король Филипп должен был поклясться, что не назначит ни одного кастильца в правительство этой страны, тогда как португальским дворянам позволялось занимать любые должности и носить любые титулы Испании. К тому же из Португалии прибыло множество лжехристиан, которые берут на откуп налоги и доходы Кастильского королевства и, отдавая государю лишь часть собранного, обогащаются за счет бедных людей. Несмотря на это, португальцы ненавидят испанцев, что вынуждает короля держать в крупных городах этой страны специальные гарнизоны, опасаясь, как бы португальцы не подняли мятеж.

Таким образом, для того чтобы защищать такое огромное государство (власть которого простирается также над Неаполем, Миланом, Франш-Конте и Фландрией), король Испании располагает лишь помощью и поддержкой Кастильского королевства и теми богатствами, которые галионы привозят из

Америки. К тому же из этих сокровищ он получает лишь малую часть; действительно, американское серебро, еще не прибыв в Севилью, уже предназначалось откупщикам и сборщикам податей, с которыми король заключал контракт, чтобы они каждый год отчисляли казне суммы, необходимые для поддержания армии и удовлетворения других государственных нужд. Эти «услуги», как они их называют, имеют скорее разрушительные последствия для государства, нежели поддерживают его, поскольку откупщики, почти все будучи иностранцами (когда-то это были в основном выходцы из Генуи, а нынче большей частью португальцы, как я уже говорил), не заботятся о государственных интересах, а лишь добиваются разрешения на вывоз из королевства того, что они заработали, представляя собой насос или губку, поглощающую все золото и серебро Испании.

Поэтому, если сравнивать два могущественных государства — Испанию и Францию, первое, имея более обширную территорию и будучи более богатым (во всяком случае, так полагают) за счет сокровищ Южной Америки, на деле слабее, как из-за сепаратизма составляющих его королевств и владений, так и из-за нежелания его жителей заниматься торговлей и другими полезными делами; король же Франции владеет лишь одним королевством, но единым, и его подданные, преданные и послушные, приносят ему своим трудом сокровище, гораздо большее и надежное, чем все золото Перу.

...

Возвращаясь во Францию, я проехал через то самое Ронсевальское ущелье, столь знаменитое благодаря великому сражению, которое здесь проиграл Карл Великий сарацинам, и, добравшись до вершины возвышающейся над ним горы, я остановился, чтобы посмотреть в одну сторону — на Испанию, которую я покидал, в другую — на Францию, куда я направлялся.

Испания показалась мне выжженной землей, где лысые горы, за которыми видны лишь голые скалы, скрывают скудную растительность и долины, в которых едва видна зелень и всего лишь редкие знаки того, что там существует человеческое счастье.

Франция же, напротив, предстала моим глазам прекрасным садом, в котором природа выставляет напоказ свои возвышенности и низины, свои земли, свои равнины и долины; и даже те места, которые видны, но которые при этом не являются самыми прекрасными во Франции, казались мне чем-то поразительным и чудесным, когда я сравнивал их с теми, которые только что покинул.

Но следует сказать, что то, что я говорил о различии двух народов, вовсе не мешает мне уважать Испанию и восхищаться мудростью, сдержанностью, благоразумием и таким изобилием нравственных и политических добродетелей, которые во всем блеске мы находим в людях, живущих на ее земле.

ЖИЗНЕННЫЙ УКЛАД

Католическая вера. — Честь. — Честь быть христианином и «чистота крови». — Идальгизм и пристрастие к благородству. — Реакция: античность как общественная позиция. — Идеализм и реализм

«Из всех народов мира мы вызываем самую большую ненависть у всех и вся. Что тому причиной? Лично я этого не знаю»¹. На этот вопрос, поставленный Матео Алеманом в *Гусмане де Альфараче*, представители других народов не упускают случая дать язвительный ответ. Вот что сказал об Испании один итальянец, путешествовавший по стране в начале XVII века: «Прекрасное поле красного песка, которое способно породить лишь розмарин и лаванду; красивые равнины, на которых встретишь разве что один дом за целый день пути; великолепные горы из голых камней; роскошные холмы, на которых не встретишь ни пучка травы, ни капли воды; славные города, построенные из дерева и грязи... Из этого мирового сада, из этой гавани наслаждений выходят легионы странствующих рыцарей, которые, привыкнув питаться хлебом, выпеченным в земле, луком и кореньями, и спать под открытым небом, ходить в

плетеной обуви и одежде для пастухов, приходят к нам, чтобы изображать из себя благородных герцогов и сеять страх»².

Такова реакция человека из страны, более богатой наследием веков, чем дарами природы, и тем не менее почти полностью оказавшейся во власти нации, состоящей из грубых, гордых, надменных солдафонов, а порой и просто оборванцев. Французы не отстают в обличении «испанских сеньоров», которых на карикатурах того времени изображали завернутыми в дырявый плащ, под которым был виден кончик длинной шпаги, и изрекающими фанфаронские речи.

Меня боятся все храбрецы на свете,
Все народы покоряются моим законам.
Я не желаю мира; я люблю только войну,
И Марс вовсе не доблестный бог, если он не такой же, как я³.

Оскорбления и насмешки — это лишь плата за страх перед народом, который уже в течение века покрывал своей тенью всю Европу; и едва ли отыщется испанец, который бы самодовольно не радовался этому невольному почтению, оказываемому величию его страны. «Горе Испании, — говорит один из них, — если однажды она потеряет своих врагов, самим своим существованием возвеличивающих ее»⁴.

К обвинениям в гордости и надменности добавляется еще одно, впервые прозвучавшее в конце XVI века в жанре «менипповой сатиры», которое мы находим также у большинства французских путешественников, посетивших Испанию в последующую эпоху. Один из них, провансальский поэт Аннибаль де л'Ортиг, выразил это в стихах:

Перебирать четки, молясь Богу,
Вечно произносить пустые слова,
Ходить в церковь на свидания,
Боятся ада меньше, чем инквизиции —
Вот добродетели испанского двора⁵.

Карикатурный портрет, вне всякого сомнения, но, как и всякая карикатура, в шутовской и недоброжелательной форме он говорит об основных чертах

прототипа. Гордыня, фанатизм, даже лицемерие, ставящиеся в вину испанцам, являются лишь уничижительной деформацией реальных достоинств, которые глубоко укоренены в испанской душе и которые определяют жизнь как индивида, так и общества — честь и вера.

• • •

«Святые и грешники» — в этих противоположных по смыслу, но дополняющих друг друга терминах можно определить характерные черты религиозности испанцев в XVII веке⁶. Католическая вера кажется неотделимой от испанской души, но ее искренность и даже проявления религиозного пыла сочетаются с формой выражения и существования, которая, кажется, отрицает моральные ценности, связанные с христианством. Это противоречие, которое иностранцы приписывают лицемерию испанцев, удивляет нас, по крайней мере, отсутствием логики, когда мы встречаем его отражение в многочисленных свидетельствах и документах.

Но, точнее говоря, логика — то есть разум — в Испании гораздо более, чем в любой другой стране, чужда вере, и последняя, как в силу исторических обстоятельств, в которых она утвердилась, так и по причинам присущего испанцам иррационализма, приобрела особое качество, что объясняет указанные противоречия.

Испания закалялась в ходе долгой Реконкисты, направленной против мавров. Это отвоевание земель, по-видимому, нельзя назвать *крестовым походом*, длившимся семь веков и имевшим целью искоренение ислама, поскольку наступление христиан не сопровождалось ни истреблением неверных, ни насильственным обращением их в христианскую веру. Тем не менее эта терпимость по отношению к мудехарам — мусульманам, оказавшимся в христианских королевствах, очень распространенная до XIV века, постепенно сходит на нет, и ограничительные меры в отношении религиозных меньшинств — му-

сультман и иудеев — в последние два века Средневековья кажутся прелюдией к объединению под знаком креста, реализованному Католическими королями и их преемниками. Но в тот момент, когда иудеи и мавры были обращены, по крайней мере официально, в христианскую веру, возникает другая угроза: она исходит от Эразма и Лютера и представляет собой пересмотр католических догм и некоторых сопряженных с ними обрядов. Внутри Испании Корона и инквизиция, тесно связанные друг с другом, разумеется, имеют все причины опасаться этого и потому искореняют несколько очагов ереси, возникших на полуострове. В глазах почти всей остальной Европы, разделенной по религиозному признаку, Испания отныне выглядит поборником католицизма. Роль воинства Божьего на службе Контрреформации играли не только сотоварищи святого Игнатия, но и испанские солдаты, воевавшие во Фландрии, Франции и на полях сражений Тридцатилетней войны. Разве может Бог оставить — не только в земной жизни, но и в вечном спасении — тех, кто столь самоотверженно сражается и страдает, тех, кто всегда готов умереть во имя Его? Разве Испания не может быть уверена в том, что располагает капиталом милости Божьей, которым воспользуются все те, кто верует в Бога?

Отношение к Богу находило свое выражение в догмах, которые Тридентский собор подтвердил в противовес протестантской ереси: следовать этим догмам — значит идти по верной дороге, ведущей к спасению. Отказ от них означает совершение величайшего из преступлений — впадение в ересь. «Я предпочел бы не властвовать вовсе, чем властвовать над еретиками», — сказал Филипп II. Ненависть к еретикам стала доминирующей чертой испанской религии, чем и объясняется их религиозный фанатизм. По сравнению с этим неискупимым преступлением слабости и проступки грешника — малость; они обусловлены его земным существованием, и милосердие Божье, которое достигается с помощью заступничества святых и воинствующей церкви, смое

позор греха, особенно если в свой последний час грешная душа придет в согласие с небесами, то есть исповедуется и ей будут отпущены грехи. В «мнениях» и «заметках», отражающих бурную жизнь испанской столицы в начале XVII века, изобиловавшую убийствами и драками со смертельным исходом, постоянно возникают одни и те же мотивы: «Этой ночью ударом шпаги был убит Фернанд Пимантель. Он даже не успел вынуть свою шпагу из ножен. Он громко кричал, умоляя об исповеди... Он умер, глубоко раскаявшись в собственных грехах, громко повторяя: "Miserere mei Deus"; напоследок он сказал со слезами: "In te, Domine, speravi" и скончался» (8 августа 1622 года). — «В восемь часов вечера несколько дворян поджидало у выхода из дома Диего де Авила, чтобы убить его; они набросились на него и убили; он громко просил об исповеди» (1 декабря 1624 года). — «На улице Паредес убили Кристофа де Бюстаманта, так что тот даже не успел исповедоваться» (3 октября 1627 года)⁷.

Однако эта уверенность в обладании истинной верой, подкреплявшая собой действенность религиозных обрядов, могла порой приводить к оправданию моральных отклонений, едва ли совместимых с духом христианства, а уж вместе с рекомендациями самой Церкви: «Согрешить, покаяться, снова начать грешить», она, похоже, представляет собой способ существования для части испанского общества, особенно для представителей его господствующего класса, в котором доведенное до крайности религиозное усердие порой вполне совместимо с исключительной распущенностью.

Поэтому, в контрасте с мистической мыслью, которая достигает своего апогея у святой Терезы и святого Хуана де ла Крус, и с тревогой о вечном спасении, побудившей не одного воина или вельможу закончить свою бурную и блистательную жизнь в самых крайних проявлениях умерщвления плоти, религия большинства испанцев пропитана формализмом, придающим самостоятельное значение обрядам, независимое от духовной ценности, которую

она выражает. Король Филипп IV потребовал, чтобы монахи монастыря Агреда совершали покаяние для искупления грехов, до которых его доводит ненасытная чувственность, и напрасно настоятельница, сестра Мария, напоминала ему, что покаяние требует прежде всего усилий самого грешника. На другом конце социальной лестницы преступники, заключенные в тюрьму Севильи, преподают образец набожности: каждый вечер после отбоя они собираются для молитвы, и один из них, играющий роль пономаря, заставляет каждого преклонить колени. Молитва произносится громко вслух: «Господи Иисусе, ты, проливший за меня свою драгоценную кровь, яви милость ко мне, столь великому грешнику»; затем «каждый возвращается к привычному для себя: один к греху, другой к отрицанию Бога, третий к воровству»⁸. Но есть еще большее зло, чем это чередование порока и раскаяния, которое должно его искупить. «Сколько же воров, — говорит Кеведо, — читают молитву не для того, чтобы она помогла им избавиться от их воровского порока, а для того, чтобы она избавила их от судей и наказания в то время, как они будут воровать!»... Лицемерие? Конечно нет; но испанец, похоже, скорее готов умереть за своего Бога, нежели отказаться во имя его от своих желаний и побуждений.

...

Есть еще одна ценность, которая испанцу дороже жизни: честь. Как и вера, честь уходит своими корнями в традиции Средневековья и тесно связана с концепцией существования, которая на всем христианском западе предлагает благородному классу общества в качестве идеала жить по законам героических и рыцарских добродетелей. Но честь (*la honra*) приобретает в жизни испанцев особый оттенок и является всеохватной категорией, достигая своего апогея в эпоху золотого века.

«Честь, — говорится в кастильском кодексе “Партиды” (XIII век), — это репутация, которую человек

приобретает согласно занимаемому им месту в обществе благодаря своим подвигам или тем достоинствам, которые он проявляет... Убить человека или запятнать его репутацию — это одно и то же, *ибо человек, утративший свою честь, хотя он со своей стороны и не совершал никаких ошибок, мертв с точки зрения достоинств и уважения в этом мире; и для него лучше умереть, чем продолжать жить*⁹. В этих словах обозначена двойная концепция чести: выражение индивидуального достоинства, но и социальное достоинство, которое каждый рискует потерять из-за проступков другого.

Первый аспект чести тесно связан с личными качествами, и особенно с героизмом, ведь именно в атмосфере героизма жили испанцы в течение веков. Вслед за великой Реконкистой невиданные подвиги «конкистадоров» обеспечили Испании огромную империю за морями, в то время как испанские солдаты маршировали по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, от Португалии до Германии, а флот разгромил турок в сражении при Лепанто. Как же честь принадлежать к такой нации — нации завоевателей — могла не породить гордость? Лопе де Вега вложил в уста Гарсиа де Паредеса, одного из самых знаменитых участников Итальянских войн, примечательные слова:

Я Гарсиа де Паредес и еще...
Впрочем, довольно сказать: я *испанец*¹⁰.

Тем не менее еще большей честью является победить самого себя, суметь стать хозяином своей судьбы, которая может быть как благосклонной, так и наоборот. Это *sosiego* — внутреннее спокойствие, с которым герой встречает и удары судьбы, и радость триумфа, — проявил и Филипп II, бесстрашно выслушавший известие о разгроме Непобедимой армады; с другой стороны, кисть Веласкеса придает герою незабываемое пластическое выражение, рисуя Амбросио Спинолу в момент, когда он получает от своего сраженного соперника ключи от города Бреда и когда «он наклоняется к своему врагу и, едва замет-

ным жестом, избавляет его от унижения стоять на коленях перед своим победителем»¹¹.

Подобное поведение может переходить в более утонченную форму гордости, когда красота поступка становится самоцелью и устраняет ценность действия как такового. О том впечатлении, которое родилось от такого формализма в испанской душе, нет более красноречивого свидетельства, чем рассказ об обстоятельствах смерти Дона Родриго Кальдерона и о его посмертной судьбе. Жертва принятия ответных мер против тех, кто скандально разбогател в царствование Филиппа III, Родриго Кальдерон, маркиз де Сиете Иглесиас был привлечен к судебной ответственности герцогом д'Оливаресом, фаворитом нового короля Филиппа IV. Его слишком быстрое восхождение по социальной лестнице, роскошь, которой он себя окружил, его гордость — все способствовало тому, чтобы он стал самым непопулярным человеком в королевстве, и потому в начале нового правления он был выбран в качестве козла отпущения. Собирались обвинения и свидетельства против него; к реальным злоупотреблениям и преступлениям, которые ставились ему в вину, добавлялись другие, надуманные, такие, как колдовство, которое всегда вызывало суровое порицание народа. Процесс был объектом пристального внимания; после вынесения смертного приговора на мадридской *Плаза Майор* был возведен эшафот. Мизансцена была разыграна таким образом, чтобы произвести впечатление на общественное мнение. Но Родриго Кальдерон подошел к эшафоту спокойный, полный презрения: «...он без волнения поднялся по ступенькам, грациозно накинув полу своего плаща на плечо, вплоть до этого страшного финала сохраняя дворянское достоинство и самообладание». И с этой минуты судебный процесс, преступления, презрение, все было забыто, все исчезло, изглаженное красотой поведения, и в целой Испании никто не встретил свою смерть столь элегантно, как это сделал Кальдерон. Более того, он стал чем-то вроде идола, реликвии которого оспаривают друг у друга — дело доходило до того, что люди дра-

лись за кусочек материи, обгащенной кровью Кальдерона... «Гордый, как Родриго, идущий на эшафот», — в Испании до сих пор в ходу эта поговорка, родившаяся 21 октября 1621 года, «в самый знаменитый день нашего века...»¹² — как утверждал современник тех событий.

Никто, тем не менее, не является полным хозяином своей чести, и театр золотого века — как четырем веками ранее кодекс «*Партиды*» — не устает напоминать, что замарать честь вполне могут и другие:

Ни один человек не честен сам по себе,
Это другие считают, что он обладает честью.
Быть добродетельным и иметь заслуги —
Еще не значит обладать честью. Из чего следует,
Что о чести судят другие, а не сам человек,

говорит Лопе де Вега¹³. Эта одержимость честью как социальная ценность служила неиссякаемым источником вдохновения для драматургов. Драматургия вместе с мистической литературой отражали самые типичные национальные черты в литературном наследии эпохи. «Чем была судьба для греков-трагиков, тем же, в какой-то степени, честь являлась для драматургов Испании. Они рисуют ее как таинственную силу, витающую над всей жизнью персонажей, властно заставляя их жертвовать своими чувствами и природными склонностями, навязывая им то поступки, совершаемые из-за беззаветной преданности, то преступления, поистине ужасные злодеяния, которые, однако, не кажутся таковыми, когда на первый план выходят стимул, подвигнувший к ним, и истинная необходимость их совершения»¹⁴. Поскольку честь ценилась дороже, чем жизнь, был только один способ смыть с себя позор: убить виновника. «Никогда испанец не станет спокойно дожидаться смерти того, кто его оскорбил», — заявляет Тирсо де Молина. Мечь за поруганную честь стала темой самых прекрасных драматических творений Лопе де Вега и Кальдерона.

Смещение слов *honra* и *fama* (репутация), то есть индивидуального и социального аспектов понятия

чести, отчетливо проявляется в драмах, где в качестве причины бесчестья возникает либо неверность женщины, либо посягательство на ее добродетель. В этом случае обесчещенной является вся семья, и все ее члены — не только муж, но и отец, брат, дядя — имеют равные права мстить. Более того, честь, будучи абсолютной ценностью, берет свое начало в мнении других людей, поэтому подозрение, пусть даже не подкрепленное фактами, может повлечь за собой беспощадную кару, ибо

Честь — это кристально чистое стекло,
Которое может помутнеть даже от легкого дыхания¹⁵.

В произведении *Врач своей чести (El medico de su honra)* Кальдерона герой вынуждает хирурга пускать кровь своей жене — несправедливо подозреваемой — до тех пор, пока та не умрет:

Любовь тебя обожает, но честь тебя презирает...

Нужно ли видеть, как это уже делалось иногда, в этой почти патологической гипертрофированности чувства чести намерение драматурга, перейдя через границы правдоподобия, выплеснуть экспрессию состояния духа, свойственного определенной социальной группе? Трудно было бы объяснить постоянный успех, который сохраняли в течение полувека «комедии чести» Лопе де Вега и Кальдерона, если бы не существовало некоторой общности между чувствами, выражаемыми на сцене, и теми, что испытывала публика. Не об этом ли говорит сам Лопе де Вега, который написал в своем «Искусстве сочинять комедии», что «ситуации, связанные с честью, являются самыми лучшими для пьесы, потому что они очень сильно волнуют самых разных людей»?

Кроме того, многочисленные свидетельства, не связанные с театром, подтверждают ту важность, которую имели «ситуации чести» в жизни, а в еще большей степени в уме испанцев. «То, что они называют поддержанием чести (*sustentar la honra*), и есть их бесполезная честь, причиной которой отчасти явля-

ется бесплодие Испании», — едко замечает Бартеlemi Жоли в начале века; сорока годами позже испанец Бальтазар Грациан, к тому времени автор произведения «Герой», протестует против злоупотребления этим словом и против изменений его значения: «Можно услышать о том, как кто-то пытается убедить другого простить своего друга и успокоиться, а тот отвечает: “А честь?” Другому говорят оставить свою любовницу и положить конец годам скандалов, а он: “А как же тогда честь?” Богохульника просят не божиться и не нарушать клятв, а он отвечает: “На что же тогда моя честь?” Расточителя увещевают, чтобы он скорее одумался, а он в ответ: “Нет, это дело чести”. Человеку при должности говорят: “Не соперничай с распутниками и убийцами” и слышат в ответ: “Не в этом моя честь”. И каждый удивлялся, в чем другой видит свою честь...»¹⁶

Таким образом, понятие чести обостряется, но вместе с тем превращается в комплекс механических рефлексов и словесных преувеличений, лишаясь своего главного содержания, связанного с высокими личностными достоинствами, которыми Испания XVI века питала свой героизм.

•••

Две основные составляющие испанской души — католическая вера и забота о чести — складываются в одну общую ценность: честь быть христианином. Она утверждается в предрассудке о «чистоте крови» (*limpieza de sangre*), из-за которого внутри Испании, ставшей полностью и исключительно католической, не заживает глубокая рана, не дающая забыть о религиозных различиях, являвшихся одной из основных черт испанского Средневековья.

Эта рана дает о себе знать еще до радикальных мер, принятых Католическими королями, — изгнания или принудительного крещения евреев (1492), затем мусульман (1502), и боль ее не ослабевает до изгнания морисков Филиппом III, чтобы достичь своей высшей точки в первой половине XVII века,

что повлекло за собой серьезные последствия социального и нравственного характера. Истоки его восходят к эпохе, когда под давлением общественного мнения слишком терпимое отношение к религиозным меньшинствам сменяется все более и более ограничительными и притеснительными мерами, вынудившими некоторых евреев и мудахаров (мусульман, живших на христианских территориях) принять крещение. То, что это обращение в христианскую веру часто бывало искренним, доказывает тот факт, что некоторые обращенные (*conversos*) принимали духовный сан и даже поднимались на самые высокие ступени католической иерархии: таков Соломон Халеви, раввин Бургоса, который, под именем Пабло де Санта Мария стал епископом того же города.

Но обращение, даже если оно было искренним, не могло, в глазах людей, стереть пятно, обусловленное рождением, и с начала XV века появляются первые статуты «о чистоте крови» — дело рук мирских или религиозных корпораций и общин, которые отказывались принимать у себя «новых христиан» или запрещали им исполнение некоторых функций. Самый знаменитый — но не самый старый — из этих статутов был обнародован в 1449 году магистратом города Толедо вопреки протесту короля Кастилии Хуана II и папы Николая V. «Мы заявляем, — гласил он, — что все обращенные, потомки порочного рода евреев, будут считаться *низкими, недееспособными, непригодными, недостойными какой бы то ни было должности, публичных или частных привилегий в городе Толедо и его окрестностях*, не могут свидетельствовать как публичные писари или просто выступать в качестве свидетелей и иметь власть над Старыми Христианами в Святой Католической вере».

Через тридцать лет (1478) учреждение испанской инквизиции, никоим образом не подтвердив исключений, предусмотренных статутами, казалось, послужило для них моральным оправданием: в это время иудаизм, как и мусульманство, в Испании исповеду-

ются еще «легально», но задачей нового учреждения являлись надзор и наказание — за вероотступничество — тех, кто, приняв крещение, оставался тайно привязанным к своей прежней вере. Практически инквизиция поощряла подозрительность относительно искренности всех «новых христиан», число которых значительно увеличилось в ту эпоху, когда меры, принятые Католическими королями, вынудили евреев и мудахаров выбирать между высылкой и обращением в католическую веру. Кроме того, присоединение Португалии в 1580 году возвратило в Испанское королевство потомков евреев, искавших в 1492 году убежища в соседней стране; теперь эти «марраны» (свиньи) вызвали удвоенную неприязнь испанских масс: их подозревали в тайном иудаизме, и многие из них были подвергнуты аутодафе; с другой стороны, поднаторевшие в денежных операциях, они обеспечили испанскую монархию ростовщиками и сборщиками налогов, и за это их обвиняли в притеснении бедного люда и в своекорыстном разорении государства.

Параллельно с увеличением числа обращенных в период с конца XV и до начала XVII века растет также количество статутов «о чистоте крови». Многие муниципалитеты последовали примеру города Толедо; большие духовно-рыцарские ордены (Сант-Яго, Калатрава, Алькантара) требовали «доказательств» чистоты тех, кто желал стать их членом; в среде клириков капитулы некоторых соборов закрывались перед *обращенными*, что создавало парадоксальную ситуацию, поскольку каноническое право не знало подобного рода исключений и сами епископы могли быть из «новых христиан»; что касается монашеских орденов, то они разделились: одни были достаточно либеральны в отношении приема «нечистых» послушников, другие же, напротив, стремились закрыть двери перед теми, кто не мог доказать нескольких «колен» чистой крови.

Пример, который подавали корпорации, славные родовитостью своих членов или собственной социальной ролью, мог лишь усилить предрассудки про-

стого народа: не только религиозные братства, но и объединения торговцев и ремесленников тоже требовали «доказательства» и принимали в свой круг только «старых христиан». Таким образом, «чистота крови» стала основной заботой всего испанского общества.

Однако самое главное заключалось не в юридическом беспределе, в котором жили «новые христиане», а в дискредитации, и даже бесчестии, на которое их обрекали окружающие, и тут не помогали ни искренность обращения, ни религиозное усердие. Здесь, как и в других областях, куда вторгалось понятие чести, достаточно было одного клеветнического обвинения, чтобы погубить репутацию целой семьи, опорочить ее и отнести ее к категории парий, которую составлял, в глазах общества, социальный класс *обращенных*. Выступая от имени нескольких преподавателей университета в Саламанке, один францисканец писал в конце XVI века: «В Испании теперь быть богохульником, вором, бандитом с большой дороги, прелюбодеем, святотатцем, обладать всеми остальными пороками считается меньшим позором, чем иметь еврейское происхождение, даже если двести сотни лет назад люди этого рода обратились в католическую веру. Отсюда следует другая нетерпимая нетерпимость (*sic!*): если есть два претендента на кафедру, на церковные привилегии, на прелатство или на какое-либо другое выборное место, и если один из кандидатов является добродетельным человеком, но потомком евреев, пусть и обращенных в христианство давным-давно, а другой кандидат, не имеющий ни образования, ни добродетелей, но зато старый христианин, последний будет предпочтен»¹⁷.

Так проблема «доказательства чистоты» приобретала решающее значение в глазах современников той эпохи. Эта проблема стала еще более серьезной для подозреваемых, потому что добыть негативные доказательства было легче, особенно когда в 1530 году верховный совет инквизиции приказал своим трибуналам хранить в архивах имена тех, кто имел дело со Святой службой по поводу веры. Еще более

ужасным для их потомков стал обычай вывешивать на внутренних стенах кафедральных соборов таблички с именами отверженных, «чтобы, — говорилось в 1610 году в постановлении муниципалитета города Туделы, — чистота сохранялась, и чтобы можно было отличить тех, кто является потомками нечестивцев, чтобы со временем не померкла и не погасла память о предках, и чтобы всегда можно было отличить действительно благородных людей»¹⁸. В церквях также сохранялись *san-benito*, что означало «желтые капюшоны», носить которые иногда заставляли в знак покаяния тех, кто предстал перед судами инквизиции, так что выражение «его жалованная грамота — в церкви» стало пословицей и показывало сомнительное происхождение с точки зрения веры.

Если подобные документы неопровержимо устанавливали «нечистоту», то доказательство обратного требовало проведения генеалогических исследований в родовых ветвях отца и матери, что было возможно только для тех родов, которые оставили свой след в истории и чьи имена можно было найти в архивах. И чем глубже в прошлое уходили исследования, тем больше было вероятности встретить браки и «смешения» с представителями «нечистых» рас. Поэтому людская злоба, всегда настроенная против сильных мира сего (*poderosos*), додумалась до составления «зеленых книг», которые на основе подлинных или вымышленных генеалогий навязывали могущественным людям далеких мусульманских или еврейских предков; одна из самых известных книг такого рода, датированная серединой XVI века и называвшаяся «*Tizón de España*», имела длительный успех и несколько раз переиздавалась, поскольку в ней предпринималась попытка доказать, что не было ни одной знатной испанской семьи, в жилах которой не текло бы несколько капель «нечистой» крови.

Несмотря на то, что королевская власть при Филиппе III была против публикации подобных книг, «приносящих и приносящих непоправимый и несправедливый вред», промысел *linajudos* — состави-

телей лжегенеалогий, направленных как на то, чтобы помочь человеку занять определенную должность или обрести достоинство, требовавшее «чистой крови», так и, напротив, чтобы обесчестить кого-либо, — продолжал процветать; порой он дублировался махинациями шантажистов, как, например, та, которую в 1655 году разоблачил священник Барронуэво: «Было (в Севилье) около сорока человек со своим секретарем суда, прокурором и другими служителями закона, проводивших все практиковавшиеся там дознания, и каждый, кто претендовал на вступление в духовно-рыцарский орден, занятие поста в святой инквизиции или получение места в университетском колледже, должен был обязательно обратиться к ним, чтобы они его рекомендовали нужным людям («засвидетельствовали» его чистоту); те же, кто отказывался иметь дело с мошенниками, становились внуками Касаллы, Лютера и даже самого Магомета... Некоторые из них были арестованы, и их приговорили к смерти, галерам или другим видам наказаний»¹⁹.

Для простых людей, предки которых были неизвестны, складывалась совсем иная ситуация. Если в ремесленной среде некоторые профессии, считавшиеся принадлежностью морисков, поскольку когда-то преимущественно они занимались ими, — портные, кузнецы, сапожники — *a priori* порождали подозрение в отношении тех, кто себя посвящал им, то в отношении крестьян существовал положительный стереотип, и почти все они гордились тем, что были «старыми христианами». Кроме того, благодаря желанию подняться по социальной лестнице, которое характеризует всю рассматриваемую эпоху, возникла идея, что «чистота крови» придает нечто вроде благородства; конечно, это благородство стояло в шкале социальных ценностей ниже, чем то, что давалось рождением от знатных родителей, но выше по своему качеству, поскольку старинное благородство не могло не иметь хотя бы одного «пятнышка». «Существует два вида благородства, — отмечается в «Меморандуме», составленном в 1600 году, — высшее

благородство — *hidalguia* и низшее — *limpieza* (“чистота крови”). И хотя более почетно обладать первым, тем не менее стыдно быть лишенным второго, поскольку в Испании мы больше уважаем простолюдина с “чистой кровью”, чем идальго, лишенного этой чистоты». Театр — зеркало, отражающее понятие чести, — не упускает случая использовать эту антитезу, и на сарказм командора Калатравы, который потешается над крестьянами деревни Фуентеовехуна, говоря об «их чести», Лопе де Вега отвечает устами одного из них:

Не один из вас снискал себе славу,
Получив крест (рыцаря),
Вовсе не будучи чистым по крови своей...

...

Испанские добродетели в своем величии, преувеличениях и извращениях, находят свое идеальное и вместе с тем реальное выражение в типе, называемом *hidalgo* (идальго), настоящем символе испанского общества эпохи золотого века. Идальго существовал для того, чтобы постоянно оттачивать понятие чести и доводить его до совершенства, находясь на низких ступенях дворянского общества. У него нет, как у «грандов», огромных владений и многочисленных вассалов; высокие посты и выгодные должности не для него; он не вмешивается в дворцовые интриги, не ищет благосклонности короля и не связан компромиссами, как те, кто хочет «чего-то достичь в жизни». Весь его капитал — это честь, полученная в наследство от предков его рода, которые сражались за веру. Но в это время уже нет мавров, с которыми можно было бы сражаться... Некоторые идальго отправлялись за моря искать новой славы под знаменами Эрнана Кортеса, Диего де Альмагро или их соперников; но многие оставались на земле, на которой родились. Они хранили в кожаных, окованных железом сундуках свои бесценные жалованные грамоты (*executoria*) на пергаменте, украшенные их фамильными гербами, свидетельствующими о знатном

происхождении и гарантировавшие им привилегии: освобождение от прямых налогов, право избежать долговой тюрьмы, а в случае смертного приговора — позорной казни через повешение. С еще большей заботой они сохраняют все внешние атрибуты, которые в глазах окружающих свидетельствуют о том, кто они такие, и вне зависимости от их удачи — или неудачи — утверждают их превосходство над «низшим» классом платящих налоги (*pecheros*) — крестьян, ремесленников и буржуазии.

Вероятно, среди них были и такие, кто, живя в своих маленьких имениях, в домах с фамильным гербом, выгравированным на камне, вел достаточно зажиточное существование, благодаря доходам с земель, которые обрабатывались за них другими, а порой и ими самими (поскольку работа на земле их не унижала): таков идальго из Ла-Манчи, который рисует Дон Кихоту картину своей повседневной жизни: «Я провожу свои дни с женой и детьми; мои занятия — охота и рыбалка... У меня есть шесть дюжин книг, одни на латыни, другие на кастильском; некоторые религиозного содержания, некоторые — исторические. Чаще я листаю те, что о светской жизни, нежели о вере, при условии, что они могут доставить невинное развлечение, снимут мне усталость своим легким стилем, заинтересуют меня, и интрига, изложенная в них, будет захватывающей. Иногда я обедаю у моих соседей или друзей и часто сам приглашаю их в гости. Я слушаю мессу каждый день; помогаю бедным, не выставляя напоказ свои добрые дела, чтобы в мое сердце не проникли лицемерие и гордыня; я поклоняюсь Деве Марии и всегда верю в безграничное милосердие Господа Бога». Но этот идеал дворянской деревенской жизни, по-видимому, очень редко встречался в действительности, поскольку Санчо Панса возжелал целовать ноги своего хозяина, считая его святым... Более традиционный тип идальго описан *Эстебанильо Гонсалесом*, когда он вспоминает о своих предках и молодости: «Моего отца постигло несчастье, которое коснулось всех его детей, как наследие первородного греха: он был

идальго — все равно что поэт, поскольку в этом положении нет почти никаких шансов избежать вечной бедности и постоянного голода. У него была жалованная грамота, такая старая, что сам он не мог ее прочитать, и никому в голову даже не приходило тронуть ее, чтобы не замарать связывавшую ее потрепанную ленточку и измятый пергамент, и даже мыши боялись ее грызть, опасаясь, как бы не умереть от чрезмерной чистоты». Голод, «возвышенный голод идальго», как говорит Сервантес, и вправду был уделом многих из тех, кто, оторвавшись от родной земли, приходил в город искать средства к существованию, соответствующие их положению. Но лишь очень немногим удавалось поступить на службу в дома знатных сеньоров, сделаться телохранителями какой-нибудь богатой дамы, которую они сопровождали на улице — а сколько было других, доведенных до самой крайней нищеты. Таков идальго, изображенный автором *«Лазарильо из Тормеса»*, живший за счет милостыни и воровства своего «лакея», с таким волчьим аппетитом, едва ли имевшим что-то общее с заботой о достоинстве, поедавший корки, которые слуга приносил в его жилище.

Литературный портрет, скажете вы; да, и именно он лежит в основе всех описаний идальго, которые появятся спустя полвека в плутовском романе²⁰. Но как можно сомневаться в том, что это является отражением довольно распространенной в то время ситуации, если епископ Леона, обращаясь к Филиппу III, сообщает ему, что в его епископский город прибыло «...большое количество бедных людей, рожденных благородными, *чистой и дворянской крови*, которые приехали с гор Астурии и Галисии и которых разместили по домам, принадлежащим церквям и монастырям. Пребывая в глубокой нищете, они ехали куда глаза глядят, босые, в лохмотьях, спали на жутком холоде прямо на улице, с большим риском для собственного здоровья и жизни»²¹.

Для чего они покинули родные края? Вероятно, чтобы скрывать свою нищету в незнакомом городе, вдали от глаз знакомых — и оправдывая свой отъ-

езд каким-нибудь благородным предлогом. Вся философия идадьго выражена в его диалоге с лакеем Лазарильо, который спросил его о причинах приезда в Толедо:

«Он мне сказал, что он родом из Старой Кастилии и что покинул свои края только потому, что не хотел снимать шляпу перед одним дворянином — своим соседом.

— Мне кажется, сеньор, что я бы не стал обращать на это внимания, особенно если этот человек более знатный и богатый, чем я.

— Ты дитя, — ответил он мне, — и ничего не понимаешь в требованиях чести, которая составляет сейчас единственное достояние всех благородных людей. Хочу тебе сказать, что я, как ты видишь, идадьго, но тем не менее, если встречу графа на улице и он не снимет передо мной шляпу (имею в виду — как следует снимет шляпу), я, черт возьми, могу, чтобы не снимать перед ним своей, войти в первый попавшийся дом, притворившись, что у меня там есть дело... *поскольку дворянин не должен никому другому, кроме как Богу и королю, и не подобает ему, как благородному человеку, пренебрегать хотя бы минутным неуважением к своей персоне*».

Именно гипертрофированное чувство чести отличает идадьго, честь, в той же мере лишенная нравственного содержания, как и материальной основы, поскольку шпага, «которую он не променяет на все золото мира», не может похвастаться ни прошлыми, ни будущими подвигами: она лишь видимый символ ранга, на который он считает себя вправе претендовать.

Идадьгизм мог бы остаться уделом лишь ограниченной социальной группы, которая дала богатый материал для сатирической литературы. В действительности же воплощаемая им концепция чести становилась болезнью всего общества. Конечно, было бы абсурдным доверять рассказам иностранных путешественников или некоторым испанским моралистам, указывавшим на это как на одну из главных причин экономического упадка Испании XVII века.

Но вместе с тем не приходится сомневаться, что «пристрастие к благородству», охватившее Испанию, могло способствовать этому упадку, отвлекая людей от некоторых форм производительной деятельности. Презрение к физическому труду, казалось, разделяли и ремесленники, которые за счет него существовали. «Что касается мелких ремесленников, — замечает Бартеlemi Жоли по поводу ремесленников Вальядолида, — то они, не имея иного способа заработать себе на жизнь, делают это кое-как... большую часть времени они с высокомерным видом сидят у своих мастерских и с двух или трех часов пополудни прогуливаются со шпагой на боку; если им удастся заработать две-три сотни реалов, они уже дворяне; им нет больше нужды работать до тех пор, пока они не потратят все, после чего они возвращаются к своей работе и зарабатывают себе еще немного, чтобы обеспечить видимость благополучия»²². Не очень-то лестный отзыв, по правде говоря, но выраженное в нем умонастроение было типично для представителей всех слоев испанского общества.

В связи с этим весьма показательно, что орден Сантьяго в середине XVII века стал терпимее относиться к тому, чтобы его рыцари участвовали в большой коммерции и банковских сделках Севильи, и даже более ограничительно истолковывать запрет на занятие торговлей, оговаривая, что термин «торговец» применим к «тому, у кого есть лавка с несколькими видами каких бы то ни было товаров, который сам заправляет в ней или там работают его служащие, у кого есть капитал в банке и кто занимается кредитными операциями лично или через своих приказчиков»²³. Поэтому разбогатевший торговец стремился попасть в класс дворян или хотя бы походить на этот класс своим образом жизни. У него было для этого много различных средств: безденежье в государстве вынуждало монарха продавать грамоты о пожаловании достоинства идальго (*executorias de hidalguia*), которые гарантировали их владельцу те же привилегии, что и идальго по рождению; покупка *juros* (ценных бумаг), выпускавшихся королевским

казначейством, и назначение *censos* (земельной ренты, получаемой с крестьянских земель) вели к тому же результату и превращали бывшего торговца и его потомков в рантье, которые переставали участвовать в хозяйственной деятельности страны. За неимением дворянского титула каждый стремился поставить перед своим именем в официальных документах слово *Don...* (господин), на который даже идальго не имели законного права, но употребление которого распространялось, указывая на то, что его обладатель поднялся по социальной лестнице на определенную высоту.

Однако раздавались голоса, которые изобличали неблагоприятные поступки безродного трудящегося и опасность, которую влекло за собой пристрастие к статусу дворянина. «В деревнях не хватает культуры, — пишет Сааведра Файярдо, — до такой степени, что техника, деловые отношения и торговля, к которым не стремится наша нация, *высокий и славный дух которой, даже у людей из простого народа, не удовлетворяется состоянием, которое им дает природа, и внушает дворянству презрение к любым занятиям, которые кажутся ему противными*»²⁴.

Другие идут еще дальше в своем неприятии формального культа чести и идалгизма, подвергая сомнению сами их основы. Взять хотя бы удивление, которое выражает Лазарильо по поводу поведения своего хозяина, которому он не дает умереть с голоду, но который при этом не теряет своего высокомерия: «Кто поверит, что этот благородный человек за весь вчерашний день съел лишь корочку хлеба, которую Лазарильо, его слуга, хранил для него за пазухой целый день и целую ночь, где она не могла сохраниться в идеальной чистоте. О Господи, сколько же у Тебя по всему миру таких слуг, которые ради этой проклятой вещи, которую они называют честью, выносят больше, чем вынесли бы ради Тебя!»

Но критика становится более резкой, когда обличается абсурдность понятия чести, которое, основываясь на чужом мнении, отравляет жизнь каждого. «Сколь тяжело бремя чести, — сокрушается Гусман де Альфараче. — На что только не соглашается несчастный, претендующий на обладание честью... Как тяжело приобрести ее и сохранить; как легко потерять ее в один миг в глазах других!» И этой ложной чести Гусман противопоставляет честь истинную, «дочь добродетели», являющуюся неотъемлемой принадлежностью каждого индивида, который не может потерять ее до тех пор, пока остается добродетельным. «Именно этой чести стоит искать и ею стоит обладать... ибо то, что обычно называют этим словом, есть, скорее, гордыня и сумасшедшее тщеславие; люди изнуряют, убивают себя лютым голодом, чтобы приобрести ее, но лишь для того, чтобы потом потерять, так же как и свою душу — а вот о ней как раз и стоит сожалеть и плакать»²⁵.

Из этой доведенной до крайности негативной реакции и родилось то, что как раз и называется античестью, что означает сознательное желание топтать ногами, унижать, высмеивать все те ценности, которым окружающие придают так много значения, поведение, которое является одной из излюбленных тем плутовского романа. Сначала она означала игнорирование общественного мнения с беззастенчивостью, граничившей с цинизмом. «Во всех моих несчастях, — говорит Гусман, — я хранил свое добро, но потерял весь свой стыд — чувство, от которого бедняку нет никакой пользы, ибо чем его меньше, тем меньше бедняк будет страдать от собственных проступков». Античесть восхваляет самые низкие поступки, уподобляя их подвигам, благодаря которым другие достигают славы. «Хвала Богу! — восклицает Гусман, возвращаясь к занятию воровством, которое оставил некоторое время назад. — То, чему я научился один раз, я не забуду никогда; и я так же горд своим талантом, как солдат своим оружием, а рыцарь своим конем и доспехами».

Наконец, античесть достигает своей кульминации

в том, сколь охотно выставляется напоказ собственная низость, как это делает Эстебанильо Гонсалес в рассказе о своих «подвигах», и особенно о военных походах, в которых он принимал участие, где он развлекался тем, что демонстрировал собственную трусость и поднимал на смех мужество своих товарищей по оружию, а также все подвиги и добродетели, которые обеспечили Испании, даже в глазах врагов, ни с чем не сравнимый престиж²⁶.

Избыточность этой реакции находит свое объяснение в чрезмерности критикуемых проявлений. Но это противопоставление — не только антагонизм двух различных жизненных позиций; оно проистекает из двух тенденций, противоположных, но вместе с тем тесно взаимосвязанных в душе испанца — идеализма и реализма, комбинация которых накладывает отпечаток на характер, столь часто парадоксально проявлявшийся в частной и общественной жизни, воплощенный в неразлучных персонажах — Дон Кихоте и Санчо Пансе, героях самого лучшего литературного творения золотого века Испании.

МАДРИД: ДВОР И ГОРОД

1. Мадрид, королевский город. — Двор: дворец и пышная королевская жизнь. Этикет. Шуты. Галантные ухаживания во дворце. — Королевские праздники. «Буэн ретиро». Блеск и нищета двора. — Жизнь грандов. Роскошь и ее законодательное ограничение. Мода. Любовь и деньги. Моральная деградация дворянства

2. Город. Перемены и украшения. Нечистота улиц. Воздух и вода Мадрида. Снабжение и хозяйственная деятельность. — Население Мадрида: космополитизм и отсутствие безопасности. Социальная жизнь: «ментидерос» и общественное мнение. Светская жизнь и Прадо. Жизнь народа. Мансанарес и праздник «сотильо»

1

«Solo Madrid es Corte» («Нет другой столицы, кроме Мадрида»)¹. Эта поговорка, популярная в начале XVII века, выражает гордое удовлетворение, которое испытывали жители Мадрида, сознававшие, что живут в самом сердце испанской монархии, но она же отражает и главную особенность их города: он как та-

ковой был *двором*, в том двойном смысле, который имеет это слово в испанском языке — королевским двором и столицей государства.

Старинные кастильские города, которые в предшествующую эпоху играли роль столиц: «имперский» Толедо, Вальядолид, временами Сеговия, тогда жили интенсивной городской жизнью, не связанной с присутствием правителя. Мадрид XVII века, напротив, обязан основными чертами своего облика принятому в 1561 году Филиппом II решению перенести туда органы королевского управления. Надо ли усматривать в этом постановлении желание выбрать «окончательную» столицу Испании? Похоже, что этот выбор объясняется скорее тем, что король захотел лично наблюдать за строительством дворца-монастыря Эскориала, в котором он сможет обосноваться в 1571 году. Впрочем, его сын и преемник Филипп III в 1601 году решил перевести двор и правительство в Вальядолид. Говорят, что жительницы Мадрида надели траур, увидев, как удаляется длинный кортеж лошадей, карет и повозок по направлению к северу; муниципалитет подал государю прошение, свидетельствовавшее о том, сколь тесная взаимосвязь уже сложилась между двором и городом: «Лишенный королевского двора, город пережил катастрофу, самую большую из всех, когда-либо переживавшихся городами, ибо все его население имело благодаря двору средства к существованию: одни находили их в торговле бельем, шелковыми и льняными материями, а также в занятии ремеслами, обслуживавшими эту торговлю; другие служили при дворе и в государственной канцелярии или были заняты в сфере оптовой торговли и транспортировки товаров... *Говорить о Мадриде — это значит говорить о том, чем он был, о том, что осталось от его былой славы, но ничего о ее поддержании*»².

Пятью годами позже уже окончательное возвращение монарха закрепило за Мадридом статус столицы: столицы искусственной, в том смысле, что развитие города не было органически связано с разви-

тием государства, главой которого он стал, ибо город был обязан своим положением лишь воле двух монархов. И именно по этой причине его существование было непосредственно связано с присутствием в нем короля и его окружения; далекие от того, чтобы противостоять друг другу — как будут противостоять друг другу Версаль и Париж во времена Людовика XIV — двор и город слились, жили один в другом, один для другого.

Стремительный взлет Мадрида объясняет разнообразие мнений, выразившихся на сей счет испанцами и иностранцами. Первые были поражены чрезвычайным «возвышением» города, насыщенностью его общественной жизни и тем великолепием, которое принесло ему присутствие двора: «испанский Вавилон», «столица мира», «вселенское диво» — ни один из этих эпитетов не кажется чрезмерным по отношению к Мадриду. Зато иностранцев удивляли посредственность убранства города и грязь на улицах, и, как естественная реакция на преувеличенные восторги испанцев, у них возникало желание прежде всего подчеркнуть те неудобства и те факты, порой весьма прозаические, которые скрывались за внешним блеском городской жизни.

...

Построенный на краю плато, которое возвышается над Мансанаресом, королевский дворец Алькасар представлял собой старинную крепость, возведенную в XIV веке, перестроенную и приспособленную под резиденцию Филиппа II, однако своей красотой он был обязан его второму преемнику — Филиппу IV. Тем не менее дворец отнюдь не представлял собой, как утверждал современник, «самое удивительное в мире королевское сооружение». Он построен в форме прямоугольника, по углам которого расположены четыре непохожие друг на друга башни; его «благородный» фасад, обращенный к городу, выполнен из камня, а его мраморные балконы и их отделка придают ему некую величавость; однако при строитель-

стве других крыльев дворца камень использовался наряду с кирпичом, а кое-где и саманом.

Через главные ворота попадаешь во внутренние дворы. Два самых больших двора окружены крытыми галереями, украшенными скульптурами; туда выходили окна залов и кабинетов различных советов — Кастильского совета, Совета Индий, Финансового совета — где принимались решения, влиявшие на судьбы Испании и всего мира. Сюда каждый день устремлялась многочисленная толпа, которая превращала дворы дворца в городскую площадь, чему также способствовали расположенные здесь лавочки и присутствие бродячих торговцев. Важные господа в сопровождении своих пажей общались там с *letrados*, служащими различных контор, капитаны приходили просить себе роту или пенсию, жалобщики, часто в сопровождении нотариуса (*escribano*), ждали, когда пройдет важный представитель того или иного совета, чтобы добиться от него милости или хотя бы просто улаживания дела, которое могло тянуться месяцы или годы. Медлительность испанской администрации вошла в поговорки: жаль, говорят, что смерть не вербует своих «служителей» среди министров короля Испании; для человечества это стало бы патентом на бессмертие...

Второй и третий этажи Алькасара были заняты королевскими апартаментами и служебными помещениями, насчитывавшими множество комнат. Некоторые из них были просторные и светлые, но большей частью — маленькие и сумрачные помещения, соединенные между собой узкими коридорами и лестницами. Парадные залы были убраны чудесными фламандскими коврами и украшены изумительными картинами Рубенса, Тициана, Веронезе. Количество полотен значительно выросло при Филиппе IV. В 1643 году, несмотря на скудость казны, король отправил собственного придворного живописца Диего Веласкеса с миссией в Италию, дабы обогатить свои собрания.

Но как говорит Лопе де Вега, «мне было бы очень жаль персонажей, изображенных на коврах дворца,

если бы они могли чувствовать». В этом величественном антураже в действительности совершались всегда неизменные и почти механические действия, свойственные жизни двора и подчиненные самому строгому этикету. «Нигде более нет государя, который жил бы, как король Испании, — пишет советник Берто, — все его действия и все его занятия всегда одни и те же и совершаются день за днем настолько одинаковым образом, что кажется, будто король знает, что будет делать всю свою жизнь». Однако этот этикет не был придуман специально для испанского двора; по его правилам жили при дворе герцогов Бургундии XV века — Филиппа Доброго и Карла Смелого, потомок которых, Карл V, ввел его в стране, в которую его призвали править. Но, возможно, император, «самый великий мастер церемоний всех времен», как о нем говорили, еще больше ужесточил строгость этого этикета. Во всяком случае, это было одним из самых ярких впечатлений путешественников. Если верить мадам д'Ольнуа, сакрально-священное почтение к этикету спровоцировало смерть Филиппа III: однажды зимним днем король, сидя за своим письменным столом, почувствовал неудобство из-за запаха от очага, расположенного рядом с ним, но ни один из присутствовавших дворян не захотел взять на себя ответственность за удаление очага, чтобы не посягнуть таким образом на функции, выполнявшиеся герцогом Уседой, «отвечавшим за тело» короля и отсутствовавшим в тот момент во дворце; ближайшей ночью у короля началась сильная лихорадка, сопровождавшаяся рожистым воспалением, от которой он умер через несколько дней³.

Если Филипп III умер от осложнения, вызванного рожистым воспалением, то весьма вероятно, что история с очагом вымышлена; однако кажется правдоподобным, что мадам д'Ольнуа узнала эти подробности, как она сама утверждает, от некоего испанца, желавшего обратить ее внимание на безжалостную тиранию этикета, правившего двором и сделавшего из монарха почти священную особу, которая должна была быть — или, по крайней мере, казаться — не-

подверженной превратностям бытия. Однако Филипп IV, а вовсе не его отец, особенно много сделал для того, чтобы придать королевскому величию священный характер, как будто желая своим публичным поведением компенсировать распущенность собственной частной жизни. «Он придавал этому такое значение, — говорит Берто, — что действовал и ходил с видом ожившей статуи. Его приближенные говорили, что, когда они разговаривали с ним, он никогда не менял ни выражения лица, ни позы. Он принимал их, выслушивал и отвечал им с одним и тем же выражением лица, и из всех его частей тела двигались только губы и язык».

Еще больше, чем государи, с детства формировавшиеся в чопорной атмосфере двора, чувствовали себя скованными узами этикета королевы иностранного происхождения, тем более что их камергеры строго следили за соблюдением ими всех его требований. Известно, как это описал Виктор Гюго в драме «Рюи Блаз», используя истории, рассказанные мадам д'Ольнуа. Помимо того, что *двор* королевы включал в себя, как и *двор* короля, старшего мажордома и *менинов* (юных пажей — отпрысков наиболее знатных фамилий королевства), она жила в постоянном окружении знатных дам, и, так как даже тень подозрения не могла коснуться королевы, ни один мужчина, кроме короля, не мог провести ночь во дворце.

Король и королева обедали порознь, кроме исключительных случаев, например празднования свадьбы одной из придворных дам, когда та приглашалась за стол правителей страны. Раз в неделю придворным и знатным особам, удостоившимся такой чести, разрешалось присутствовать на трапезе монарха, распорядок которой напоминал спектакль, что потом будет заимствовано при французском дворе, сначала в Лувре, а затем в Версале, отчасти под влиянием двух королей, прибывших во Францию из Мадрида, — Анны Австрийской и Марии-Терезии. Преклонив колено, интендант (*aposenador*) дворца ждал, когда его повелитель сядет за стол. После того как прелат самого высокого ранга, служивший при

дворе, благословлял пищу, король садился; рядом с ним стоял дежурный мажордом, державший в руке жезл — знак своего достоинства. Затем к своим обязанностям приступали стольничий, раздатчик хлеба и виночерпий, действия которых тоже строго подчинялись протоколу: всякий раз, как король желал пить, виночерпий шел за кубком, стоявшим на серванте, и открывал его, чтобы показать врачу, присутствовавшему на королевской трапезе; затем, закрыв кубок, он в сопровождении двух служителей и привратника дворца относил его королю и опускался на колено, передавая его монарху. Когда повелитель выпивал вино, пустой кубок возвращали на сервант, а раздатчик хлеба приносил салфетку, которой король вытирал губы. Похожая церемония сопровождала подачу каждого блюда. По завершении трапезы и после того, как королевский духовник воздавал благодарение Богу, подходил стольничий, чтобы убрать крошки, которые могли упасть на одежду короля.

Трапеза королевы проходила не менее торжественно. Брюнель, удостоившийся чести сидеть в углу залы во время обеда королевы Марии-Анны Австрийской, второй жены Филиппа IV, писал: «Напротив (королевы) сидела дама, выполнявшая обязанности стольничего — ставившая перед ней все подаваемые ей блюда. По обеим сторонам от королевы сидели две другие дамы: та, что справа, пробовала напитки; та, что слева, держала блюдце и салфетку. Королева очень мало пила, но ела довольно хорошо. Ей подавали множество блюд, но не очень вкусных, насколько можно было судить по их виду. У нее есть шут, говорящий почти без умолку, старающийся рассмешить ее и развлечь своей болтовней».

Тем не менее в этой жизни, похожей на театральное представление, были мгновения, когда в стороне от чужих взглядов, вынуждавших строго соблюдать придворный ритуал, суверены возвращались, так сказать, к обычной человеческой жизни, о чем свидетельствует рассказ некоего отца-иезуита, поведавшего одному из своих собратьев о визите в их монастырь Филиппа IV и Изабеллы Бурбонской в сопро-

вождении маленькой инфанты, которая должна была впоследствии стать королевой Франции Марией-Терезией: «Она шла со своим братом, в камзоле из красной шерсти, такая крошечная, светленькая и беленькая, что была похожа на младенца Христа. Ее родители, король и королева, говорили ей: “Иди же, малышка”, а она, в свете множества огней и среди богатого убранства, останавливалась, изумленная, и ее мать буквально замирала от восхищения, глядя на нее... Один из монахов попросил у Филиппа IV разрешения подарить инфанте маленький сувенир. “Пожалуйста, — ответил король, — подарите ей, что вам угодно”. Малышка сразу же подошла — чтобы, как поняли все, взять подарок, — и ей вручили роскошный ковчег, приведший всех в изумление, а девочка, еще более оживленная и веселая, чем в момент прибытия, была очень мила, рассматривая его. Мать сказала ей: “Ответь же что-нибудь святому отцу”. И она сказала: “Храни Вас Господь”... Тысяча благословений последовала ей в ответ, *а ее отец, дабы не расхохотаться, спрятал лицо*»⁴.

Это боязнь монарха, даже когда он выступает в роли отца, утратить неизменную серьезность, подобающую королевскому величеству, весьма показательна. Она заставляет еще больше удивляться некоторым аспектам придворной жизни, вступающим в противоречие с установленным порядком. Самый поразительный пример — место, которое занимали шуты в окружении правителя, место, о важности которого свидетельствовало не только высокое жалование, которое получали шуты, но еще более тот факт, что Филипп IV велел своему придворному художнику Веласкесу увековечить черты своего шута, как увековечивались образы членов королевской фамилии. Шуты могли фамильярничать с королем, и при этом строгом дворе, где обязанности каждого были детально определены, они находились всюду — в приемных, в королевских покоях, в салонах для приемов, и повсюду их роль «человека для развлечения» (так их именовали в инвентарных списках двorca) состояла в том, чтобы смешить: своим

физическим уродством больного безобразного карлика, подчеркивавшимся ливреей, которую они носили; контрастом между человеческим убожеством, которое они представляли, и именами, которыми их награждали (один из шутов Филиппа IV носил имя победителя при Лепанто, Дона Хуана Австрийского); своей нескончаемой болтовней, сдобренной шутками, более или менее отвечавшими хорошему вкусу и порой разбивавшими жесткую оболочку серьезности, окутывавшую короля и его приближенных. Антуан де Брюнель сообщает, что королева Мария-Анна, совсем юная и недавно прибывшая из Германии, не могла удержаться от смеха, видя кривляния и слыша смешные речи одного из шутов. «Ей дали понять, что вести себя подобным образом королеве Испании не годится, что надо выглядеть более серьезной, на что она удивленно ответила, что не сможет вести себя иначе, если от нее не удалят этого человека, и что зря показали ей его, если не хотели, чтобы она смеялась»⁵.

Но в роли, отведенной шутам, просматривалось более глубокое намерение. Под физическим уродством некоторых из них скрывался весьма острый ум, а их «шутовство» давало им право говорить все, и случалось так, что короля не всегда устраивала горькая правда. Становясь эхом тех толков, которые никто не осмелился бы передать монарху в серьезной форме, шуты при короле были выразителями *гласа народа*.

Совсем иного порядка был обычай, противоречивший сакрально-священному уважению к королеве Испании: «придворные ухаживания» (*galanteo en palacio*) — искусство открыто ухаживать за придворными дамами. Они были в обычае даже при строгом дворе Филиппа II, как свидетельствует некий дворянин из свиты венецианского посла. «При королеве, — сообщает он, — находились ее фрейлины, принадлежавшие к самой высшей знати; три из них с большим почтением прислуживали ей за столом; другие тем временем, несколько в отдалении, но в тех же королевских покоях, беседовали со своими возлюбленными. *Эти ухажеры имели право не*

снимать головного убора перед королем и королевой, тихо беседуя с молодыми девушками, для которых являлись верными рыцарями; это были принцы и благородные господа, известные своим богатством или знатным рождением, служившие придворным дамам ради времяпрепровождения, а также с намерением найти себе среди них супругу; если же у них были иные намерения, ими пренебрегали, поскольку в этом отношении правила дворца Ее Величества были строги...» Однако венецианец уменьшил значение последней оговорки, добавив, что несколько кавалеров могли служить одной даме, «но при этом дама могла принимать ухаживания только одного кавалера...»⁶.

Спустя три десятилетия Бартелеми Жоли также сообщал, что кавалеры, служившие дамам своего сердца, с нетерпением ждали публичных обедов у королевы, «поскольку они имели возможность во время обеда беседовать каждый со своей дамой сердца, и, как утверждают, они не снимали головной убор, их никто не перебивал, никто не слушал, что они говорили, лишь бы только королева могла видеть их». Почему они обладали такой привилегией — не снимать шляпу ни перед своей дамой, ни перед королевой? Как говорил Берто, это объяснялось крайне изощренной галантностью: они хотели таким способом продемонстрировать, «что их дамы, которым они себя посвящали, имеют в отношении их такие же права, как король в отношении своих подданных, то есть могут позволить им не снимать головной убор. И еще этот недостаток любезности объясняют тем, что кавалеры пребывают в таком упоении, до того поглощены любованием своей дамой, что не могут даже и подумать о том, что находятся в шляпе в присутствии королевы».

Возможность «пофлиртовать» представлялась весьма редко, раз она ограничивалась лишь теми днями, когда королева обедала при публике. Так, лишённые возможности тихонько поворковать со своими Дульсинями, кавалеры выстраивались у фасада дворца, ожидая, когда их возлюбленные появятся у

окна или на балконе и они смогут полюбоваться ими и поговорить с ними «с помощью знаков, придуманных специально для такого вида общения», — писал с добродетельным негодованием советник Берто. Но самой большой удачей для кавалеров были выходы королевы в сопровождении своих фрейлин. «Тогда любовники, которые всегда были очень ловки, вспрыгивали на подножку кареты, чтобы развлечь их беседой. Когда королева возвращалась поздно, они велели нести перед каретой, где были их дамы, сорок или пятьдесят свечей из белого воска, что создавало очень красивое освещение, особенно если карет было несколько, и в каждой по несколько дам. Так, — заключает графиня д'Ольнуа, несомненно, с изрядной долей преувеличения, — нередко можно было видеть тысячу свечей, помимо тех, что предназначались для королевы».

И тем не менее монотонная размеренность придворной жизни часто нарушалась важными событиями и праздниками, которые устраивались по их поводу. Никогда они не были столь многочисленны и столь великолепны, как в те пятьдесят лет, когда наметился упадок испанского могущества. Любой повод мог явиться причиной для их проведения: день рождения короля и членов его семьи, военные победы, выборы епископа, прием посла или чужеземного правителя. Большинство их приобретало характер народного празднества, в котором принимало участие, по крайней мере в качестве зрителей, все население города; таковы были празднества, устроенные в честь пребывания в Испании принца Галльского Карла, прибывшего просить руки инфанты: в течение шести месяцев, с марта по сентябрь 1623 года, друг друга сменяли практически ежедневные шествия, корриды, фейерверки, банкеты, и все это проходило с пышным великолепием, которым Католический король хотел обольстить юного принца-протестанта, надеясь обратить его в свою веру⁷.

Другие праздники, проводившиеся во дворце или в королевских резиденциях вблизи Мадрида (в частности, в Аранхуэсе), сохраняли свой «придворный» характер. Для того чтобы создать для их проведения менее суровую обстановку, чем та, что была в старинном Алькасаре, Филипп IV распорядился построить на другом конце Мадрида летнюю резиденцию *Буэн Ретиро*. Новый дворец, сооруженный в центре огромного ухоженного парка (современный мадридский парк *Ретиро* является лишь частью старинного), включал в себя роскошные салоны, украшенные полотнами Сурбарана и Веласкеса, и «театральный коллизей», оформленный флорентийцем Кома Лотти, помимо всего прочего, специалистом по театральным механизмам, применявшимся в представлениях на мифологические или рыцарские темы. Еще до завершения строительства в *Буэн Ретиро* и его парке постоянно проводились праздники. «Герцог д'Оливарес, — пишет один из врагов фаворита, — проводил свои дни, устраивая балы, маскарады и фарсы, участием в которых убивают время, лишая себя возможности для свершения важных дел; и этот образ жизни напоминал Ниневию, эпоху Нерона и последние годы правления римлян». В 1637 году, чтобы отпраздновать избрание императором Фердинанда III, кузена короля, в парке устроили, разровняв холм, который там находился «с того дня, как Бог создал мир», нечто в роде импровизированной сцены, для сооружения которой понадобилось 80 тысяч деревянных балок. Вокруг были воздвигнуты галереи и богато украшенные ложи, из которых придворные могли любоваться на конные состязания с участием короля, герцога д'Оливареса и прочих наиболее влиятельных при дворе людей, «одетых в неслыханно дорогие наряды», разыгрывавших имитацию сражения. Общие затраты на это празднество превысили 300 тысяч дукатов. Видимо, подобное расточительство в обедневшем государстве многих возмутило, поскольку власти сочли нужным дать официальное объяснение: «Столь важное мероприятие имело еще и другую цель помимо обычного представления ра-

ди времяпрепровождения. Подобного рода демонстрация богатства была устроена для того, чтобы наш добрый друг, кардинал Ришелье, знал, что у нашего государства еще есть деньги, которые можно потратить на то, чтобы наказать его короля»⁸.

Интеллектуальные запросы государя-мецената, каковым являлся Филипп IV, находили свое удовлетворение на собраниях «Придворной Академии», в которых участвовали придворные и лучшие умы страны, и на театральных представлениях по пьесам Лопе де Вега и Кальдерона, проходивших в «колизее» Буэн Ретиро. Но и здесь мы тоже можем увидеть странное противоречие между заботой о соблюдении этикета и некоторыми развлечениями, отнюдь не отличавшимися хорошим вкусом. Маршал де Грамон, приехавший в Мадрид в 1659 году, чтобы от имени Людовика XIV просить руки инфанты Марии-Терезии, присутствовал на театральном представлении. Он так описывает короля: «Оставаясь неизменно неподвижным в течение всего представления, не пошевелив ни рукой, ни ногой, ни головой, лишь обменявшись единственной репликой с королевой, он удалился затем с той же торжественностью, сделав перед ее величеством подобающий реверанс». Но тот же самый король, правда, несколькими годами ранее, придумал, как оживить спектакль, продублировав его другим, в котором невольными участницами на его глазах стали придворные дамы. «Его величество, — повествует священник Барьонуэво, — приказал, чтобы на следующий день на комедию пришли только женщины, причем без фижм; сам он собирался прийти вместе с королевой и смотреть сквозь жалюзи своей ложи; тем временем приготовили мышеловки с более чем сотней хорошо откормленных мышей, для того, чтобы выпустить их в самый разгар спектакля, как в партере, так и на балконе. Если так сделать, то получится захватывающее зрелище, которое хорошо развлечет их Величества».

Другой контраст касается всей Испании того времени: среди всех этих праздников и роскоши сам двор не избежал нищеты или, точнее, недостатка в

необходимом, при том, что деньги без счета тратились на излишества. Поставщики двора, которым не платили, отказывались порой предоставлять свои товары. «Часто бывали дни, — писал Барьонуэво в 1654 году, — когда при дворах короля и королевы не было ничего, даже хлеба»⁹. В следующем году (октябрь 1655 года) он рассказывал, что королеве Марии-Анне, жаловавшейся на то, что ей не дают пирожных, которые она так любила, дама, отвечавшая за эту службу, ответила, что торговец отказывается поставлять пирожные, поскольку ему задолжали много денег. Сам король, который имел привычку есть рыбу накануне праздников Девы Марии, «ел только яйца, и снова яйца, поскольку у людей, отвечавших за покупку продуктов, не было ни су, чтобы заплатить торговцам». Естественно, жалование служащим двора выплачивалось с большими задержками, если вообще выплачивалось. В записке, датированной ноябрем 1657 года и сохранившейся в архивах Королевского дворца, читаем: «Диего де Веласкес, аrosentador (интендант) Дворца (должность, на которую великий художник был назначен в 1652 году), сообщает, что по обычному жалованью работникам его службы существует задолженность за целый год, что составляет шестьдесят тысяч реалов, и кроме того, за 1653 год уже есть задолженность в сумме тридцати тысяч реалов; дворники и другие служители, относящиеся к его ведомству, прекратили работу, и, что еще хуже, нет ни реала, чтобы заплатить за дрова для отопления апартаментов Его Величества...»¹⁰ Речь, правда, идет об «ужасных годах» правления, но еще задолго до этого хронист той эпохи Новоа противопоставлял разбазаривание средств на строительство Буэн Ретиро ограничению, жертвами которого стали служители дворца, из которых, по их собственным словам, «выжали всю кровь»¹¹.

...

Окружавшая короля аристократия способствовала его разорению, но вместе с тем и добавляла ему блеска. Редко встречались высокородные дворяне,

жившие на своих землях; они поручали заботу о своих имениях управляющим, а сами предпочитали жить при дворе, ожидая милостей, которые могли быть им оказаны государями или их фаворитами.

Главной заботой каждого придворного было стремление утвердиться в своем положении и, если возможно, затмить других роскошью своего образа жизни, бросая, таким образом, вызов мерам, неоднократно принимавшимся королевскими властями, чтобы как-то уменьшить тот избыток роскоши, который демонстрировали представители высшей знати. В 1611 году, в период правления Филиппа III, был издан декрет, который ограничивал пользование «мебелью, вазами, каминами, золочеными и посеребренными каретами», равно как и использование вышивки золотом и серебром в производстве тканей для драпировки, балдахинов и ковров и «других объектов, служащих исключительно для выставления напоказ богатства, и на что уходят целые состояния». Однако это ограничение не соблюдалось, судя по тому, что в начале своего правления Филипп IV был вынужден подтвердить его «Статьями о преобразованиях», обнародованными в 1623 году: одна из них вносила важное изменение в одежду состоятельных людей, строго-настрого запрещая употребление «испанского воротника» (*lechuguilla*), который изготовлялся из белого полотна, тисненого и накрахмаленного, натягиваемого на каркас из железной проволоки и картона, и на котором голова выглядела так, словно была положена на блюдо. Не только покупка этого аксессуара и уход за ним стоили дорого, но и, как утверждалось в докладной записке того времени, «многие умные и сильные молодые люди, которые могли бы своим трудом принести пользу государству, занимались тем, что гладили и гофрировали свои экстравагантные безделицы». Этот запрет сопровождался запрещением использовать ткани, расшитые золотом, серебром или шелком в мужских костюмах; в этом отношении пример был подан самим королем, заменившим черным цветом бытовавшее до той поры многоцветье одежды.

Но если сравнивать испанский костюм с одеждой французских дворян того времени, то он отличался большей сдержанностью, не был лишен элементов, подчеркивавших простоту: основой облегающего камзола являлся корсет, иногда дополненный ватной прокладкой для придания представительности носившему его. Одевавшаяся сверху открытая туника дополнялась ложными рукавами, более широкими в области плеча. Под брюками, суженными на коленях, ложные икры (*pantorrillas*) делали ногу более изящной. Мужской силуэт — имеются в виду знатные особы — завершался фетровой шляпой с широкими полями, часто украшенной разноцветными перьями, и широким плащом темного цвета, неотъемлемым спутником любовных походов, поскольку его полый можно было закрыть лицо.

Со времен Филиппа II меняется мода: вместо коротких волос стали носить длинные или же заменяющие их парики. Среди щеголей вошло в обычай пользование духами и даже румянами, так что, сетовал Лопе де Вега, «невозможно стало понять, говоришь ли ты с мужчиной или с его сестрой...».

Важно было наличие прислуги, в самом широком смысле этого слова, то есть включая сюда не только собственно слуг, но и всех, кто составлял «клиентелу» знатной особы, наиболее наглядно демонстрировавшую ее социальное положение. Однажды во время состязаний на копьях, устроенных на Плаза Майор в конце правления Филиппа III, герцог д'Осуна, скандально обогатившийся, исполняя обязанности вице-короля Неаполитанского королевства, появился в сопровождении сотни лакеев, одетых в голубые с золотом одежды, и пятидесяти военачальников и чиновников в одежде из самой дорогой ткани, украшенной драгоценными камнями. Поэтому «Статьи» 1623 года устанавливали максимальное число «мажордомов, сенешалей, пажей, лакеев, слуг и охранников, постоянно сопровождавших знатных господ, тем самым отнимавших рабочие руки у сельского хозяйства и ремесла». Гранды Испании могли теперь иметь только восемнадцать человек, министры и со-

ветники короля — восемь; что касается «дам», то королевским указом от 1634 года им предписывалось, под страхом ссылки, иметь в своей свите не более четырех «оруженосцев» или дворян.

Уместно усомниться в эффективности этих мер, поскольку многочисленные свидетельства, относящиеся к более позднему времени, представляют нам знатных особ, окруженных внушительной свитой из телохранителей и пажей, а Наварет в своем трактате *«Сохранение монархий»* (1626) говорит об «эскадронах», формировавших свиты некоторых знатных дам. Если даже самый нищий из идалго — такой, как голодный Лазарильо из Тормеса — не мог обойтись без услуг лакея, присутствие которого рядом с ним, помимо шпаги на поясе, было единственным свидетельством его благородного происхождения, как мог важный господин довольствоваться свитой из двух-трех человек? Сам король подавал плохой пример, откладывая, по случаю важных событий или просто ради придания большего блеска тем или иным придворным праздникам, исполнение изданных им законов, направленных против роскоши и чрезмерных расходов. Во время визита принца Галльского герцог Медины-Сидонии, хозяин огромных владений в Андалусии, подарил королю Филиппу IV двадцать четыре лошади со сбруями, украшенными жемчугом и инкрустированными золотом, а в придачу к ним — двадцать четыре раба, одетых в ливреи в голубую полоску с золотыми позументами. Рабы и лошади вошли в город кортежем, впереди которого ехали сенешаль герцога и трубачи, все превосходно одетые — «зрелище, собравшее такую толпу на улицах и площадях, что невозможно было протолкнуться»¹². Даже в тяжелые годы конца этого царствования нищета, сделавшаяся в Испании острой проблемой, не заставила положить конец расточительству и показной роскоши: в 1657 году маркиз д'Элиш устроил в честь новой королевы Марии-Анны Австрийской праздник, во время которого, помимо концертов и театрального представления, состоялся банкет на тысячу персон. Он обошелся маркизу в 16 тысяч ду-

катов — однако была получена компенсация в виде пожалования звания гранда.

Недешево обходилось придворным и «служение даме сердца», проще говоря, содержание любовниц, ибо «ухаживания во дворце», хотя и должны были являться лишь выражением платонических чувств, часто заходили дальше, превращаясь в похождения иного рода. В начале XVII века португалец Пинхейро, описывая жизнь двора, который тогда располагался в Вальядолиде, особо отмечал безнравственность жизни придворных, среди которых были даже мужья, закрывавшие глаза на измены жен. Это зло еще больше усугубилось во время правления Филиппа IV. Анонимная «Докладная записка», поданная королю в 1658 году, сообщает о 143 замужних женщинах, ведущих «неправедный» образ жизни. Удивительнее всего то, что король, подававший в этом отношении самый дурной пример, иногда пытался принять какие-то меры по восстановлению добрых нравов в своем окружении...

Впрочем, внебрачная связь, равно как и роскошь одежды или число слуг, являлась обычным атрибутом галантной жизни, и терпимое отношение к этому нашло отражение во многих свидетельствах того времени. «Что мне кажется странным и, на мой взгляд, недопустимым в католическом королевстве, — пишет Брюнель, — так это терпимость в отношении мужчин, содержащих любовниц столь открыто, что это ни для кого не является секретом. Этих любовниц называют *amancebadas*. Даже будучи женатыми, мужчины не хотят от них отказываться, и бывает так, что незаконнорожденные дети воспитываются вместе с законными...»¹³ О том же писала и графиня д'Ольнуа, объяснявшая снисходительность, которую проявляли законные жены в отношении подобных связей, тем фактом, что они считали положение своей соперницы настолько ниже собственного, что на это даже не стоило обращать внимание.

Действительно, «галантное ухаживание» порой вело к любовным похождениям или тайным связям, но не всегда при дворе важные господа брали себе в

любовницы дам своего же круга. Часто их любовницами становились известные актрисы, и даже проститутки высокой пробы, причем многие из них были причиной соперничества с кровавой развязкой. «На днях, — пишет некий отец-иезуит своему брату, — граф д'Оропеза и герцог д'Альбукерка катались в Прадо. Напротив их экипажа остановилась карета, в которой сидели дамы. Было около десяти часов вечера. Одна из женщин позвала герцога. Мужчины вышли из своей кареты и начали беседовать с дамами. И тут на них напали трое: один из них накинулся на Альбукерку, двое других — на Оропезу. Альбукерка убил своего противника, а Оропеза получил ранения в щеку и плечо... На следующий день маркиз д'Альменара появился с перевязанной рукой — результат ночного столкновения, после которого он мог остаться одноруким калекой. Причины всего этого — молодость и женщины»¹⁴.

Поскольку любовная страсть сопровождалась желанием показать себя, эти связи зачастую оказывались разорительными, ибо считалось унижением не удовлетворить каприз, пусть даже самый дорогой, своей дамы. «Когда говорят о крупных тратах испанцев и пытаются понять, по какой причине они разорялись, — замечает Антуан де Брюнель, — практически все, кто жил в Мадриде, уверяли, что причина разорения большинства домов — женщины. Не было такого, кто бы не содержал любовницу и не предавался бы радостям любви с какой-нибудь гулящей женщиной. А поскольку во всей Европе не было более изобретательных и наглых путан, они обирали каждого, кто попадал в их сети. Им нужны были юбки по тридцать пистолей, дорогая одежда, драгоценные камни, кареты, мебель. Укоренившееся в этом народе ложное понимание великодушия требовало не жалеть ничего ради любовной связи»¹⁵.

Разумеется, ради того, чтобы вести жизнь придворного со всеми ее «дополнительными» тратами, расходовались огромные состояния дворян. Однако дворянство тоже было подвержено общему для всего королевства обеднению, и именно к королю

большинство придворных обращались, как попрошайки, чтобы тот оплатил не только ту роскошь, которой они себя окружали, но и те развлечения, которым они предавались. Соответственно, придворные все меньше проявляли желания заниматься государственными делами. «Маркизу де Легане, дабы заставить его принять должность (ни больше ни меньше как губернатора Милана), было выдано 6 тысяч дукатов пожизненной ренты, 12 тысяч на возмещение расходов, 2 тысячи на ежемесячное содержание; и после всего этого он очень неохотно поехал на место своей службы»¹⁶.

Когда Филипп IV в 1644 году встал во главе своей армии, чтобы попытаться отвоевать Каталонию, занятую французами, ему пришлось прибегнуть к обещаниям и угрозам, чтобы заставить дворянство присоединиться к нему. В памфлете тех лет *«Дух Франции и изречения Людовика XIV»* делается иронический вывод из такого положения вещей: «Гранды Испании очень помогают французскому королю и работают, сами того не осознавая, на осуществление его великих замыслов, поскольку они обогащаются за счет своего хозяина и таким образом отнимают у своей страны возможность содержать армию». Блестящий, бесполезный, безнравственный и разорившийся, королевский двор Испании стал, по словам историка той поры, «повергающим в уныние национальным бедствием»¹⁷.

2

Мадрид, однако, извлекал выгоду из присутствия двора, и все в нем — от внешнего вида до жизни горожан — выдавало тесную связь с королем и его окружением. За полвека его население увеличилось в пять раз и во время правления Филиппа IV превысило 100 тысяч жителей. Этот демографический рост и развернувшееся в связи с ним строительство вызвали необходимость снести старинную стену, окружавшую средневековый город. Большинство укреплен-

ных ворот, защищавших город с востока, таких, как Пуэрто дель Соль, исчезло; другие с участками полуразрушенной стены оказались внутри городских новостроек. Одна из причин, по которой город так разросся, состояла в том, что большинство домов были одноэтажными — из-за «хитрости» жителей Мадрида, которые пытались таким образом избежать выполнения обязанности, предписанной Филиппом II в то время, когда двор и правительственные службы обосновались в городе: король повелел, чтобы собственники достаточно просторных домов, в частности тех, которые имели более одного этажа, предоставили часть своего жилища в распоряжение короля, дабы он мог селить там административных работников и людей из свиты. И хотя с 1621 года появилась возможность откупиться от этой обязанности, к этому времени в Мадриде уже было множество таких одноэтажных «хитрых домов» (*casas de malicia*), и к середине XVII века они составляли три четверти всех построек города.

Важные здания, как правило, ничем не отличались от обычных. Как и более скромные дома, они строились из самана или кирпича, и лишь каменный фасад отличал богатые дома зажиточных горожан или знатных сеньоров. Окошки были маленькие, часто даже без стекол (их заменяла промасленная бумага, пропускавшая очень мало света), но почти всегда были оборудованы железными решетками, служившими не столько для украшения, сколько для обеспечения безопасности: люди опасались как предприимчивых кавалеров, так и ночных бродяг. Цены на дома и плата за наем оставались очень высокими, свидетельствуя о «жилищном кризисе», который в то время переживала столица.

Появление в городе королевского двора принесло и некоторые улучшения. Самым замечательным из них было строительство при Филиппе III площади *Глаза Майор*, обширность и великолепие которой не только являлись предметом гордости мадридцев, но и восхищали иностранцев. Площадь имела прямоугольную форму и была окружена пятиэтажными

домами, самыми высокими зданиями в Мадриде, архитектура которых удачно сочетала камень и кирпич. Первый этаж этих зданий был построен на крытых галереях, в которых располагались лавки или лотки уличных торговцев. Линия верхних этажей была подчеркнута рядом кованых балконов, которые представляли собой трибуны, откуда король, придворные и знатные особы могли наблюдать за тем, как разворачиваются зрелища и празднества: здесь проходили корриды, турниры и аутодафе, для которых площадь стала обычным местом проведения. Недалеко от площади с 1629 по 1643 год было сооружено здание, которое по своему контрасту между красотой архитектуры и своим назначением удивляло всех посетителей столицы. «Это массивное здание, длинное и широкое, — пишет Брюнель, — с тщательно зарешеченными окнами. Решетки служат как для украшения, так и для обеспечения безопасности; действительно, помимо того, что они имеют мелкие ячейки и намного обширнее монастырских, они покрыты позолотой и выполнены весьма искусно — настолько искусно, что не стоит удивляться тому, что я, впервые увидев это здание, решил, что оно принадлежит какому-нибудь испанскому гранду». На самом же деле оно лишь иногда — и то на время — являлось резиденцией некоторых грандов, поскольку речь идет о «дворянской тюрьме»¹⁸.

Большая улица (*Calle Mayor*) представляла собой главную артерию города и вела от королевского дворца Алькасар к площади, которая носила имя старинных ворот Пуэрто дель Соль. Так же, как и Плаза Майор, вдоль одного из фасадов которой она проходит, обрамленная высокими домами, эта улица, минуя площадь Пуэрто дель Соль, переходит в Оливковую улицу (*Olivos*), совершенно иного вида: пригород, который она пересекает, расположен на границах старого города. Там было построено множество монастырей и церквей, огромные сады которых создают в этом квартале полудеревенскую атмосферу. Поэтому представители аристократии строили здесь свои богатые дома, тянувшиеся вплоть до самого *Прадо* —

поля, на котором в XVI веке устроили место для прогулок, украшенное многочисленными фонтанами.

Другие значительные улицы, которые от Плаза Майор или Пуэрто дель Соль расходились лучами к границам города, обычно были достаточно широкими и вполне выдерживали сравнение с известными улицами других европейских столиц, оставшихся, как Париж, в своих старинных границах. Если многие иностранные путешественники отмечают этот факт, то не менее единодушны они и в своих наблюдениях относительно грязи на улицах и перекрестках и исходившей от нее почти невыносимой вони. Камиль Боргезе (будущий папа Павел V), посетивший Мадрид в 1594 году, называет причину этого. «Наряду с прочими своими несовершенствами, — пишет он, — дома не имеют “отхожих мест”, поэтому горожане справляют нужду в специальные горшки, которые затем опорожняют на улицу»¹⁹. Правда, эта практика регламентировалась: «опорожнение» могло производиться только ночью, когда, как считалось, на улицах никого не было; помимо того, прежде чем выплеснуть содержимое горшка из окна или с балкона, полагалось, дабы предупредить случайного прохожего, крикнуть «Agua va!» (внимание: вода!). Но если судить по сатирическим литературным произведениям того времени, в которых жертвами зловонных сюрпризов становятся запоздалые прохожие или кавалеры, ведущие любовные беседы под окном своих возлюбленных, такие «инциденты» случались нередко. Поэтому придворные алькальды, в обязанность которым вменялось следить за порядком в городе, приняли ограничительные меры: запрещалось выплескивать «воду, нечистоты или что-либо иное» из окон и с балконов, и только дверь, выходящая на улицу, могла служить для этой цели; кроме того, устанавливалось время для опорожнения горшков: после десяти вечера зимой и после одиннадцати — летом. В случае нарушения этого распоряжения предусматривалось наказание — четыре года ссылки для хозяев дома и шесть лет — для слуг, которых к тому же подвергали за это публичной порке²⁰.

Эти ограничения, впрочем, не меняли конечного пункта пищевых и прочих отходов. «Подсчитавшие, сколько нечистот выбрасывалось на улицу, говорили, что улицы ежедневно “ароматизировались” более чем ста тысячью фунтов экскрементов...» — писал Брюнель. Зимние дожди превращали все это в тошнотворную грязь; летом солнце и засуха обращали эту грязь в пыль, поэтому родилась поговорка, что «извергнутое зимой поглощается летом»²¹.

Однако природа сама дала средство против этого. Уже упомянутый Камиль Боргезе писал по поводу вони в Мадриде, что «в этих краях в изобилии произрастают благоуханные растения, без чего невозможно было бы здесь жить». Но самым лучшим противоядием являлся сам мадридский воздух. «Воздух настолько живительный и свежий, — утверждал Берто, — что он моментально все поглощает, обладая таким же иссушающим и едким свойством, как известь, съедающая тела прежде, чем они начнут издавать гнилостный запах. Действительно, мне часто попадались на улицах дохлые собаки и кошки, от которых вовсе не пахло, и не только потому, что этот воздух трудно было испортить, но главным образом из-за быстрого и незаметного разложения всех элементов, что снимало саму причину его порчи. К тому же жители Мадрида считали, и это мнение поддерживалось врачами еще в XVIII веке, что воздух города был настолько живительным, легким и свежим, что мог бы стать целебным, если бы его сила не была уменьшена зловонными испарениями, которые исходили от улиц столицы.

Однако Мадрид был славен не только воздухом, но также изобилием и качеством имевшейся там воды. Еще во времена господства здесь арабов была построена подземная сеть водопроводов, так что вода подавалась во множество окрестных мест. Новые усовершенствования, которым город обязан королевскому правительству и муниципалитету, позволили добавить к ним воду из других источников, подводившуюся к городским водоемам, число которых увеличилось как для удобства жителей, так

и для украшения города. Некоторые из водоемов особенно славились качеством воды, так что кардинал-инфант, брат Филиппа IV, командовавший испанскими войсками во Фландрии, просил присылать ему из Мадрида бурдюки, наполненные водой из того самого родника, который поставлял воду для королевского двора...

Снабжение города продовольствием представляло собой более сложную проблему. «Это удивительно, — писал Берто, — что такой город, по величине равный Сен-Жермен, пригороду Парижа, или Бордо, существует без реки, по которой могли бы двигаться корабли. Все доставляется сюда по суше, и даже не на телегах, как во Франции, а на спинах ослов и мулов, что служит одной из причин, по которой продукты в городе столь дороги». По всем путям, ведущим в Мадрид, в радиусе от сорока до пятидесяти лье, с пшеничных полей Саламанки, с виноградников Вальядолида и из гораздо более отдаленных мест, даже из портов кантабрийского побережья, непрерывно тянулись в столицу караваны вьючных животных. Нескончаемые очереди выстраивались у ворот, поскольку в Мадриде, лишенном крепостной стены, муниципалитет приказал выстроить в конце улиц, сообщавшихся с деревней, кирпичные потерны, где взимались ввозные пошлины и различные налоги. Зато именно на муниципалитет возлагалась обязанность, порой весьма непростая, бесперебойно обеспечивать продовольствием город, не допуская чрезмерного роста цен на продукты первой необходимости. Над Мадридом все время висела угроза голода, поэтому за торговлей пшеницей и выпечкой хлеба следили особенно тщательно.

Снабжение мясом было легче осуществлять в регионе плоскогорий и сьерр, расположенных рядом со столицей, где разводились огромные стада овец. Баранина занимала главное место в мясной пище: по словам современника, Мендеса Сильвы, Мадрид потреблял каждый год 50 тысяч баранов, 12 тысяч быков, 60 тысяч козлят, 10 тысяч телят и 13 тысяч свиней — цифры, если они точны, представляющие,

учитывая численность населения города, среднее потребление, которое не ниже среднего потребления современного Мадрида. Кроме того, соблюдение постных дней предполагало потребление значительного количества рыбы: ввозная пошлина 1584 года перечисляет различные ее виды, среди которых, помимо форели, карпов и других пресноводных рыб, можно встретить также сайду, морские языки, дорады, сардины, что свидетельствует о перевозке рыбы на большие расстояния, а это создавало проблемы с обеспечением ее сохранности, хотя речь и шла, видимо, о соленой и сушеной рыбе. В обращении, адресованном муниципальным властям в 1599 году, жители некоторых кварталов Мадрида жаловались, что «в пятницу, когда рыбу привозят на рынок, там, где проезжают повозки, вонь стоит такая, что им приходится закрывать окна»²². Отсюда следует, что пост был не только соблюдением одной из заповедей, но и сущим наказанием...

Правда, в то время уже начали использовать лед и снег, но не для хранения продуктов, а для приготовления прохладительных напитков и шербетов, которые тогда вошли в моду. Снег привозили в большом количестве зимой со Сьерры, расположенной в пятнадцати лье к северу от Мадрида, и укладывали в «снежные колодцы», специально оборудованные для того, чтобы там он мог храниться до самого лета. Снег тогда продавали в так называемых *puestos* (торговых точках), разбросанных по всему городу, и о том, сколь большое значение придавалось этой торговле, можно судить по тому факту, что муниципалитет оставил за собой монополию на оптовые поставки снега и установил на него фиксированные розничные цены²³.

Важной заботой властей являлась борьба против неоправданного роста цен, который мог привести не только к перебоям в поставках продовольствия, но и к скупке его частными торговцами. Этим объяснялся тот парадоксальный факт, что в городе, который являлся столицей государства и в который приезжало большое количество людей из других мест

Испании и иностранцев, было запрещено хозяевам постоянных дворов, игравших роль гостиниц, держать у себя провизию. Путешественники, которые останавливались здесь на ночлег, имели выбор между тем, чтобы купить себе еду за свой счет и затем отдать ее хозяину, чтобы он ее приготовил, или же подкрепиться в *bodegones* — ресторанах, которых в Мадриде было великое множество и цены в которых устанавливались муниципальными властями. Кроме того, для тех, кто спешил, и для обладателей тощих кошельков существовали *bodegones de puntapie*, своего рода прилавки и лотки, установленные на площадях и перекрестках, где можно было поесть, стоя, «готовой пищи» сомнительного качества, в частности, мясных паштетов (*empanadillas*), одним из компонентов которых, если верить Кеведо, было мясо приговоренных к смерти (их трупы сначала вывешивали на воротах города) — вот почему Пабло из Сеговии всякий раз, когда ел паштет, не забывал прочитать *Аве Мария* за упокой души тех, чьи тела послужили ему пищей... Но хотя Пабло и получал информацию из надежного источника — он был племянником палача Сеговии, — не следует верить ему на слово, усматривая в этой шутке лишь свидетельство о сомнительном составе и дурной репутации *empanadillas*.

Одной из характерных черт хозяйственной жизни Мадрида было то, что город являлся исключительно потребителем, причем не только продовольствия, но и ремесленных изделий. Нуньес де Кастро, опубликовавший в 1658 году «*Solo Madrid es Corte*» — дифирамб городу, рассматривал это обстоятельство как очевидное доказательство его превосходства над всеми другими городами, «поскольку иностранцы производят то, что потребляется столицей, и только один этот факт показывает, что все народы заставляют своих рабочих трудиться для Мадрида, власть которого простирается над всеми другими столицами, ибо все обслуживают его, а он — никого». Мадрид, действительно, ничего не производил на экспорт, и, помимо торговли пищевыми продук-

тами, его экономическая деятельность ограничивалась ремеслом (вышивка, позолота, портняжное дело и др.), работавшим на импортном сырье, и торговлей предметами роскоши. Своих клиентов эти ремесленники и торговцы находили среди придворных и членов правительства, а также в обществе праздных аристократов, которых присутствие короля привлекало в столицу.

Помимо владельцев магазинов существовало множество уличных торговцев, продававших безделушки, духи, предметы туалета и дешевые поделки иностранного происхождения. Большинство из них были французами, и количество их было столь велико, что создавало впечатление подлинного нашествия: Берто приводит — с большим преувеличением — цифру в сорок с лишним тысяч, и королевское правительство было обеспокоено тем, что из-за деятельности этих торговцев из страны уплывала звонкая монета: королевский указ 1667 года, дополняя собой многие предыдущие меры, подтвердил запрет продавать товары, произведенные в других королевствах. «с которыми запрещена торговля», дабы пресечь вывоз из Испании монеты достоинством 8 реалов, то есть серебряной монеты высокой пробы²⁴.

• • •

Приток иностранных торговцев был лишь одним из проявлений притягательности Мадрида, куда приезжало множество людей со всех концов Испании, соблазненных призрачным образом столицы. Королевское правительство, обеспокоенное проблемами продовольственного снабжения и безопасности, являвшимися следствием постоянного разрастания города, пыталось положить ему предел, в частности, ограничив время пребывания тех, кто приезжал улаживать свои дела в судах и административных учреждениях. Но все эти предписания остались на бумаге. К тому же наиболее нежелательными элементами были не те, кого серьезные дела более или менее долго удерживали в городе, толпа авантюрис-

тов, *picaros*, и всякого рода оборванцев, приезжавших в Мадрид для того, чтобы вести паразитический образ жизни.

В своем «Гиде для иностранцев, прибывающих в столицу», опубликованном около 1620 года, Линьян-и-Вердуго, под предлогом предостережения «провинциалов» от опасностей, которые подстерегают их в большом городе, с удовольствием описывает нескольких ярких представителей этой мадридской «фауны» и рассказывает о некоторых их «подвигах».

Сюда приезжали в поисках теплого местечка солдаты — уволенные в запас или дезертиры; в головных уборах, украшенных султанами, и со шпагой на боку, «они шагали по главной улице, как будто шли по полю боя под звуки барабанов, и хотя никогда не бывали дальше Картахены, где начали кампанию, именовали себя *ветеранами*. Они попросят к вам, не будучи приглашенными, займут у вас денег, даже не собираясь возвращать долг, и будут жить за счет тех, кого однажды убьют» (поскольку некоторые из них при случае промышляют ремеслом наемного убийцы).

Были и такие, кто жил за счет не в меру доверчивых граждан: мнимый дворянин, ссылаясь на общих родственников, поселялся в доме у порядочного горожанина и оставался там, пока хозяина не арестовывали за укрывательство преступника; авантюристка, выдававшая себя за знатную даму, держала при себе пажей и кавалеров, приводивших к ней богатых иностранцев, которых она обирала до последнего гроша; «официальные» посредники, заводившие связи с нужными людьми при дворе и в канцеляриях, слонялись вокруг королевского дворца, выискивая недавно прибывших, чтобы получить с них большие деньги за мнимые рекомендации и посредничество.

Только что прибывший в столицу провинциал тут же становился жертвой мошенников или *picaros*, как рассказано в восхитительной истории о «пройдохе» (*mequetrefe*), поведенной Линьяном-и-Вердуго. Один крестьянин из провинции Самора прибыл в Мадрид. В его мешке были документы по делу, которое он со-

бирался решить в суде, и деньги, составлявшие все его состояние. У ворот города его остановили двое: «Вы первый раз приехали в Мадрид?» — «Да». — «Вы записались у *Mequetrefe*?» — «Нет», — ответил тот, разумеется, не подозревая о существовании такого «высокого чиновника». «Разве Вы не знаете, что Его Величество предусмотрел строгое наказание для тех, кто прибыл в Мадрид, не записавшись, и что Вы рискуете заплатить штраф 12 тысяч мараведи, помимо тридцати дней тюремного заключения?» Несчастный крестьянин, дрожа, начинает верить их в своих добрых намерениях, умоляя помочь ему выпутаться из неприятного положения. Те принимают обсуждать это дело между собой, причем когда один из них делает вид, будто ему жалко крестьянина, другой остается непреклонным: «Разве вы не понимаете, что если это станет известно, мы будем наказаны?.. Если вы и я, поставленные на пост у этих ворот сеньором *Mequetrefe*, начнем пренебрегать своими обязанностями, не будучи строги с теми, кто заходит в город без записи, то мы просто не имеем права, по совести говоря, получать зарплату, которую нам платят за это». После долгой дискуссии несговорчивый «служитель» все-таки смягчается, и, проверив сумку пришедшего, в которой лежит всего восемь дукатов, двое пройдох выказывают себя весьма великодушными: они берут только шесть дукатов, оставив два крестьянину: один, чтобы тот не умер с голоду, а второй для расходов на его процесс. Вероятно, эта история подлинная — Линьян утверждает, что она обошла весь Мадрид, — во всяком случае, она заслуживает доверия, представляя типично мадридский вид мошенничества, в котором изобретательность соперничает с нечестивостью, заставляя своих жертв не только сетовать на положение, в котором они оказались, но и от души посмеяться²⁵.

На самой низкой ступени социальной лестницы находился всякий сброд — нищие и просто злоумышленники, которые в изобилии кишели на мостовых столицы. «Улицы Мадрида, — писал Наварет, — представляют собой редкое зрелище. Они полны

бродяг и бездельников, коротающих время за игрой в карты, ожидая часа раздачи благотворительных обедов у ворот монастырей или момента, когда можно отправиться за город грабить дома». Напрасно полиция усиливала дозор, а правосудие устраивало показательные процессы над преступниками, выставляя напоказ в разных уголках города расчлененные трупы — ничто не помогало. «Невозможно даже представить себе, — читаем в официальном отчете за 1637 год, — какое количество воров и злоумышленников шныряет по Мадриду, как только на землю спускается ночь, поскольку никто не может чувствовать себя в безопасности — не важно, идет ли он пешком, едет ли верхом на лошади или в экипаже. Так, недавно ограбили гранда Испании, вельможу самого высокого ранга, мажордома Его Величества». Спустя двадцать лет, в январе 1658 года, Барьонуэво писал: «От Рождества до сегодняшнего дня, говорят, более ста пятидесяти человек, мужчин и женщин, умерло от насильственной смерти, и никто не был наказан за это»²⁶.

Эти негативные явления были оборотной стороной неупорядоченной социальной жизни в атмосфере, которая предоставляла населению, в большой мере состоявшему из праздных людей, от придворных до нищих, возможность проводить на улице значительную часть своей повседневной жизни. Улица, где в тесном соседстве друг с другом пребывали люди всех сословий, предоставляла малообеспеченным в качестве развлечения возможность наблюдать жизнь других людей, сближая тех, кого разделяли общественное положение и уровень благосостояния.

Среди мест встреч праздных людей и зевак фигурировали *mentideros*, «салоны сплетен», часто упоминавшиеся в текстах той эпохи. Там собирались для того, чтобы узнать последние новости Двора и Города, обсудить литературные новинки, достоинства актеров и актрис и, конечно же, покритиковать правительство. Среди этих «салонов» была «специализация»: в салоне «Придворные голоса», объединяв-

шем людей из канцелярий Алькасаара, говорили прежде всего о политике; его завсегдаи расспрашивали королевских курьеров, прибывавших из разных частей Испанской империи или из других стран, и пытались узнать, слушая «проговорки», о чем говорится в кулуарах дворца и канцеляриях советов. На Лионской улице — где жили, кроме Сервантеса, Лопе де Вега и Кальдерон — «Актерский салон» собирал не только людей театра, но также писателей и поэтов; там любили позлословить о произведениях соперников, сочиняли эпиграммы, остроумные или причинявшие кровную обиду, сразу же разносившиеся по всему городу. Но самым известным из подобного рода мест были ступени (*gradas*) церкви Сан-Филипе эль Реаль, расположенной в начале Большой улицы, недалеко от Главного почтамта (*casa de correos*), куда приходили письма частным лицам. Завсегдаи приходили сюда поздним утром, чтобы узнать новости, полученные тем или иным членом «салона»; здесь можно было встретить многочисленных военных, которые, будучи убежденными в собственной информированности, истинной или мнимой, важно комментировали новости о военной и международной ситуации. «Они были информированы о намерениях Османской империи, о революции в Нидерландах, о положении дел в Италии, о последних открытиях в Южной Америке», — писал Линьяни-Вердуго. Велес де Гевара, автор «Хромого дьявола», иронизировал на сей счет: «Это — солдатский салон; новости там появляются раньше, чем происходят события...» Здесь же обсуждались и более фривольные темы: последние любовные увлечения короля, последние сплетни о связи важного господина и актрисы, колдовство, к которому прибегал граф-герцог д'Оливарес, дабы обеспечить себе потомство... И эти рассказы в искаженном виде и предположения, преподносившиеся как свершившиеся факты вскоре облетали весь город. Именно в этих *mentideros* формировалось общественное мнение, а критика злоупотреблений и нападки на должностных лиц часто являлись источником для рождения *pasquines* — па-

сквилей, памфлетов, сатирических куплетов, которые переживали свой расцвет в XVII веке. Один из представителей политической мысли того времени, Сааведра, советовал королю не пренебрегать произведениями этого жанра, «ибо диктует их злоба, но пишет правда, и государь найдет в них то, что скрывают от него его придворные»²⁷.

Все, кто направлялся в королевский дворец или возвращался из него, обязательно должны были проехать по Большой улице. Эта улица всегда была оживленной: по ней беспрерывно двигались кареты, кавалеры со своими провожатыми — пажами и телохранителями, и порой было даже трудно проехать по ней. Тем не менее именно здесь было принято «гулять» (*bacer la rúa*), бродить под крытыми галереями, которые обрамляли улицу с обеих сторон, и останавливаться у дорогих лавочек, в которых покупателям предлагались шикарные ткани, золоченое и чеканное оружие, вышивку, ковры, украшения. Как и Плаза Майор, магазины которой вполне могли соперничать с лавками Большой улицы и ввергали прохожих в неменьшее искушение, главная улица имела репутацию опасной «опустошительницы кошельков». Когда кавалеры видели, что дама приказывала остановить свой портшез или карету у одной из лавочек, «они бежали, как от чумы», поскольку правила поведения предписывали мужчине не отказывать своей красавице — а порой даже и незнакомке, если она его об этом просит, — пожелавшей купить серебряную брошку, золотой галун или черепаховый или янтарный гребень, которые ей понравились.

В более удаленном от центра Прадо, где росли прекрасные тополя, а воздух освежали многочисленные фонтаны, дивными летними вечерами собиралось изысканное общество. До поздней ночи дамы совершали здесь прогулки в экипажах, а мужчины — верхом на лошадях. Если дама ехала без сопровождающего, то любой другой кавалер мог завести с ней беседу, приблизившись к дверце ее экипажа. Интрижки завязывались легко — благодаря ночной темноте и тому, что женщинам позволяла оставаться

неузнанными шаль, почти полностью закрывавшая лицо, открывавшееся лишь по желанию самой дамы. Но такая анонимность часто создавала путаницу, благоприятствуя предприимчивым «профессионалкам», которые изобиловали на аллеях и в рошицах парка, становясь все более многочисленными. «Не стоит искать в Прадо приют целомудренной Дианы или храм девы, обрекшей себя на служение Весте; прежде всего вы найдете здесь обитель Венеры и слепой любви», — замечал еще современник эпохи Филиппа III, а если верить писавшему спустя полвека Брюнелю, Венера все больше брала верх над Дианой: «Между тем упомянутые грешницы овладели практически всем Мадридом, поскольку знатные дамы, да и просто порядочные женщины почти перестали выходить. Они не ездят ни на прогулки, ни в парк»²⁸.

На другом конце города берега Мансанареса служили еще одним излюбленным местом прогулок на свежем воздухе. «Начинающей рекой» обозвал ее насмешник Кеведо; река, «название которой длиннее русла» (Брюнель) и которую «называли *rio* (что означает и «река», и «я смеюсь»), поскольку она насмеяется над теми, кто пожелал в ней искупаться, ведь в ней почти нет воды» (Велес де Гевара), не всегда заслуживала насмешек, отпускаявшихся в ее адрес испанцами и иностранцами. Временами в ней все же была вода, и женщины Мадрида ходили туда купаться — совершенно обнаженными, к великому возмущению, по крайней мере, напускному, иностранных путешественников, перед которыми открывалось сие зрелище²⁹. Эта речка была также местом встречи служанок, которые приходили сюда полоскать белье и которые, согласно «Путеводителю для иностранцев», больше работали языками, чем руками, рассказывая друг другу на ухо семейные секреты и «маленькие истории» дворянских или буржуазных домов, в которых они служили. Берега реки Мансанарес особенно часто посещались простыми людьми, приезжавшими сюда на пикник (*merendar*), останавливаясь в негустой тени, располагаясь на редкой траве. Их любимым развлечением были ярмарки (*verbe-*

nas), которые устраивались в этих местах по случаю некоторых церковных праздников.

Один из них собирал в долине реки Мансанарес всех жителей города, без различия их социального положения. Это был праздник Святого Иакова Меньшего или Святого Иакова Зеленого (1 мая), называвшийся также *El Sotillo* — по названию места, где устраивалась эта ярмарка, недалеко от Толедского моста. Это был праздничный день, которого все ждали: женщины, чтобы надеть новый туалет, «кавалеры», чтобы проявить свою элегантность и великодушие, прочие же — просто поглазеть. Антуан де Брюнель, который присутствовал на *Sotillo* в 1655 году, оставил описание, служащее любопытным свидетельством о мадридских обычаях:

«Первого мая мы отправились по аллее, ведущей за Толедские ворота. Это одна из самых оживленных улиц, на которой можно видеть множество карет. Одни были запряжены четверкой мулов, и если экипаж принадлежал гранду или герцогу, то передние мулы были привязаны длинными веревками, и управлял ими кучер. Другие были запряжены шестью мулами, что свидетельствовало о принадлежности этих карет важным и могущественным господам.

Ухаживания на этом празднике заключались главным образом в том, чтобы сопровождать женщин, которые старались предстать во всем блеске, поэтому они надевали свои самые красивые наряды и не забывали ни о румянах, ни о белилах, из которых они умели извлечь максимальную пользу. Можно было увидеть самых разных красавиц в экипажах своих возлюбленных. Одни показываются лишь наполовину и не выходят из экипажей, прикрываясь вуалью или задернув занавески, другие открывают занавески и выставляют напоказ свой наряд и свою красоту; те, кому кавалеры не смогли или не захотели предоставить карету, идут пешком по аллеям или по обочинам дорог, ведущим к месту проведения праздника.

Не принято заговаривать с дамами, приезжающими сюда в сопровождении мужчин; с другими можно

было говорить в любом тоне: нежно, смело, свободно — это их не оскорбляет. Отчасти свобода и даже, можно сказать, распутство этих женщин проявляются в том, что они могут попросить у любого из мужчин, который им понравился, купить лимоны, вафельные трубочки, конфетки и другие лакомства, которыми торгуют вдоль всей дороги. Они просят торгующих сладостями сказать кавалеру о своем желании, и считается неучтивым не ответить даме, так что ей принесут желаемое и кавалеры заплатят за нее. Говорят, что эти лакомства обычно стоят экую за пять штук. Кроме того, на этом празднике можно было увидеть множество красивых лошадей, щеголявших своими седлами и лентами, которыми в тот день украсили их гривы и спины. Ехавшие верхом были либо кавалерами, одолжившими свою карету даме, либо просто людьми, получавшими удовольствие от верховой езды, возможно, даже не имевшими своей кареты. Совершив несколько объездов всех верениц карет, они, поскольку уже наступала ночь, останавливались у одной из карет, чтобы перекусить, поскольку там обычно имелись запасы еды.

Здесь можно было увидеть и придворных дам, которые приходили со своими мужьями, или модниц в сопровождении своих возлюбленных. Но поскольку эти женщины были “под присмотром”, они вели себя очень скромно, едва осмеливаясь смотреть на других и отвечать на приветствия. Простые горожане в это время разбредались по округе, где на берегу реки или в каком-нибудь тихом местечке на лугу и в поле с важным и довольным видом раскладывали свою скромную закуску в компании жены или целой семьи, а иногда и подруги»³⁰.

Хотя король в это время года обычно жил в Аранхуэсе, он не ленился проделывать десять лье, отделявших его от Мадрида, чтобы поприсутствовать на празднике — или, вернее говоря, удостоить его своим присутствием в течение нескольких мгновений, но весьма необычным способом: когда проезжал ко-

роль, каждый должен был в знак уважения к Его Величеству закрывать шторы своей кареты. Этот обычай, как замечает Брюнель, портил то удовольствие, которое мог бы доставить приезд короля и которое неизмеримо возросло бы, если бы в его присутствии каждый мог смотреть на него, а женщины — открыть свое лицо. Действительно, обычай странный, но весьма многозначительный в особых условиях Мадрида, ибо он на несколько мгновений и при неукоснительном соблюдении этикета объединял государя и жителей его города.

СЕВИЛЬЯ В СВЕТЕ ЮЖНОАМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЙ КАСТИЛИИ

Севиля — порт сообщения с Южной Америкой. Экономическая деятельность. Флоты и галионы. Центры городской жизни. — Население Севильи. Иноземцы и рабы. — Атмосфера Севильи и ее контрасты: роскошь, расточительство, коррупция. — Севиля и общественное мнение Испании

Мадрид гордился тем, что он был Двором, управлял из королевского Алькасара огромными владениями испанской монархии, пользовался преимуществами, которые давало ему присутствие короля и его окружения. Но, тем не менее, современники считали, что Севиля могла поспорить с ним в том, что касалось престижа города. Она тоже правила миром — тем миром, который подарили Испании Христофор Колумб и «конкистадоры» и богатства которого, стекавшиеся на берега Гвадалквивира, ослепляли всех, кто посещал этот город. «Кто не видел Севилью, тот не видел чуда» (*Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla*) — гласит испанская поговорка.

Расцвет Севильи приходится на конец XVI и первые двадцать лет следующего века. Это была эпоха, когда сообщение между Испанией и Кастильской

Индией достигло своей кульминационной точки и когда процветание, порожденное оживленной торговлей, стало придавать столице Андалусии оригинальный облик, в котором черты новой жизни сочетались с наследием Средних веков.

Отвоєванный в XIII веке у мавров, город сохранял в своей панораме следы векового господства арабов: Гиральда, минарет бывшей Большой Мечети, ставшая колокольной собора, высилась над городом, и ее силуэт издали возвещал путешественнику о приближении к городу; на левом берегу Гвадалквивира, там, где конец городской стены встречается с рекой, возвышалась Золотая Башня, небольшая крепость с зубчатой верхушкой, где мусульманские правители хранили свои сокровища. Королевская резиденция Алькасар, хотя и датируется большей частью XIV веком, была построена в испано-мавританском стиле с характерными для него выступающими арками, с утонченной декоративной штукатуркой под мрамор, с его бассейнами, широкими дворами и садами, орошавшимися фонтанами и струйками воды. Большинство домов, низких, побеленных известкой, практически без окон и дверей, выходящих на улицу, было обращено во внутренний дворик (*patio*), представлявший собой центр постройки; между домами пролегали узкие и кривые улочки, по которым зачастую даже не мог проехать экипаж. На другом берегу похожий вид имел квартал Триана, населенный простым людом, соединявшийся с противоположным берегом понтонным мостом.

Однако сильное христианское влияние проявлялось в значительном количестве и помпезном виде церковных построек. В XV веке был возведен грандиозный кафедральный собор. Огромные территории были заняты мужскими и женскими монастырями. Наконец, повсюду можно было встретить бесчисленные церкви, часовни, молельни, воздвигнутые в честь многочисленных святых, которых почитали жители Севильи, особенно Девы Марии в различных ее ипостасях: Нотр-Дам в Триане, Нотр-Дам в Макарене и многие другие.

Другие памятники, датируемые XVI веком или перестроенные в это время, отражают новую, основную функцию Севильи в Испанском королевстве: быть единственным в своем роде портовым городом, через который шла торговля с Южной Америкой. Таковы Таможня и Монетный двор, к которым в конце века добавилось великолепное Купеческое собрание, величественное здание из камня и кирпича, примыкающее к кафедральному собору. В одном из крыльев Алькасара помещались службы *Casa de Contratacion* (Торговой палаты), персонал которой должен был следить за соблюдением правил, обеспечивших Севилье со времен правления Католических королей монополию на торговлю с американскими колониями. В ее обязанности входила не только организация торгового флота, который отправлялся из Испании к берегам Нового Света, но и подготовка лоцманов и капитанов для этого флота. В ведении Палаты находился суд, который рассматривал все дела, связанные с колониальной торговлей. Наконец — важная обязанность — служащие Палаты должны были следить за тем, чтобы исправно собирались налоги в пользу короля, особенно «пятина», то есть пятая часть серебра, поступавшего из Америки.

Самыми главными событиями, определявшими ритм жизни Севильи, были отплытие и прибытие кораблей, которые обеспечивали сообщение между Испанией и ее американскими владениями. Поскольку ни одно судно не имело права в одиночку совершить такое путешествие, каждая эскадра состояла из нескольких десятков кораблей: торговых судов и галионов, оснащенных для ведения боя, в обязанность которых входила защита флота от вражеских кораблей — в то время главным образом английских, — а также от корсаров и пиратов, охотившихся за грузом благородного металла, шедшего из Америки.

Как правило, эскадра выходила в море два раза в год. В мае или в начале июня отчаливал флот из Новой Испании, который отправлялся в Вера Крус, единственный порт, через который поступали продукты в Мексику и в значительную часть Централь-

ной Америки. В сентябре наступала очередь флота под названием «Материк», который, после захода в порт Вест-индской Картахены (современной Колумбии), брал курс на Порто Белло на Панамском перешейке, где выгружал свой товар. Отсюда его везли на гужевом транспорте или на спинах мулов до Панама, на южный берег перешейка, куда за ним прибывали корабли, приплывавшие из Южного моря (то есть Тихого океана), которые затем возвращались в Каллао, порт Лимы. Путь через Магелланов пролив и вокруг мыса Горн был закрыт для судоходства, и то же самое «эксклюзивное» право торговли, которым пользовалась Севилья, действовало в американских владениях испанцев, где им обладали всего несколько портов (Вера Крус, Картахена и Порто Белло на побережье Атлантического океана, Каллао и Акапулько, обслуживавший Филиппины, на Тихоокеанском побережье) и при условии обязательного посредничества испанских флотилий.

Поскольку в испанских колониях промышленности практически не было (за исключением горнодобывающей отрасли и нескольких фабрик, производивших грубые ткани), они зависели от поставок из метрополии огромного количества товаров. Однако Испания могла обеспечить лишь небольшую часть того, что было необходимо Америке. Андалусия экспортировала туда свое растительное масло и вина, а также некоторую продукцию местного производства: мыло, *azulejos* (керамическую разноцветную плитку, центром производства которой была Триана) и отдельные виды шелковых тканей. Кастилия поставляла в основном сукно. Из рудников Альмадена, расположенных в горах Сьерра-Морена, на берега Гвадалквивира поставлялось большое количество ртути, применявшейся в рудниках Мексики для извлечения серебра методом амальгамирования. Но возрастание потребностей американских колоний во второй половине XVI века совпало с упадком испанской текстильной промышленности; к тому же Испания производила в недостаточном количестве многие товары: инструменты, скобяные изделия, га-

лантерею, предметы роскоши, для которых существовал огромный рынок сбыта в Новом Свете.

Таким образом, Испания была вынуждена пользоваться продукцией иностранного производства, и, поскольку она обладала исключительным правом торговли со своими колониями, именно в Севилье скапливались товары со всех концов Европы, которые должны были перевозиться на судах в Америку. Из Руана и Сен-Мало прибывали суда, которые везли сукно из Нормандии, полотно из Анжера и Лавалья; Италия экспортировала дорогие парчовые ткани и другие предметы роскоши; из Гамбурга и Любека на судах привозили дерево и пеньку, необходимые в строительстве и такелажном оснащении кораблей, а также сушеную треску и сельдь, предназначенные для продовольственного снабжения флота. Статистические данные за 1597 год дают представление об интенсивности мореходства: между 7 октября и 19 ноября 97 кораблей причалили к берегам Гвадалквивира, причем половина из них была из Гамбурга и ганзейских городов Балтики; другая половина приходилась на долю Франции, Шотландии, Скандинавии и Голландии¹. И речные перевозки в то время также не ограничивались прибытием и отплытием флотилий, сообщавшихся с Америкой; сотни парусных суденышек, которые каждый год поднимались и спускались по реке, проделывая двадцать лье, которые отделяли Севилью от выхода в открытое море, и с высоты Золотой Башни или городской стены можно было наблюдать сплошной лес парусов и мачт перед въездом в город.

Для складирования товаров, поступавших в Севилью по суше и по морю, столица Андалусии не располагала достаточным количеством складских помещений, поэтому самая разная продукция скапливалась прямо на берегах реки, особенно на Аренале (Песчаном берегу), который тянулся от крепостной стены, окружавшей город, до левого берега Гвадалквивира и выглядел как пестрая постоянно действующая ярмарка, оживленность которой изумляла всех, кто прибывал в Севилью:

Вся Испания, Италия и Франция
Обрелись здесь на Аренале,
Ибо нет лучше места
Для бойкой торговли и выгодных сделок².

Так писал Лопе де Вега в комедии, которая называлась «*Севильский Аренал*». Многочисленные литературные произведения воспевали этот «всемирный рынок».

Оживление на реке и ее берегах потому было столь заметным и постоянным, что флотилии, направлявшиеся в Вест-Индию, начинали снаряжать задолго до их отплытия — обычно для этого требовалось от трех до шести месяцев. Огромное количество маленьких парусных суденышек — тарган, баркасов, фелук — сновало среди больших кораблей, чтобы погрузить на них товары, предназначенные для американского рынка, а также провизию, необходимую для питания команды во время плавания, продолжительность которого невозможно было предугадать: сушеное мясо, соленую рыбу, сухари, растительное масло, вино; не следовало забывать и о боеприпасах для артиллерии галионов. По мере того как трюмы наполнялись, каждый капитан, с помощью торговцев или их доверенных лиц, составлял коносамент (*registro*) своего судна, который подвергался проверке со стороны Торговой палаты. Когда загрузка заканчивалась, служащие Палаты поднимались на борт, чтобы проверить соответствие «регистра» и реального груза, а уполномоченные инквизиции проверяли, не было ли на борту литературы, запрещенной Святой службой.

Наконец наступал день отплытия. Все население Севильи собиралось на берегу реки, чтобы увидеть, как надуются паруса и суда, которые вместе с грузом везли надежду на крупную прибыль от продаж, медленно тронутся и поплывут в открытое море. Теперь надо было ждать возвращения. Ожидание было долгим: обычно больше года проходило от того момента, когда флотилия отправлялась в открытое море, и счастливой минутой, когда она причаливала к берегам Испании. Ожидание было тревожным, поскольку

ку часто на борт корабля торговцы грузили целые состояния. Потеря одного из кораблей означала не только разорение самого собственника груза, но и его заимодавцев и поручителей. Что бывало в случае, когда вся эскадра становилась жертвой ненастья или пиратов? Вся Севилья страдала от последствий катастрофы³. Поэтому по мере того как приближалась дата предполагаемого возвращения, город охватывала лихорадка. Напряжение достигало своей высшей точки, когда на Гвадалквивире появлялся «вестник» (*aviso*) — быстрый парусник, который флотилия посылала вперед, чтобы возвестить о своем скором прибытии. Но между этой вестью и появлением флотилии у побережья могли пройти дни и даже недели. Какая тревога охватывала ожидающих! В церквях служили молебны, чтобы суда избежали грозящих им опасностей и благополучно прибыли в порт. Наконец доносились сигналы, свидетельствовавшие о прибытии флотилии, но на этом опасности для нее не заканчивались. Английские корсары иногда устраивали засады в непосредственной близости от берега: разве не они в 1596 году совершили грабительское нападение на порт Кадис? И даже когда уже казалось, что все в безопасности, надежды, вместе с кораблями, могли быть разбиты на самом входе в русло Гвадалквивира, где находился труднопреодолимый порог. Иногда всего умения лоцманов, специализировавшихся на проведении судов через этот порог, не хватало для того, чтобы избежать кораблекрушения, «и можно считать очень удачным год, — говорил один из членов магистрата Хереса, — если мы не потеряли на этом пороге трех-четырёх кораблей»⁴.

Можно себе представить, какую бурю радости вызывало прибытие флотилии к стенам Севильи. Благодарственные молебны и народное ликование дополнялись залпами, раздававшимися с галионов. Затем, после того как служащие Торговой палаты выполняли формальности по проверке содержимого трюмов, начиналась разгрузка кораблей. Толпы грузчиков, а также пикаро, которых привлекала сюда не только возможность заработать несколько реалов,

но и надежда стянуть что-нибудь по мелочи, нанимались, чтобы перетащить с кораблей до Аренала или до Таможни товары, привезенные из Америки: кожи и шкуры, кошениль, сахар, какао. Но больше всего все — и особенно королевские чиновники — желали знать, сколько золота и серебра привезено на галионах, ибо драгоценные металлы вверялись не торговым суднам, а военным кораблям. «Поразительная вещь, какой не увидишь ни в одном другом порту, — писал современник той эпохи, — наблюдать, как телеги, запряженные четырьмя быками, везут неслыханные богатства — слитки золота и серебра из Америки — вдоль Гвадалквивира в Королевское отделение Торговой палаты»⁵. Иногда казалось, что все сказочные сокровища Перу излились на город: «22 марта 1595 года к причалам реки в Севилье прибыли корабли с серебром из Америки; их начали разгружать и в Торговую палату было доставлено 332 телеги с серебром, золотом и самым ценным жемчугом. 8 апреля с флагмана сгрузили 103 телеги серебра и золота, а 23 мая по суше доставили 583 груза серебра, золота и жемчуга из Португалии. Эти сокровища были на судне, которое шторм занес к берегам Лиссабона. Впечатляющее зрелище: в течение шести дней грузы с этого корабля провозили через порт Трианы. В этом году можно было увидеть несметные сокровища, которые едва ли когда-либо кто-нибудь видел в Торговой палате, поскольку там скопились ценности, привезенные тремя флотилиями. Поскольку все они не помещались в хранилищах Палаты, многочисленные слитки и ящики, полные драгоценных металлов, стояли прямо в коридорах...»⁶ Этот случай, конечно, был исключительным, но и в обычные дни Таможня являла собой не менее впечатляющее зрелище «с неисчерпаемым, переливающим через край изобилием, непрерывно поступающим из Америки: серебро, золотые слитки, кошениль, древесина и другие товары, для которых этот город и это здание стали местом хранения»⁷.

Конечно же, эти несметные богатства не накапливались в Севилье. Те же самые корабли, которые при-

возили товары, предназначенные для Америки, увозили большую часть поступивших из нее грузов. Среди тех, кто с нетерпением ожидал возвращения флотилий, были многочисленные иностранные торговцы или торговцы иноземного происхождения. Генуэзцы, которые с конца Средних веков играли важную роль в морских перевозках Севильи, и в начале XVII века сохраняли свое привилегированное положение; многие из них, впрочем, были связаны узами брака с испанскими семьями, что обеспечивало им гражданство и позволяло им напрямую участвовать в торговле с американскими колониями. Хотя иностранцы, даже те из них, кто долгое время жил на территории Испании, не допускались к торговле с Новым Светом, различные уловки, с которыми фактически мирились испанские власти, позволяли обходить этот запрет. Крупные иностранные торговые дома действовали в Севилье через посредников — своих поверенных (коммерческих агентов), имевших испанское гражданство, которые от их лица покупали и перепродавали товары, полученные из Америки и других мест; другие иностранные торговцы, обосновавшись в самой Севилье, торговали благодаря «взятым напрокат» именам испанцев, с помощью которых они составляли все официальные документы (*registros*, квитанции и проч.). Это позволяло им грузить свой товар на корабли флотилий. Некоторые французы представлялись жителями Валлонии или Франш-Конте, то есть подданными короля Испании, что приравнивало их к испанцам.

Для всех торговцев, какой бы национальности они ни были, существовала одна серьезная проблема: вступить во владение серебром, вырученным от продажи их товаров в испанских колониях и привезенным галионами. Дело в том, что они не могли свободно распоряжаться им. Слитки драгоценных металлов в обязательном порядке поступали на королевский Монетный двор, где из них чеканились монеты, за что взимался налог, существенно снижавший реальную прибыль торговца. Еще хуже было то, что постоянные финансовые затруднения государства порой

вынуждали короля просто-напросто отбирать серебро, принадлежавшее частным владельцам, возмещая им ущерб либо монетами из биллона по очень низкому по отношению к реальной стоимости драгоценных металлов курсу, либо ценными бумагами (*juros*), увеличение числа которых повлекло за собой нарастающую инфляцию. Для иностранных торговцев проблема еще более осложнилась, когда власти запретили вывозить серебро из страны. В порту Севильи осуществлялся строгий контроль за тем, чтобы монеты, отчеканенные на королевском Монетном дворе, не попадали на корабли, отплывавшие в другие портовые города Европы. Именно поэтому иностранные коммерсанты или их представители старались, прибегая к всевозможным хитростям, уклониться от многочисленных проверок, осуществлявшихся королевскими чиновниками. Сговариваясь с испанскими капитанами, они тайно перегружали с корабля на корабль все принадлежавшее им серебро или хотя бы его часть. «Многие торговцы, — сообщает Брюнель, — вовсе не регистрируют (при отплытии из Америки, где формальности такие же, как в Севилье) ни золото, ни серебро, и таким образом незаконно лишают короля того дохода, который ему причитается. Несмотря на то, что это обходится им дороже, они предпочитают вступать в сговор с капитанами, нежели рисковать не получить ничего, кроме красивых слов. Прежде чем флотилия прибывает в Кадис, ее в этом порту или Сен-Лукаре уже поджидают голландские или английские суда; как только поступает известие о ее прибытии, они отправляются ей навстречу и прямо с борта на борт перегружают с кораблей подкупленных капитанов то, что было привезено для них, и переправляют полученное в Англию или Голландию или в какую-то другую страну, так что этот груз даже не доходит до портов Испании. Даже севильские торговцы отправляют на этих кораблях свое серебро в другие страны, где они могли бы свободно им владеть, не опасаясь, что его отнимут»⁸. Свидетельство Брюнеля относится к более позднему времени (1655), но уже веком раньше один

испанский доминиканец, Фрей Томас дель Меркадо, сокрушался по поводу того, что «несмотря на все распоряжения и строгость, с которой они выполнялись, иностранцы воруют у нашей страны золото и серебро и обогащают ими свои страны, прибегая для этой цели к многочисленным уловкам и обманам»⁹.

Тем не менее, даже если это серебро только проходило через Севилью, его движения, торгового оборота, который осуществлялся с его помощью, было достаточно, чтобы поддерживать коммерческую деятельность и высокий уровень жизни, который отличал город на Гвадалквивире от всех других городов королевства. Аренал, расположенный «за стенами» города на берегу реки, был, благодаря транспортировке товаров, весьма оживленным местом, но центром торговых сделок являлось самое сердце старого города. До конца XVI века все, кто участвовал в большой коммерции — торговцы, комиссионеры, судовладельцы, банкиры, — собирались на ступенях (*gradas*), по которым можно было попасть в «сад апельсиновых деревьев», оставшийся от бывшей мечети и примыкавший с северной стороны к кафедральному собору. Там говорили о золоте, серебре, процентах ссуды; там прикидывали, какой спрос на товары может быть на колониальном рынке; там же жадно ждали новостей из других важных для коммерции мест Европы, деятельность которых отражалась на торговле Севильи. Но ступени, «каждая из которых стоила больше, чем все золото мира», как сказал севильский поэт¹⁰, были слишком узки для теснившейся на них толпы, и «апельсиновый сад», в который входили через дверь, выполненную в мудехарском стиле, над которой возвышался барельеф, изображавший — точно в насмешку — Иисуса, изгоняющего торговцев из храма, переживал нашествие деловых людей, которые в плохую погоду укрывались в нефях собора, чтобы продолжить свои переговоры и пустую болтовню. Именно в ответ на протесты архиепископа и капитула было принято решение о строительстве Торговой биржи (*Lonja de mercaderes*), которая открылась для коммерции в

1598 году; чтобы не слишком менять привычки торговцев, она была построена поблизости от собора, с южной стороны, и ее даже окружили ступенями (*gradas*), которые, несмотря на наличие просторных залов в новом здании, продолжали оставаться излюбленным местом встреч для делового мира¹¹.

На соседних улицах теснились лавочки, изобиловавшие товарами, разнообразие которых напоминало обо всех странах, из которых суда поднимались по Гвадалквивиру. «Это чудо, — писал Моргадо, житель Севильи, в “Истории” города, опубликованной в 1587 году, — видеть богатства, в изобилии имеющиеся в лавках на улицах Севильи, где живут торговцы из Фландрии, Греции, Генуи, Франции, Италии, Англии и других северных регионов, а также из португальских колоний; а еще смотреть на огромные богатства, которые таит в себе Алькаисерия — золото, серебро, жемчуг, хрусталь, драгоценные камни, финифть, кораллы, парчу, дорогие ткани и все виды шелка и самого тонкого сукна. Эта Алькаисерия — городской квартал, наполненный лавочками и мастерскими серебряных дел мастеров, ювелиров, скульпторов, торговцев шелком и полотном, несметные сокровища которых находятся под защитой специального алькальда и достаточного количества охранников, которые сторожат все это по ночам и запирают двери на ключ»¹². Улица франков (или французов) специализировалась на продаже модных товаров, «здесь можно было найти хрусталь, украшения, румяна, духи и все, что только было придумано женщинами, чтобы себя украсить»; предметы домашнего обихода продавались на улицах Кастро и Сьерпес, где располагались мастерские, в которых работали ремесленники: столяры, плотники, кузнецы, мастера по оружию, вышивальщицы и проч.

...

О процветании города свидетельствовал и рост населения, которое удвоилось за вторую половину XVI века и достигло 150 тысяч жителей. Таким обра-

зом, Севилья вышла на первое место среди городов Испании, поскольку население Мадрида не превышало 100 тысяч. По своему составу население Севильи значительно отличалось от жителей столицы и других городов Кастилии. Мелкого дворянства — идалго, более богатого гордостью, нежели доходами, в Андалусии почти не было. Зато там можно было встретить очень знатные семьи, у которых зачастую имелись собственные дворцы в Севилье, но которые получали свой основной доход от огромных земельных владений, располагавшихся на обширной долине нижнего течения Гвадалквивира. Некоторые из них, обеднев вследствие уменьшения земельной ренты, пытались влиться в деловой мир и «из жадности или нужды в деньгах опускались если не до занятия торговлей, то по крайней мере до породнения с торговцами»¹³. Но характерным для Севильи классом была торговая буржуазия, открытая духу предпринимательства, которой оптовая заморская торговля давала широкие возможности для обогащения. Однако и она не была полностью свободна от предрассудка благородства, свойственного всей Испании и пробуждавшего во многих торговцах желание вскарабкаться по социальной лестнице, купив себе дворянский титул или же официальную должность, такую, как членство в муниципальном магистрате, уравнивавшее бывшего купца с дворянами.

Этим объяснялся и тот факт, что в Севилье не сформировался солидный и устойчивый класс богатой торговой буржуазии, сопоставимый с тем, который можно было встретить в крупных коммерческих центрах той эпохи, и то, что иностранцы смогли занять такое важное место в экономической жизни города. Наряду с генуэзскими семьями, отдельные из которых издавна обосновались в Испании, встречались фламандцы и португальцы — те и другие являлись подданными короля Испании; португальцы, которых подозревали в принадлежности к маранам, имели дурную репутацию. Французы также не пользовались большим уважением и до середины XVII века играли лишь второстепенную роль в большой

коммерции. Зато было много таких, кто, соблазнившись высокими ценами на ремесленные изделия и большими заработками, обосновывался в Испании в качестве ремесленников или лавочников, как, например, Пьер Папен, продавец игральные карт, о котором рассказывается в комедии Сервантеса «Блаженный прощелыга»:

Этот Пьер Папен, тот, что с картами,
Этот горбатый француз? Тот самый,
Который держит лавку на улице Сьерпес...

Среди этого пестрого населения была прослойка, которая особенно поражала иностранцев своей многочисленностью: рабы. «Торговля с колониями, — возмущался Брюнель, — восстановила в этой стране рабство; оно распространилось до такой степени, что в Андалусии почти всегда на месте лакея увидишь раба. Большинство из них мавры или даже негры. По закону христианства, принимающие эту веру должны обретать свободу, но в Испании это не так». На самом же деле рабство не переставало существовать со времен Средних веков, и всегда было так, что неверные могли оказаться на положении рабов. Но верно и то, что класс рабов в Андалусии был гораздо более многочисленным, чем в какой бы то ни было другой части Испании, так что кастильцам, оказавшимся в Севилье проездом, казалось, что рабы составляют половину населения города. «Население Севильи напоминает шахматную доску: сколько белых, столько и черных», — писал один из них¹⁴.

Явное преувеличение, но оно передает удивление, возникавшее при виде столь большого количества жителей с темной кожей в городе с белыми стенами. Их численность достигла максимума в начале XVII века: португальцы, воссоединенные с Испанией, имели монополию на торговлю рабами, за которыми отправлялись в Гвинею, Анголу или Мозамбик. Большинство из них использовалось в качестве рабочей силы в испанских колониях в Америке, но часть оставалась в Европе, и в Севилье, наряду с Лиссабоном, их было больше, чем в любом другом горо-

де. Оживленные торги проходили на «ступенях» вокруг кафедрального собора, и нельзя было найти обеспеченной семьи, в которой не было бы одного или нескольких рабов. Для некоторых семей их покупка представляла собой нечто вроде инвестиций: раба покупали, чтобы сдавать внаем или для того, чтобы он работал в качестве рабочего или ремесленника-одиночки (поскольку мастера, объединенные в цехи, отказывались их принимать). Когда в 1637 году потребность в гребцах на галерах вынудила Филиппа IV конфисковать рабов, принадлежавших частным лицам, власти Севильи заявили протест против подобной меры, ударившей по рабам-христианам, «в большинстве своем родившимся и воспитанным в наших королевствах и работавшим для того, чтобы прокормить своих хозяев, большинство которых — бедняки или вдовы, порядочные люди, исправно выполняющие свои обязанности, но не имеющие другого источника дохода, кроме как за счет рабов — вполне обычное явление в этом регионе»¹⁵. Этот протест показывает, что, вопреки общему принципу, многие рабы приняли крещение, что, впрочем, подтверждается и существованием религиозных братств, состоявших исключительно из людей с цветной кожей, например, Братство маленьких негров (*Cofradia de los Negritos*), название которого в Севилье сохранилось до наших дней.

...

Оригинальность Севильи заключалась не только в ее экономической активности и космополитизме населения. Существовал совершенно особый севильский менталитет, и это чувствовали все, кто, приехав из любой другой части Испании, жил в Севилье хотя бы некоторое время. Приток денег вызывал рост цен на все товары, которые здесь были дороже, чем где бы то ни было, и вид стольких богатств, выставлявшихся напоказ по возвращении каждой флотилии, породил «психологическое обесценивание» денег. «Серебряные деньги, — писал Матео Алеман, — как

когда-то медь, стали привычным атрибутом повседневной жизни, и их тратят легко, не задумываясь». Такое умонастроение поддерживалось особым характером торговли с испанскими колониями, которая всегда была, по большому счету, «весьма рискованной коммерцией» и могла привести как к полному разорению, так и к быстрому обогащению: груз, прибывавший на американские земли после долгих перерывов, связанных с войнами, приносил порой сказочные прибыли, доходившие до 100% стоимости товаров; но продажа в убыток или потеря части флотилии могли означать крах и разорение для торговцев, вложивших в дело свой капитал, равно как и для всех, кто участвовал в этой операции. Отсюда и желание пользоваться благами, которые обеспечивало богатство, и вместе с тем некоторое пренебрежение к деньгам, добывавшимся не для накопительства, а чтобы их тратить.

Так что вся общественная жизнь Севильи отличалась некоторой беззаботностью, сочетавшейся с тягой к показной роскоши. Новый стиль домов, которые строили себе представители обогатившейся буржуазии, отражал ориентацию на более шикарный и более открытый образ жизни. «Горожане теперь строят свои дома, обращая больше внимания на их внешний вид, — заметил в 1587 году Алонсо Моргадо в своей *“Истории Севильи”*, — а когда-то, во времена мавров, больше заботились об их внутреннем убранстве, не думая о внешнем их облике. Но сегодня хозяин думает о том, как сделать дом более красивым, с большим количеством окон, выходящих на улицу, которые будет украшать присутствие многочисленных благородных и знатных женщин, выглядывающих из них»¹⁶.

Роскошь в одежде свидетельствовала о тех же тенденциях. «Жители, — продолжает Моргадо, — обычно носят одежду из тонкого сукна или шелка, с галунами из атласа или велюра. Женщины используют для украшения одежды шелк, кисею, вышивку, ткани, отделанные мольтоном и золотом, самые тончайшие материи; скромницы носят одежду из полотна всех

цветов. Маленькие шляпки как нельзя более им к лицу, так же как и шапочки с крахмальными кружевами... Они славятся тем, что ходят очень прямо, маленькими шагами, что придает их походке благородство, известное во всем королевстве, особенно из-за изящества, с которым они умеют заставить себя ценить, скрывая лицо под вуалью *и выглядывая из-под нее лишь одним глазком...*» Столь лестное описание жительниц Севильи, приводимое Моргадо, можно было бы отнести на счет его гордости за родной город, если бы многочисленные литературные примеры не подтверждали молву об их элегантности, и особенно об их непосредственности, о которых было известно всей Испании. Лопе де Вега замечает: «Севилья создана для них — вот что говорят о красоте ее женщин и об их дерзких ротиках, в которых сверкают такие милые белые зубки»¹⁷.

Стремление жителей Севильи выставлять напоказ свое богатство удовлетворялось на глазах у всех во время больших праздников. Это происходило не только во время празднеств, устраивавшихся по случаю счастливого прибытия галионов, но и, даже еще в большей мере, в ходе религиозных церемоний, которые проходили в Севилье с невиданным блеском. «Службы во время Святой недели здесь отличаются такой пышностью, что оставляют далеко позади себя богослужение в Риме — главе мира и церковном центре»¹⁸. Религиозные братства, число которых в этом городе было больше, чем в любом другом, — свое у каждого квартала, у каждого цеха ремесленников, — украшали дорогим убранством, золотом и драгоценностями, статуи своей Девы Марии или своего святого покровителя, а великолепные процессии, традиции которых современная Севилья соблюдает и по сей день, двигались по узким извилистым улицам среди иллюминированных, украшенных коврами домов.

Наконец, богатство и набожность севильтцев сливались в меценатстве, которым пользовались мастерские художников и скульпторов, расположенные в городе, получая многочисленные заказы от богатых

представителей буржуазии, от религиозных братств и монастырей, а также от кафедральных церквей, имевших огромные доходы. Именно в атмосфере Севильи формировался гений Веласкеса, там расцвел талант Мурильо, а Сурбаран в сутолоке большого города написал множество великих картин, напоминавших о покое и аскетизме монастырской жизни.

Однако этот великолепный антураж имеет и свою обратную сторону. «Я не знаю, является ли причиной климат этой земли, — писала святая Тереза, — но я слышала разговоры о том, что демоны здесь больше, чем в других местах, искушают людей...», а прожив в этом городе год, чтобы основать там реформированный монастырь кармелиток, она добавила: «Творимые здесь несправедливые дела служат отличительным признаком города, равно как отсутствие правды и двуличность его обитателей. Я могу сказать, что Севилья имеет ту репутацию, которую заслужила».

Южный климат и голубое небо, вероятно, играли свою роль в особой атмосфере города, в беззаботном характере его жителей и в их жажде наслаждений. Но были и другие, более определенные причины: поток богатств, непрерывно текший по Гвадалквивиру и улицам города, и реальная возможность сколотить себе в короткий срок огромное состояние имели своим следствием то, что даже не принимавшие активного участия в коммерческой деятельности города пытались, по крайней мере, подбирать крохи или же воспользоваться каким-либо иным способом теми преимуществами, которые давала Севилья.

Пример можно найти на самом верху, поскольку некоторые представители городских властей становились сообщниками спекулянтов, а порой и просто воров. Спекуляция продуктами питания способствовала поддержанию очень высоких цен, даже в урожайные годы, вопреки официальным расценкам, установленным муниципальным советом (*Cabildo*). В действительности же этот совет мало заботился о том, чтобы соблюдались фиксированные расценки, потому что некоторые его члены были замешаны в

операциях спекулянтов (*regatones*), «которые, пользуясь защитой властей и влиятельных людей, избегали наказания, и все это в ущерб беднякам, поскольку, прежде чем продукты попадали к своим потребителям, они проходили через руки трех-четырёх спекулянтов, которые, будучи уверены в благосклонности своих покровителей, которым они делали дорогие подарки, совершенно не считались с официально установленными тарифами». К этим жалобам, представленным в 1621 году королю Филиппу IV «присяжными» (представителями, избравшимися народом), прибавились и другие — относительно упущений двадцати четырех (муниципальных советников), которые, «будучи обязанными печься о благе города и о надлежащем управлении им, позволяли себе руководствоваться своими частными интересами и забывали об общественном благе. Поэтому этот город находится в плачевном состоянии, как по причине дороговизны продуктов, так и из-за невозможности пройти по улицам, которые настолько запущены и полны нечистот, что реальна опасность возникновения страшных эпидемий»¹⁹.

Эта грязь на улицах, контрастировавшая с той красотой, которую придавали городу новые постройки, как общественные, так и частные, упоминается во многих документах. «Постыдно, — говорится в тексте 1598 года, — видеть столь запущенный город с грудями экскрементов и грязи на всех площадях и улицах, превратившихся в нечто совершенно отвратительное». Чтобы хоть как-то бороться с этим злом, прибегали к весьма оригинальному средству — которое, впрочем, применялось и в других городах Испании, и даже в самом Мадриде: рисовали или устанавливали кресты на стенах или в закоулках, которые хотели сохранить от грязи. Против этого возражал синод, собравшийся в Вальядолиде в 1607 году, ссылаясь на то, что таким способом не только не будет достигнут искомый результат, но и появится возможность для выражения самой возмутительной непочтительности, поскольку все будут продолжать делать то же самое, как если бы и не было крестов²⁰.

Еще более серьезными были последствия неисполнения властями своих обязанностей или вступления их в преступный сговор, когда речь шла об органах правосудия и полиции. И это касалось не только простых судебных исполнителей, которые порой становились сообщниками злоумышленников, которых должны были преследовать. Преступники покупали, если только имели на это деньги, еще более эффективную протекцию у властей высокого ранга. «Здесь наказывают только тех, кто небогат, — говорил Поррас де ла Камара, один из каноников кафедрального собора, — и ссылают на галеры только тех, у кого нет руки в верхах; приговоренные к смерти — сплошь бедняки, которым нечем заплатить судейским секретарям, прокурорам и судьям. За последние шесть лет в Севилье не казнили ни одного вора...»

Понятно, что в подобных условиях *picaros* (прощелыги) всех мастей — от нищего и уличного разносчика (*esportillero*), который устраивается, чтобы «подработать» на товарах, разгруженных на Аренале, до опасного убийцы и сутенера, который в воровском мире занимает привилегированное положение, — чувствуют себя в Севилье как рыба в воде и что город был наводнен авантюристами разного толка, среди которых встречалось много иностранцев, привлеченных славой этого европейского эльдорадо.

Среди излюбленных воровских мест некоторые пользовались настоящей славой: например, двор Орм (*corral de los olmos*) и двор Оранже (*corral de los naranjos*), расположенные по обеим сторонам главного собора, но в пределах огражденного цепями пространства, на которое распространялась церковная власть. Представители правосудия не могли туда проникнуть, поэтому и тот и другой двор (особенно двор Орм, где находилось множество таверн) служили убежищем для злоумышленников: там играли в азартные игры, дрались, а девицы легкого поведения приходили сюда составить компанию «затворникам».

Не менее знамениты были севильские скотобойни. «Что я могу тебе сказать, — заявляет одна из двух собак, разговор которых представлен Сервантесом в *“Беседе собак”*, — об увиденном мною на этих скотобойнях и о тех невероятных вещах, что там творятся? Представь себе, что все работающие там, от мала до велика, не имеют ни стыда ни совести, бездушны и не боятся ни правосудия, ни короля... Это хищные стервятники. Они живут сами и дают жить своим друзьям тем, что сумеют украсть. Все они похваляются своей удалью, хотя преуспели, кто меньше, кто больше, лишь в распутстве».

Нельзя обойти вниманием и тюрьму, которая занимала такое место — и в материальном, и в моральном смысле — в жизни города, что его историк Моргадо упоминает о ней как об одном из самых замечательных памятников: «В начале улицы Сьерпес можно видеть королевскую тюрьму, которая выделяется среди других зданий и легко узнаваема даже людьми, совершенно не знакомыми с городом, — как по огромному потоку людей, которые без конца входят и выходят через главный вход в любое время дня, так и по надписям, которые красуются на входной двери с королевским гербом и гербом Севильи». Все, кто там находился, не обязательно были бандитами — Сервантес попадал туда дважды — в 1599 и 1602 годах; конечно, они составляли большую часть заключенных, число которых в начале XVII века достигло почти двух тысяч, что дает основания предположить, что вопреки свидетельствам противоположного толка, которые мы уже приводили, полиция не совсем продалась преступникам. Один из современников той эпохи, прокурор Кристоф де Шав, оставил *«Донесение о том, что происходит в тюрьме Севильи»* — весьма любопытный рассказ о жизни этого заведения; в частности, здесь описана церемония посвящения, обязательная для новых заключенных: «старички» подвергали новеньких пыткам с целью разоблачения «музыкантов», то есть тех, кто мог «запеть» на дыбе и выдать своих сообщников. Такие считались изгоями тюрьмы, тогда как прошедшие испытание

«молодцы» принимались в тюремное сообщество под звуки гитары и барабанов. Как и Моргадо, прокурор сообщает о бесконечном потоке людей, входящих в тюрьму и выходящих из нее. Двери тюрьмы не закрывались до десяти часов вечера, «так что днем и ночью этот поток напоминал вереницу муравьев, пополняющих запасы своего муравейника».

• • •

Этот город контрастов, где бок о бок сосуществовали роскошь и нищета, набожность и преступление, находился в самом центре интересов всех испанцев, поскольку самые важные общественные и частные дела осуществлялись при поддержке денег, поступавших из Кастильских Индий — американских колоний Испании. Не только на берегах Гвадалквивира с тревогой ожидали возвращения флотилий, груженных драгоценными металлами. Не меньше беспокоились и в Мадриде, где двор и город с нетерпением ждали курьеров из Андалусии и приходивших с ними новостей. «Мы ждем с минуты на минуту, да поможет нам Бог, прибытия галионов, — писал король Филипп IV сестре Марии де Агреда, своей поверенной и советнице, — и вы понимаете всю важность этого прибытия для нас. *Я надеюсь, что Бог милосерден и поможет галионам благополучно доплыть до наших берегов; и все же, я полагаю, должен вас просить помочь мне вашими молитвами снискать эту милость Божью*». После благополучного прибытия флотилии один из представителей мадридской буржуазии записал в своем дневнике: «Как все ждали этого момента, поскольку работодатели отказывались без этих гарантий вступать в какие бы то ни было сделки... Галионы доставили пять миллионов дукатов для короля, сумма почти сравнимая с той, которая предназначена частным лицам... Поскольку мы верим, что король ничего не отберет у частных торговцев, *мы снова начнем дышать*»²¹.

ЖИЗНЬ ГОРОДСКАЯ И СЕЛЬСКАЯ

1. Упадок городов и его причины. — Хозяйственная деятельность. Ремесленные цехи и братства. Буржуазия. — Городской пейзаж. Город и деревня

2. Сеньориальный уклад и повинности. Налоги и чинши. — Сельское хозяйство. Общины и отгонное скотоводство. — Условия жизни крестьян: деревня; праздники и развлечения. Образ крестьянина в театре золотого века

1

В 1618 году университет города Толедо обратился к королю Филиппу IV с жалобой, в коей предстала самая мрачная картина упадка старинного имперского города и других кастильских городов, еще недавно процветавших благодаря текстильному производству. «Две трети живущих здесь людей, — говорилось в ней, — больше не имеют никакой работы, и, лишённые занятия, они постепенно забывают все, что умели, а ведь Испания славилась своими ремесленниками... Когда-то торговля и производство были в Испании первыми в мире, поскольку выпускалась не

только та продукция, в которой нуждалась наша страна, но и вся Европа и колонии Америки обеспечивались испанскими товарами. Сегодня, — продолжали авторы жалобы, — иностранцы сбывают товары, прежде всего ткани, в Испании, получая за них звонкую монету. Если бы все те товары, которые они привозят, производились в нашем королевстве, как это было когда-то, королевская казна пополнилась бы огромными доходами... Следует признать, что в настоящее время среди населения, вдвое сократившегося по сравнению с тем, что было когда-то, удвоилось количество монахов, священнослужителей и студентов, поскольку эти люди не находят для себя других средств к существованию»¹.

Хотя в этих сетованиях была изрядная доля преувеличения, а упадок в процветающей стране не происходит «за несколько лет» — как утверждали далее представители университета — сомневаться в таком положении дел не приходится, поскольку в 1573 году кортесы Кастилии уже объявили иностранную конкуренцию причиной разорения мануфактур и обеднения населения. Однако не следует приписывать подобные настроения только ностальгии по «старым добрым временам». Представители городов в кортесах, многие экономисты и составители проектов (*arbitristas*) предлагали свои рецепты лечения разъедавшей королевство болезни — упадка производства и жившего за его счет городов.

Однако не все города были в равной мере поражены этим упадком: как раз около 1620 года Мадрид переживал свой быстрый демографический рост, а коммерческая активность Севильи достигла своего апогея. Но две испанские столицы — одна политическая, другая экономическая — жили, как мы видели, совершенно особой жизнью, и их рост происходил частично в ущерб другим городам королевства. Барселона, которая была очень активной еще в конце XVI века, затем пережила период стагнации; в столице Каталонии, так же как в Сарагосе и Валенсии, иностранцы, особенно французы, играли все более важную роль в розничной торговле и ремесле.

Но бесспорно, что больше всех страдала Кастилия, издавна являвшаяся центром производства и переработки шерсти. Демографические данные, которые можно установить для той эпохи, пусть даже не слишком точные в деталях, не дают оснований сомневаться в серьезном упадке городов, которые когда-то — и даже в недавние времена — играли важнейшую роль в экономической жизни страны: между 1594 и 1646 годами Толедо потерял половину своего населения, а около 1650 года там осталось всего около пятнадцати текстильных мастерских из нескольких сотен, которыми город располагал в период расцвета. Сеговия была лишь тенью того, чем когда-то являлась. В Бургосе, где концентрировалась непереработанная шерсть, предназначавшаяся на экспорт, из 2600 домов (около 13 тысяч жителей) осталось всего 600. Мединадель-Кампо — крупный ярмарочный центр и любимое место менял в начале правления Филиппа II — был razoren общим упадком испанской экономики. Из трех тысяч домов, которые были в этом городе в 1570 году, к 1646 году осталось лишь 650 — он превратился в городишко полуаграрного типа, обитатели которого жили в основном за счет земельных доходов и виноградарства, которое развивалось в окрестностях².

Конкуренция иностранной продукции, против которой так яростно выступали жители Толедо, вероятно, была одной из причин этого упадка, но она не могла найти более благоприятной среды, чем экономические и психологические условия Испании: изобилие серебра, поступающего из Америки, позволяло многократно увеличивать закупки за границей; растущая сила предрассудка «чистоты крови» и пристрастие к благородству порождали презрение к любому труду и вели к тому, что в Испании почти перестали заниматься «механическими профессиями». Дух предпринимательства, вдохновлявший часть испанской буржуазии и побуждавший ее к активному участию в великой экспансии предыдущего столетия, уступил место осмотрительности и пассивнос-

ти. Буржуазия вкладывала свои капиталы уже не в крупномасштабные торговые операции и производство, тесно взаимосвязанные друг с другом и служившие источниками как больших прибылей, так и разорения, а в ценные государственные бумаги (*juros*) и в земельную ренту (*censos*).

В связи с упадком традиционного городского производства и отсутствием заинтересованной, активной и предприимчивой буржуазии основа экономической деятельности переместилась в область ремесла и розничной торговли, ориентированных на узкий местный рынок. И можно лишь удивляться тому, сколь велика была доля ремесленников и лавочников в общей численности населения, о чем мы можем судить по свидетельствам современников³. Но эта доля, так же как и многократное увеличение количества ремесленных цехов (*gremios*) за период со времени правления Карла V и до середины XVII века, свидетельствуют вовсе не о росте городской экономики, а скорее наоборот — о застое. Действительно, увеличение числа профессиональных объединений говорило не о создании новых предприятий, а об исчезновении «свободных ремесел», теперь включавшихся в рамки корпораций со всеми ограничениями, которые из этого следовали, и о разделении на различные цехи — часто соперничавшие между собой — людей, занимавшихся очень близкой профессиональной деятельностью: ювелиров и золотых дел мастеров, позолотчиков и златокузнецов, портных, шивших камзолы (*jubiteros*) и штаны (*calceteros*). Эти изменения сопровождалась разработкой цеховых уставов, в которых сфера каждой «профессии» ограничивалась все более узкими рамками (эта необходимость становилась все более насущной в связи с тем, что многие профессии были близки друг другу), для каждой из них определялись условия работы и регламентировалось производство. Одной из главных целей

принятия уставов было ограничение последствий конкуренции посредством распределения сырья между мастерами и установления точного числа учеников и подмастерьев у каждого из них. Все это вело к тому, что никто не мог выделиться среди других — характерное проявление умонастроения, более озабоченного поддержанием стабильности на среднем уровне, нежели поиском новых сфер предпринимательства.

Консерватизм цехов в экономической области, по крайней мере, компенсировался их социальной функцией, которую они выполняли посредством братств (*confradias* или *hermandades*), обычно включавших в себя мастеров, подмастерьев и учеников, занимавшихся одной профессией. Братство заботилось не только о том, чтобы прославлять своего святого покровителя, поддерживая в надлежащем порядке его храм; оно также выполняло роль общества взаимопомощи, обеспечивая своим собратьям в случае болезни или инвалидности всестороннюю поддержку и выделяя пособие по временной нетрудоспособности, размер которого в деталях оговаривался цеховым уставом. «Мы постановляем, — гласят правила братства Святого Иосифа в Мадриде (оно объединяло рабочих-плотников и их хозяев), — что в случае, если у одного из наших собратьев три или четыре дня держится жар, мы оказываем ему помощь в 50 реалов; если он не идет на поправку и по-прежнему не может работать, то ему полагается еще одна выплата через тридцать дней; но если болезнь продолжится, то он больше не может ни на что претендовать... Если он умрет, его наследники смогут получить все, что ему причиталось на выздоровление из расчета десяти реалов в день, за вычетом того, что он уже получил во время болезни»⁴. Естественно, все собратья должны были присутствовать на отпевании, и уставы зачастую предусматривали даже количество свечей, которые должны были гореть в церкви, и сколько полагалось отслужить за счет братства мессы за упокой души усопшего.

Несмотря на присущий им дух партикуляризма,

больше сдерживавший, нежели оживлявший хозяйственную жизнь, ремесленные корпорации и дублировавшие их братства были самым активным элементом городской жизни. Они принимали участие во всех коллективных мероприятиях, шла ли речь о религиозном празднике или о светском увеселении. Можно даже сказать, что они были подлинными представителями местного населения с тех пор, как исчезли «демократические» институты, на которых зиждилось управление средневековыми городами, и практически повсюду муниципальная власть перешла в руки тех, кто в документах того времени характеризуется словом *poderosos* — «могущественные люди».

Ими являлись в основном представители местной аристократии, жившие на доходы с земель, которыми они владели в окрестностях города, а также богатой буржуазии. Кто-то из них оставался верен своей профессии, признававшейся достаточно «благородной» — например, ювелир или золотых дел мастер, иногда торговец шелком или пряностями, — но большинство тех, кто разбогател, старались забыть о своем происхождении, чтобы слиться с дворянством, либо законно — купив себе соответствующие привилегии, либо явочным порядком — изменив свой образ жизни. Состав населения Бургоса, нашедший отражение в статистических данных, собранных в 1591 году по случаю взимания налога *millions*, служит для нас важным свидетельством о последствиях изменений в экономике и социальной жизни, о которых мы говорили выше: из 3319 *vecinos* (то есть глав семейств, отдельные из которых представляли нескольких человек, а некоторые — особенно церковнослужители — только самих себя), живших в городе, 1722 заявили о себе как идалго, 728 назвались монахами, 295 — священниками, жившими среди мирян; остальные 572, обязанные платить налоги (*pecheros*), представляли собой активную и продуктивную часть населения, на долю которой приходилось 17% от общей его численности⁵.

Невысокий уровень активности горожан и резкий контраст между социальными условиями отдельных их групп выражались в самом облике городов, живших как бы замедленной жизнью в рамках, порой слишком широких для них, доставшихся им в наследство от предыдущего века. Эпоха Ренессанса, совпавшая по времени с притоком драгоценных металлов из американских колоний, практически везде была отмечена строительной лихорадкой. К величественным храмам, унаследованным от Средних веков, добавились новые церкви, больницы, гостиницы (*ayuntamientos*), роскошные дома дворян и представителей буржуазии — в большинстве крупных городов строили очень много. На севере и в центре Испании главная площадь прямоугольной формы, окруженная домами с крытыми галереями, на одной из сторон которой обязательно помещалось здание муниципалитета, являлась центром городской жизни. На улицах, которые вели к этой площади, также часто можно было встретить дома с крытыми галереями и аркадами. Там располагались мастерские и лавочки, обычно группировавшиеся в соответствии с их специализацией, которая отражалась в их названиях: *Plateria* (улица ювелиров), *Sederia* (улица шелка), *Lenceria* (улица белья) и т. д. В Андалусии и в Леванте, где крытые галереи были не так распространены, существовал обычай в летние знойные дни натягивать между домами над самыми оживленными улицами большие тенты (*toldos*), которые защищали прохожих от палящего солнца.

Вокруг этого городского ядра, образованного наиболее значительными зданиями, простирался город с домами простых людей, где жила большая часть населения: домики были невысокие, почти все одноэтажные, из самана или кирпича, поскольку камень был слишком большой роскошью и предназначался для домов богачей — и даже для их постройки иногда использовался только в фасадной стене. Среди этих лачуг пробивались улочки, чаще всего представлявшие собой просто утоптаные тропинки. Ле-

том они были пыльными, а дожди порой превращали их в непроходимую топь, по которой пробирались люди и животные и в которой вязли телеги. Можно сказать, что здесь смешивались город и деревня: не только потому, что сады и даже поля, большей частью принадлежавшие церковным приходам, занимали здесь большие пространства, но и потому, что многие из тех, кто жил в этих жалких лачугах, были обычными сельскими поденщиками, жизнь которых проходила в изнурительном труде во владениях, расположенных поблизости от города. Горожане по месту жительства, в действительности по своему образу жизни они принадлежали к сельскому миру.

2

Путешественнику, который, покинув оголенные плоскогорья Кастилии или каменистые горы Арагона, с удивлением обнаруживал оливковые сады Андалусии или орошаемые земли Валенсии, казалось, что такая гостеприимная природа обеспечивала и более легкую и счастливую жизнь обитателям здешних мест. Совершенно другое впечатление возникает после знакомства со свидетельствами современников: повсюду, и даже на этих благодатных землях, жизнь крестьян была тяжелой, порой нищенской. Официальные документы (королевские указы и жалобы кортесов), в которых с сожалением говорилось о «нищете и бедствиях» деревень, комментировались в целом ряде произведений, в которых выявлялись и анализировались причины зла и даже предлагались способы решения проблемы⁶.

В то время как во Франции практически повсюду происходила медленная эволюция средневекового «держания» в частную собственность, в Испании было довольно мало крестьян-собственников — возможно, пятая часть всего крестьянства. Их можно было встретить главным образом на плодородных землях севера (в Астурии, Галисии), но участки земли, которые они возделывали, зачастую были столь

малы, что их едва хватало на то, чтобы хоть как-то прокормить семью. В Кастилии крестьянская собственность, весьма значительная в Средние века, постепенно исчезала под экономическим и социальным давлением «сильных мира сего» и большей частью была включена в состав крупных церковных или светских владений, обрабатывавшихся фермерами или арендаторами на условиях, которые зачастую были очень тяжелыми. В Андалусии обширные имения, принадлежавшие нескольким крупным аристократическим семьям, возделывались «поденщиками» (наемными сельскохозяйственными рабочими), жившими в больших или малых городах, которых нанимали на время сельскохозяйственных работ управляющие имениями; эти рабочие приезжали на несколько недель на поля, чтобы после окончания работ вернуться в город с небольшим заработком в кармане.

Каковы бы ни были юридические связи между крестьянином и землей, которую он обрабатывал, именно крестьянство испытывало на себе всю тяжесть политической и социальной системы. Более половины всех испанских земель составляли «*tierras de señorío*» (сеньориальные владения), которые противопоставлялись «*tierras de realengo*», на которых действовала прямая юрисдикция короля. Кастильская поговорка: «На земле сеньора даже птица не вьет гнездо» — свидетельствует о том, что жизнь крестьянина на господской земле была более тяжелой. В действительности же границы власти сеньора и строгость, с которой соблюдались все его распоряжения, сильно различались по регионам.

Нигде сеньориальные права не были столь широкими и обременительными для зависимых людей, как в Арагоне, где еще в XVII веке юристы признавали положение о том, что для господской власти «нет никаких препятствий, и она неограниченна в том, что касается жизни вассала (то есть зависимого человека), если только господин не оскверняет его труп и не препятствует его похоронам». Вероятно, на деле была большой редкостью реализация права

жизни и смерти, но церемония получения владения от сеньора Лейвы, в том виде, как она описана в документе середины века, весьма символично показывает, что существовал принцип абсолютной власти над людьми и имуществом: «В знак истинного обладания он прогуливался по площади и улицам, вырывая травку, открывая и закрывая амбары, а также заходил на пастбища и прогуливался там, вырывая траву и маленькие кустарники, демонстрируя своими действиями свою полную — телесную, реальную власть. А в знак обладания судебной властью он распорядился установить на главной площади упомянутого места деревянную виселицу и, когда она была установлена, велел повесить на ней латную рукавицу». Затем ему приносили оммаж (присягу) представители *con-sejo* — выборного совета сельской общины: «Сеньор селся на скамейку, и все, от алькальда до самого низшего советника, подходили, чтобы принести ему присягу на верность, встав на колени перед упомянутым знатным сеньором, и клялись, вложив свои руки в его ладони, платить ему подати и обычные налоги, дабы и впредь пользоваться правами и обычаями, которыми пользовались до сих пор»⁷.

Даже когда сеньор не обладал подлинно суверенными правами на земли, крестьянин все равно должен был нести все хозяйственные повинности, связанные с домениальной и сеньориальной зависимостью, а также платить оброк, и зачастую довольно большой: в самом общем случае он представлял собой (как десятина, которую крестьяне платили церкви) долю продукции, пропорциональную количеству земли, которую обрабатывал крестьянин; иногда этот оброк заменялся уплатой ежегодной денежной ренты и натуральным оброком — поставкой определенного количества зерна, дров, вина и масла, скота и домашней птицы, порядок выплаты которого детально определялся древними местными обычаями. В Галисии, где условия жизни крестьян определялись сеньориальной зависимостью от монастырей (*abadengos*) и были очень суровыми, существовало также право «мертвой руки» (*luctu-*

osa), которое позволяло аббату в случае смерти одного из держателей забрать себе самое лучшее животное из его стада, а если скота у крестьянина не было, то сундук, стол или любой другой предмет мебели на четырех ногах...⁸

К повинностям, которые должен был нести крестьянин в пользу своего сеньора, добавлялись королевские налоги, бремя которых усилилось, особенно в Кастильском королевстве, за период с середины XVI века и до конца правления Филиппа IV. Постоянно множилось число так называемых «служб», то есть чрезвычайных налогов, и хотя эти налоги, в частности *millions* (налоги с продаж, которые добавлялись к *alcabala*), затрагивали в принципе все слои общества, кроме духовенства, особенно тяжелым бременем они ложились на крестьян, поскольку, как утверждал современник, «прелаты, гранды и дворяне, забирающие себе практически все зерно, которое сеют и выращивают земледельцы, не платят ничего; прелаты в силу своего подчинения непосредственно Святому престолу, другие сеньоры потому, что среди них нет ни одного, кто не изыскал бы способа освободиться от уплаты, так что все тяготы налогового бремени ложатся на плечи работников, которые не могут его избежать и обязаны платить с каждого зернышка, которое продают»⁹.

Могли ли эти несчастные не заплатить налог королю? Сборщики налогов безжалостно выколачивали из них причитающееся:

«Они приходят в деревни, сообщают местным властям о своей миссии, и те умоляют их иметь хоть малость сострадания к людям, находящимся в великой нужде... Они отвечают, что не в их власти распределять льготы и милости, что у них есть строгий приказ собрать полностью сумму денег, которую положено собрать с деревни; к тому же, говорят они, им необходимо собрать деньги себе на жалованье. И вот они уже входят в дома бедных крестьян и, прибегнув к убедительным «доводам», отбирают у них те небольшие деньги, которые имеются; у тех же, у кого нет денег, они забирают мебель, а если не находят и ее, то

забирают их убогие вещи, а все оставшееся время тратят на то, чтобы продать собранное. Потом они подсчитывают собранное деньгами и барыш от продажи, и часто оказывается, что им даже не хватает на жалованье; впрочем, едва ли королю когда-то доставалось хоть несколько мараведи... Такого рода грабежи, непрерывно продолжаясь, вынуждают жителей большинства деревень убежать из собственных домов, оставляя свои земли на произвол судьбы, а сборщики налогов не имеют никакой жалости к этим несчастным, как будто находятся во вражеской стране. Покинутые дома они продают, если находится покупатель; если же продать они не могут, то снимают крышу и продают черепицу и бревна, чтобы выручить хоть сколько-нибудь денег. При этом уцелеть может в лучшем случае треть домов, и великое множество людей обрекается на голодную смерть»¹⁰.

Скорее всего, столь резкая критика была продиктована глубоким возмущением автора, и его слова не надо понимать буквально. Но очевидно, что непосильное бремя налогов вело к сокращению численности населения в некоторых областях, и богатые земли Гранады, плодородие которых всегда восхищало путешественников, не избежали участи, общей для всех провинций, подчинявшихся власти Кастильского королевства, как указал на заседании кортесов в 1621 году один городской депутат: «Множество деревень опустели и исчезли с лица земли; церкви разрушены, дома развалились, наследие утрачено, земли заброшены, жители деревень бродят с женами и детьми по дорогам в поисках спасения, питаются травой и корнями, чтобы выжить. Некоторые уходят в другие провинции или королевства, где не платят *millions*»¹¹.

Там, где существовала крестьянская собственность, она часто облагалась земельной рентой (*censo*) в пользу горожан, проживавших в соседних городах. Договор аренды составлялся таким образом, что крестьянин получал некоторую сумму денег в обмен на ежегодную выплату ренты с земли, стоимость которой была равна вложенному капиталу и кото-

рая служила залоговой гарантией. Такой договор мог помочь крестьянину использовать капитал, в котором он нуждался для улучшения технического обеспечения обработки земли, одновременно позволяя горожанам обогатиться за счет получения процентов и надежного вложения капитала. Если вследствие неурожая или по какой-либо другой причине крестьянин не мог заплатить предусмотренный годовой взнос, заимодавец имел право отобрать землю. Напрасно теологи выступали против такого порядка. «Поскольку человек видит, — говорил один из них, — что, дав в долг две тысячи дукатов, он получает каждый год две сотни и через шесть-семь лет две тысячи окупают ему все с лихвой, он находит в этом способ выгодной наживы». Поэтому размер арендной платы (*al quitar*) резко вырос в конце XVI и XVII веке, и даже если это не всегда вело к обезземливанию крестьян, в любом случае способствовало значительному увеличению угнетавшего их бремени.

• • •

Для несения такого количества повинностей крестьяне обладали ограниченными средствами, которые им давала земля — часто бесплодная и плохо поддающаяся обработке. Исключая плантации (*buertas*) Леванта и некоторые области Андалусии, где росли оливковые деревья и виноград, злаковые культуры доминировали почти повсюду, однако их урожайность была невысокой (5 к 1 в среднем, иногда 3 к 1) из-за сухого климата и низкого технического уровня сельского хозяйства. Плуг не использовался, и основным орудием обработки земли была соха: впрочем, она была лучше приспособлена для работы на земле, где гумус составлял лишь тонкий верхний слой, а то и вообще отсутствовал. Кроме провинций севера, где запрягали быков, в качестве тягловой силы обычно использовались ослы и мулы, и иногда можно было видеть, как бедный крестьянин, имевший только одно животное, сам запрягался вместе с ним, чтобы помочь ему тащить соху.

Площади земель под паром были весьма значительны. Здесь не практиковались, — как это было повсюду в Европе, где выращивались зерновые, — только двухполье или трехполье, которые давали возможность земле отдохнуть. Возделываемые земли составляли лишь ограниченные площади вокруг деревень, оставляя между ними огромные пространства ланд (*monte bajo*) или пустошей (*monte alto*). Однако эти «отдыхающие» земли не всегда были совершенно бесполезны: они представляли собой земли «общего пользования», которые играли важную роль в сельской жизни, являя собой не слишком хорошие, но вполне пригодные и большие по площади пастбища для скота, позволявшие обедневшим крестьянам держать домашних животных — особенно коз и овец, — кормить которых на своем клочке земли не было никакой возможности. Поэтому обычное право везде фиксировало порядок использования этих «пустующих» земель (*baldios*). Но крестьянские общины вынуждены были постоянно защищать свои права на использование этих земель от посягательств со стороны крупных собственников, живших по соседству и стремившихся захватить эти территории, а на равнинах Кастилии — от вторжения *Месты*, могущественного объединения дворян, занимавшихся перегонным овцеводством.

Стада, которыми владела *Места*, насчитывали в начале XVII века несколько миллионов голов скота. Каждую весну они покидали зимние пастбища (*invernaderos*) на равнинах Андалусии и Эстремадуры, чтобы отправиться на летние пастбища (*agostaderos*), расположенные в сьеррах и на горных плато Кастилии, откуда они спускались осенью. Ведомые пастухами, которым помогали сторожевые псы, следившие за стадом и собиравшие животных (а иногда и защищавшие скот от волков), овцы шли медленно, поднимая за собой тучи пыли. Из их массы выделялись вьючные животные — ослы и мулы, — которые везли на своих широких спинах кухонную утварь, пищу для пастухов и собак, соль для баранов,

а также молодых ягнят, родившихся по дороге и не способных еще пока вынести все тяготы пути. Если, пересекая возделанные земли, стада проходили по отведенным для них дорогам (*canadas*), то их проход не представлял опасности для крестьян окрестных областей, поскольку овцы могли пастись на залежных землях, в том числе и на принадлежавших крестьянской общине, которая хотела бы их использовать по своему усмотрению. *Места* добилась от королей Кастилии, заинтересованных в расширении экспорта шерсти и в развитии сукноделия, целого ряда привилегий, которые не устраивали крестьян: они запрещали им обрабатывать залежные земли и огораживать свои участки забором. К тому же они должны были позволять пастись овцам *Месты* на своих землях, лежавших под паром, в ущерб собственному скоту. Эти привилегии порождали бесчисленные конфликты, которые обычно разрешались в пользу *Месты*, поскольку у нее были свои *алькальды*, наделенные большими юридическими полномочиями, и которые могли судить нарушителей в своем собственном суде.

Таким образом, крестьяне были окружены со всех сторон либо господами, либо врагами. «Они представляли собой самый бедный, самый угнетенный и самый униженный класс, — утверждал в 1629 году брат Бенито де Пеньялоза, — и кажется, что все остальные слои общества объединились для того, чтобы истребить или разорить их, и дело дошло до того, что само слово “крестьянин” звучит так плохо, что превратилось в синоним обижаемого, низкого, грубого человека, злоумышленника и даже еще хуже»¹².

Но не в великодушных протестах церковников или экономистов нужно искать самое верное отражение условий жизни крестьян, а в красноречиво свидетельствующем документе, каким является изложение результатов исследования, проведенного по приказу Филиппа II с целью составления переписи городов и

деревень Кастилии. Вопросник, послуживший основой для этого исследования, охватывал все аспекты сельской жизни: размеры деревень (*pueblos*), их правовое положение (*senorio* или *realengo*); возделываемые культуры и различные ресурсы населения; святыни и реликвии, хранящиеся в деревне; местные праздники. Ответы, данные самими крестьянами и аккуратно записанные, показывают, что они были хозяевами земли, которую обрабатывали, лишь в исключительных случаях; почти все они являлись держателями местных сеньоров, крупных монастырей или горожан, живших в ближайшем городе, в пользу которых они несли многочисленные повинности. В Бельвисе, небольшом селении в провинции Толедо, с 1500 фанег (около 800 гектолитров) пшеницы, собиравшейся каждый год, 150 уходило на десятину, 400 — на ренту, положенную собственнику земли, 200 необходимо было оставить на посев в будущем году; таким образом, крестьянину в хороший год оставалась лишь половина урожая, продажа которой позволяла ему заплатить королевские налоги, «но часто случалось так, что крестьянин не собирал столько, чтобы все заплатить, и тогда он разорялся»¹³.

Всякий раз, когда опрашивающий упоминает то, что мы бы назвали «уровнем жизни» крестьян, следует один и тот же ответ: «здешние люди совсем бедны», «большинство жителей очень бедны; лишь некоторые могут более или менее нормально питаться», «из всех жителей две трети — совсем бедный люд, а оставшиеся имеют очень небольшой доход», «в деревне двести тридцать жителей, среди которых едва ли около двадцати живут более или менее нормально, хотя, конечно, никто не может назвать их богатыми; остальные — нищие»¹⁴. Следует отметить, что с 1575 года и до эпохи Филиппа IV положение крестьян не переставало ухудшаться.

Внешний вид деревень и домов отражал скудость крестьянской жизни. Только лишь в горных областях дома строились, хотя бы частично, из камня. На Кастильском плато хижины, сделанные из самана, по цвету не отличались от земли. Порой какая-нибудь

из них выделялась своим каменным или кирпичным входом, над которым красовался герб: это был дом идадьго, часто такого же бедного, как и его соседи, но фамильный герб был свидетельством его положения. На юге и востоке Испании известковое молоко, которое покрывало стены и каждую весну заботливо обновлялось, придавало деревням более веселый вид. Но бедность, которую выдавало внутреннее убранство домов, была не меньшей: во многих домах была лишь одна комната, а больше двух бывало лишь в исключительных случаях. Меблировка состояла из грубого стола и деревянных лавок; кровати зачастую делались из простых досок, а то и вообще спали прямо на полу. В одном из углов главной комнаты находился очаг, в котором лишь время от времени зажигали хворост (поскольку почти повсюду дерево было редкостью и стоило дорого); обычно приготовление пищи не требовало больших усилий: для бедного крестьянина ржаной хлеб, сыр, лук — в Андалусии еще оливки — были повседневной едой.

Означает ли это, что все крестьяне Испании жили в такой глубокой нищете? В недрах деревенского мира существовало значительное неравенство, причинами которого были условия местности или индивидуальная ситуация. В Каталонии, где фермеры заключали договоры долговременной аренды, можно было встретить процветавшие крестьянские хозяйства, центрами которых были деревенские дома (*masia*), прочные сооружения из камня, которым отдельные архитектурные детали — монументальный портал, окна с колоннами — придавали порой вид господского особняка. Даже в менее благополучных регионах, таких, как Ла-Манча, можно было встретить работников, живших в достатке: персонаж Гамаш Богатый, которого Сервантес противопоставил Базилю Бедному в знаменитом эпизоде из «*Дон Кихота*», не был выдуманным: он воплощал реальный социальный тип крупного хлебороба-собственника (*cosechero*), который нанимал для работы на своем поле многочисленных сельскохозяйственных рабочих, а также извлекал боль-

шую выгоду из участков земли, которые он сдавал в аренду простым крестьянам. Но со временем эта категория зажиточных крестьян становилась более малочисленной, и писатель Наваретт, сожалеющий о таком положении дел, довольно ясно изложил его причины в своем трактате «*Сохранение монархий*»: «Поскольку они видели, что бо́льшая часть повинностей, оброка, податей, пошлин ложится на плечи тех, кто владеет земельной собственностью, а ренты и чинши от этого освобождены, они решили просто избавиться от всех земледельческих и скотоводческих пут, чтобы спокойно тратить свои состояния в городе»¹⁵. Таким образом, в деревнях в основном оставался бедный люд.

Можно было бы попытаться отбросить как лживые все картины крестьянской жизни, которые рисует нам значительная часть литературы золотого века, особенно комедии, показывающие крестьянина, ведущего беззаботное и легкое существование, к тому же скрашенное деревенскими увеселениями. Вероятно, надо учитывать идеализацию деревенской жизни, которая выразилась в продолжительной моде на «пастораль». Однако не вызывает сомнений и то, что монотонность суровой повседневной жизни даже самых нищих крестьян порой прерывалась праздниками и весельем, в которых принимала участие вся деревенская община: церковные праздники, чествования местного святого покровителя, *romerías* — одновременно и паломничество, и сельский праздник; торжественные шествия к ближайшему храму с целью вымолить заступничество Всевышнего или воздать ему хвалу. *Донесения*, составившиеся по приказу Филиппа II и обычно дававшие довольно мрачное представление о деревенской жизни, порой упоминали какой-нибудь из этих «праздничных» эпизодов, воспоминание о котором жители деревни хранили долгое время. Жители Аламеды (близ Мадрида), когда их спросили о реликвиях, хранившихся в их церкви, ответили: «Там хранится очень ценное распятие, прибитое гвоздями к большому кресту; всё вместе весит семнадцать

фунтов. его привез из американских колоний один из жителей деревни. За ним в Мадрид отправилась торжественная процессия, в которой было множество священников; люди несли распятия и хоругви, и было очень много народу из нашей деревни и ее окрестностей. В начале мая 1573 года, когда по всей области ощущалась сильная нехватка воды, жители деревни вынесли это распятие, чтобы торжественной процессией отнести его в монастырь Атоша в Мадриде, где все усердно помолились, и Господь внял их мольбам, и в тот же день, прежде чем процессия вернулась в церковь, на нашу деревню пролилось с небес изрядное количество воды, и посевы были спасены, так что пшеница принесла большой урожай»¹⁶.

Окончание жатвы в урожайный год тоже служило поводом для веселья с песнями и танцами, в исполнении которых жители окрестных деревень соревновались друг с другом. Во многих местах Арагона и Леванта каждый год проводились «бои христиан с маврами», в которых принимало участие почти все местное население. Иногда какой-нибудь кукловод (а их было очень много по всей Испании) разворачивал свой балаган на площади или арене для боев, развлекая публику каким-нибудь фарсом или увлекая ее — как мастер Педро, персонажи которого были вдребезги разбиты Дон Кихотом, — захватывающим пересказом героической легенды. Если деревня располагалась недалеко от большой дороги, можно было воспользоваться тем, что мимо проходила труппа бродячих актеров, которая доставляла своей аудитории удовольствие представлением какой-нибудь «комедии святых» или инсценировкой аутодафе.

Таким образом, пусть даже идеализированные, все светлые стороны деревенской жизни, представленные во многих комедиях Лопе де Вега, в той или иной мере служили отражением реальной жизни крестьян. Но театр золотого века сделал больше, чем просто вывел на сцену крестьянина: он, по словам брата Бенито де Пеньялоза, воздал ему за то презре-

ние, с каким относились к нему представители других классов. Будь то «*Овечий источник*» Лопе де Вега, «*Алькальд из Саламеи*» Кальдерона или любая другая из множества комедий, действие которых разворачивалось в деревне, именно в образе крестьянина авторы воплощали самые высокие моральные достоинства, чтобы противопоставить врожденное благородство низости представителей других социальных групп.

ЦЕРКОВЬ И РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ

Церковь Испании. Духовенство и церковные владения. — Монастырская жизнь: ее духовное и мирское начала. — Религиозная практика: любовь к ближнему и религиозный пыл. — Культ Пресвятой Девы и святых. Братства. Большие религиозные праздники. — Извращения религиозных чувств: приверженность к обрядам и ее крайности. «Озарение» и колдовство. — Испанская инквизиция

Душа испанца настолько пронизана католической верой, что нет ни одного аспекта индивидуальной или коллективной жизни, в которой бы не проявлялась любовь к Богу. Это постоянное присутствие религиозного чувства объясняет, почему духовенство занимает столь важное место в испанском обществе, почему придается столь большое значение всевозможным способам открытого восхваления Бога и, наконец, почему такую важную роль играла испанская инквизиция, оплот ортодоксии, противостоявшей ереси и любым отклонениям от религиозной догмы и практики.

Вторая половина XVI века и начало следующего столетия были отмечены усилением могущества

Церкви и, как следствие, резким увеличением количества священнослужителей, сосредоточивших в своих руках земельные богатства, приносившие значительные доходы. В ряду важнейших причин, побуждавших многих испанцев становиться священниками или монахами, следует назвать то усердие, с которым проводилась католическая реформа, отразившаяся как на мировоззрении, так и на поступках испанцев. Учреждение новых орденов, среди которых был орден иезуитов, и реформирование старых орденов, таких, как орден кармелитов или орден августинцев, способствовали привлечению лучших людей к монастырской жизни. Но были и другие причины, по которым представители всех классов посвящали себя служению Богу: младшим детям из дворянских семей (*segudones*), которых система «майората» лишала отцовского наследства, Церковь предлагала быстрый взлет карьеры, обеспечивавшийся их знатным происхождением; для лиц простого звания вступление в один из духовных орденов было единственным средством подняться по социальной лестнице и даже получить высокие посты в Церкви и государстве. Надеясь на это, многие крестьяне шли на большие жертвы, чтобы если не они, то хотя бы их дети могли получить в университете образование, которое позволило бы им получить приход или бенефиций. Наконец, презрение к физическому труду также способствовало увеличению числа тех, кто отправлялся в монастыри не столько с намерением посвятить себя духовной жизни, сколько ради обеспечения себе материального благополучия. «Некоторые утверждают, что религия в наши дни превратилась в один из способов зарабатывать себе на жизнь, — писал в 1624 году епископ Бадахоса, — и многие обращаются к религии так же, как они могли бы заняться любым другим ремеслом»¹.

Согласно жалобам, переданным королю кортесами в 1625 году, Испания насчитывала девять тысяч мужских монастырей (во многих из которых, правда, обитало малое количество монахов), а число женских монастырей было наверняка не меньше. Добавив к

числу монахов и монахинь представителей белого духовенства, можно насчитать минимум двести тысяч лиц духовного звания (при том, что население страны составляло около восьми миллионов). Не только кортесы, представлявшие городскую буржуазию, протестовали против чрезмерного роста количества священнослужителей, в котором они видели причину снижения экономической активности; даже в самой среде духовенства раздавались голоса, призывавшие положить этому предел. В своем произведении «*Сохранение монархии*» (1626) отец Наваррет выражает мнение, что следует «попросить Папу ужесточить контроль за учреждением новых монастырей, чтобы они не возникали в таком количестве», ссылаясь на то, что «с увеличением числа орденов и монастырей неизбежно возрастает бремя, гнетущее тружеников».

Еще более значительным, чем численный рост монашества, было связанное с ним неуклонное возрастание церковных владений. К земельному наследию, доставшемуся от Средних веков и составлявшему существенную долю испанской земли, прибавлялись земли, подаренные монастырям, переданные по завещаниям или в качестве вклада богатых девиц, постригавшихся в монахини, земельные владения «капелланств» и богоугодных заведений, создававшихся отдельными семействами, желавшими обеспечить своим детям и их потомкам, принимавшим духовное звание, доходы с этих земель, и, наконец, земли, купленные самими религиозными общинами. «Когда крестьянин вынужден продать часть своего наследства, — пишет автор XVII века, — он не найдет другого покупателя, кроме религиозной общины»².

Какова же была величина дохода, который получало духовенство с этих владений и к которому следует еще добавить доходы с десятины? Есть основания полагать, что он составлял треть всех земельных доходов Испании. Именно количество монахов и богатство испанских церквей было тем, что больше всего изумляло иностранных путешественников. Находясь в Вальядолиде (в то время столице королевств-

ва), духовник французского короля Бартеlemi Жоли отмечал, что церкви там построены хуже, чем во Франции, но «превосходят французские по богатству картин в золоченых рамах, великолепных ковчегов, икон и церковного облачения». Восхищаясь крестами, чашами, дароносицами, украшенными драгоценными камнями за счет прихожан, приносящих Богу свои пожертвования, он в заключение высказал мысль, в которой сквозила некоторая зависть: «Прибавьте сюда роскошь этой нации, елейной и блестящей внешне, дорожащей репутацией раздающего направо и налево, очень приверженной, чтобы ничего своего не отдавать, делу Церкви». Эта любовь к Церкви отразилась также на материальных условиях жизни священнослужителей, «которые живут довольно обеспеченно», и создала вокруг них атмосферу глубокого уважения: «Именно в этой стране монахи чувствуют себя лучше всего; их повсюду почтительно, с уважением величают “падре”, везде они желанные гости, везде им рады»³.

В описании Вальядолида того времени, сделанном португальцем Пинхейро, мы читаем: «Монастыри сами могли бы составить довольно крупный город, и я удивляюсь, как Вальядолид способен заключать в себе столько монастырей и церквей. Один только монастырь францисканцев с двумя сотнями монахов занимает половину города». Еще более поразительное впечатление производил Толедо, архиепископ которого, будучи примасом Испании, являлся к тому же хозяином более 700 населенных пунктов, и капитул которого получал огромные доходы. «Город достаточно большой, — писал поляк Ян Собеский, посетивший Толедо в 1611 году, — в нем такое количество монастырей, монахов и монахинь, что ни в какой другой части Испании, да и всего христианского мира, столько не найти; кажется, что весь город и состоит из монастырей и церквей... Кафедральный собор очень красив и величав, а его сокровищница, даже не считая золотых ковчегов, драгоценных камней и украшений, настолько богата, что, по-моему, нет другой такой в мире»⁴.

Оборотной стороной богатства испанской Церкви было известное падение нравов, которому способствовал и порядок рекрутирования высшего духовенства. На высшие церковные должности назначали монархи, и если Филипп II относился очень внимательно к выбору прелатов, то его преемники не были столь разборчивы: самый типичный случай — история с инфантом Фердинандом, сыном Филиппа III, который в возрасте десяти лет получил кардинальскую шапочку и сан архиепископа Толедо, делавший его примасом Испании. В душе солдат, «Кардинал-Инфант» никогда не появлялся в своей епархии, но зато прославил себя на полях сражений Тридцатилетней войны. Этот случай, конечно, исключение, но очень многие епископы, получившие сан благодаря своей высокородности, вели в своих епископских резиденциях жизнь скорее аристократов, чем священнослужителей, окружив себя оруженосцами, пажами, а иногда и шутами. Тем не менее религиозный дух сохранился у некоторых из них, как, например, у епископа Паленсии, Антонио де Эстрады, который в 1658 году умер в нищете, раздав все свое имущество бедным.

На низших ступенях церковной иерархии хотя и попадались образцовые священники, однако приток в ряды священнослужителей людей, не имевших к этому призвания, объясняет весьма посредственный уровень нравственности многих из них. Обычным делом было сожительство священника с конкубиной и рождение от нее детей, и остается лишь удивляться той снисходительности, с какой инквизиция относилась к этим представителям духовенства.

Именно в среде черного духовенства были ярче всего видны контрасты между самыми высокими духовными ценностями и падением уровня дисциплины и нравов. Дух реформы XVI века был жив не только среди иезуитов, обретавшихся в миру и оказывавших на него все возрастающее влияние, но и в некоторых монашеских орденах созерцательного толка, таких, как реформированный орден ав-

густинцев, членом которого был святой Хуан де ла Крус, или реформированный орден кармелитов, который остался верен традициям святой Терезы Авильской, ее духовности, в равной мере близкой как небу, так и земле.

Но женские монастыри зачастую были — как и во Франции того времени — прибежищем для знатных дам, которые проводили в них старость или, оставшись без мужа, доживали свой век, или приютом для девиц благородного происхождения, которых, не спрашивая их желания, семья помещала в монастырь. Все это послужило причиной появления *«Памятной записки»*, адресованной в 1574 году Филиппу II одним из монахов-доминиканцев, протестовавшим против проекта продажи церковного имущества с целью пополнения государственной казны, поскольку это «больно ударит по монахиням, составляющим весьма значительную часть дворянства Испании», ибо «знатные сеньоры и все известные люди, которые могут выдать замуж лишь одну дочь из четырех или шести, потому что требуется слишком большое приданое для каждой из них, не имеют другого выхода, кроме как поместить сестер в монастырь; основатели монастырей именно с этой целью старались обеспечить их, чтобы бедность не толкнула девушек на путь зла, вынудив жить в отчаянии и недовольстве. Для того чтобы они имели постоянную ренту и с нее получали налоги, они давали им земли и слуг»⁵. В подобных условиях монахини, вполне естественно, считали себя еще живущими в миру, из которого их вытолкнула лишь необходимость, и потому старались не отказывать себе в удовольствиях.

Два частных женских монастыря, относившихся к духовно-рыцарским орденам Калатрава и Сант-Яго и получивших от них свои названия, принимали только женщин дворянского происхождения и были известны тем, что их обитательницы вели весьма обеспеченную, даже роскошную жизнь. Мадам д'Ольнуа писала в конце века о монашках из Сант-Яго: «Обитель этих дам прекрасна; все, кто приходит их навещать, входят туда без труда; обста-

новка у них не хуже, чем была бы в миру. Они получают очень большое содержание, *и у каждой есть три-четыре служанки*».

Так что жизнь, которую вели в этих светских монастырях, была весьма далека от отрешенности и покаяния: их приемные часто посещались многочисленными визитерами обоих полов; там проводились праздники, устраивались театральные представления и поэтико-теологические состязания (по образцу литературных турниров, которые были тогда в большой моде во всей Испании), темы которых были порой весьма «смелыми»: «Что в любви более ценно — предвкушение или обладание?..»

Подобное отклонение находит если не оправдание, то, во всяком случае, объяснение в языке мистической литературы, где, в подражание «*Песни песней*», божественная любовь объясняется в терминах, сравнениях и метафорах, заимствованных из форм самой что ни на есть земной любви. Этим же объясняется и еще более примечательное явление: «ухаживание за монашками» (*galanteo de monjas*), феномен, который мог бы показаться невероятным, если бы не находил огромного количества свидетельств в литературных текстах. Быть «ухажером монашки» (*galan de monjas*) означало считать себя рыцарем, служившим Дульсинее, заключенной в стенах монастыря, дать ей понять, хотя бы жестом или взглядом, какую страсть она разожгла, стараться увидеть ее издали, за решеткой хора в монастырской церкви или за решеткой окна ее кельи, посвящать ей, если наделен поэтическим даром, стихи, которые какая-нибудь из сестер-привратниц, посвященная в тайну, передаст ей, и, наконец, по возможности найти предлог увидеться с ней в приемной и обменяться несколькими любовными фразами. Вовсе не будучи шокированными этой игрой, многие монашки с готовностью предавались ей, и иметь «кавалера» для монашки стало почти столь же естественным, как для девушки, остающейся в миру, иметь жениха⁶.

Остроумие сатириков находило обильную пищу в «монастырских ухаживаниях». Среди прочих «по-

двигов», совершенных одним из персонажей Кеведо, Паблосом из Сеговии, в своей богатой приключениями жизни, фигурируют и «ухаживания за монашками»: «Расставшись с ужасной жизнью комедианта, я выбрал, если можно так выразиться, приключения “ухажера за решеткой”». Поводом для этого послужило то, что я встретил более прекрасную, чем Венера, монашенку, по просьбе которой я сложил несколько гимнов и которая полюбила меня после того, как увидела в роли святого Иоанна Крестителя в день праздника Тела Господня. Я решился написать ей записку следующего содержания: “Мадам, я оставил общество, в котором жил, ибо любое общество без Вас есть одиночество” и проч. и проч. Монахиня ответила ему в том же стиле и назначила ему “свидание” во время вечерни, чтобы он мог увидеть ее сквозь решетку: “Трудно даже представить себе, сколько вечере я выстоял. Я так тянул шею, чтобы ее увидеть, что стал выше на два локтя, чем был до того, как затеял эту любовную интригу”». Наконец, после многих дней, проведенных в томительном ожидании у стен монастыря среди других влюбленных, Паблос, «обдумав, во что ему обходится дорога в ад, которого другие достигают столь легкими и приятными путями», решил оставить эту бесперспективную затею...

Но многие не довольствовались этими визуальными удовольствиями, и святотатственный Дон Жуан, штурмовавший двери монастырей, был наказан разве что на театральной сцене, где давали представления по комедиям Тирсо де Молины. «Отдел хроники» газет той поры довольно часто сообщал о похищениях монахинь, инициаторами которых иногда были сами монахини. Жалобы, вызванные этими и тому подобными эксцессами, вынудили правительство Филиппа IV подготовить указ, запрещающий любые отношения между монахами разных полов; но этот указ так и не был опубликован, в частности, по причине того, что «нельзя создавать монахам условия, хуже, чем у других людей...»⁷.

Подобная терпимость была тем более пагубна, что многие монастыри, по словам П. Хуана де Кабреры,

были «населены людьми чувственными и ленивыми, неисправимыми бродягами и честолюбцами, всегда готовыми нарушить мир, религиозное согласие». Многие монахи, бежав из своих монастырей, жили как придется, смешавшись с миром «низов» и становясь порой обыкновенными преступниками. «В Куэларе, — писал в 1655 году священник Барьонуэво, — один монах-францисканец похитил из монастыря Святой Клары очень симпатичную монашенку, которой было около 20 лет; а в Севилье другой монах, кармелит и хороший проповедник, поссорился со своим прелатом, который посадил его под стражу; бежав, он укрылся в горах Сьерра-Морена, где теперь командует большой шайкой подобных себе: они собирают на больших дорогах “милостыню” с помощью своих мушкетов»⁸.

Таким образом, не приходится удивляться, что священник и монах занимают заметное место в сатирической литературе того времени, и тот факт, что инквизиция позволяла публиковать произведения, где они представлены в таком виде, доказывает, что обвинения против них не были лишены оснований. Однако надо с осторожностью подходить к такого рода нападкам и не принимать их буквально: помимо того, что они были, очевидно, вызваны наиболее скандальными случаями, привлекавшими к себе внимание, они не выходили за рамки антиклерикальной традиции Средних веков и были отличительной чертой эпохи, когда прочность веры не могла быть поколеблена недостойным поведением некоторых ее земных выразителей, подверженных всем человеческим слабостям.

• • •

Искренность и усердие являются основными чертами испанской веры, даже если проявляются они, на наш взгляд, не всегда с самой лучшей стороны. «Пережитый» характер веры выражается, в частности, в чем-то вроде нимба, который окружал бедного, в образе Христа, и обычае совершать благотвори-

тельные поступки, которые шли гораздо дальше, чем просто подача милостыни. «Плохо обращаться с бедными — это значит восставать против Царя царей, поскольку просящий человек послан небом, чтобы попросить вас от имени Бога сделать доброе дело. Отказать ему в милостыне — позорная низость», — писал один из авторов того времени⁹. В среде обеспеченных людей не было завещания, которое бы не предусматривало раздачи денег бедным, тем, которые будут сопровождать покойника в последний путь и помогут ему открыть небесные врата; многие завещали в обедневшей Испании XVII века основание больниц и приютов для обездоленных. Наконец, «монастырский суп» (*sopa boba*) позволял множеству несчастных не умереть от голода на городских мостовых: каждый день в полдень под звон колокола, созывающего людей к молитве, обращенной к Богородице, ворота монастыря открывались и монахи выносили огромный котел с супом и корзину с хлебом; все это распределялось между устремлявшимися к воротам бедняками, среди которых были профессиональные нищие, безработные, искалеченные солдаты, изголодавшиеся студенты — все, для кого это была единственная за день возможность поесть.

Приверженность догматическим истинам и предписаниям Церкви проявлялась в усердии, с которым выполнялись религиозные обряды: присутствие, зачастую ежедневное, на мессах, частые исповеди и причащения, чтение молитв, соблюдение постов, и особенно в том пыле, с которым верующие поклонялись Богу и слушали речи проповедников. Последние обычно старались делать свои проповеди яркими, порой даже театральными, переходя от сурового обличения к умилению и слезам, чтобы сильнее взволновать слушателей. «В своих проповедях они чрезвычайно пылки, — отмечает Бартеlemi Жоли. — Вот почему две вещи тронули меня в выступлениях испанских проповедников: их предельная страстность, а также постоянные вздохи женщин, настолько громкие и страстные, что они отвлекают внимание от проповеди»¹⁰.

Культ Девы Марии занимает в испанском благочестии главное место: культ, который разнообразили множество «воплощений» и представлений Богоматери, связанных с местными традициями. Некоторые из них очень почитались и привлекали в свои храмы паломников со всех концов Испании: Пиларская Дева (Сарагоса), Дева Гваделупы, почитавшаяся в монастыре, затерявшемся в сьерре Эстремадуры; Монсерратская Дева, поклониться которой шли в сентябрьские праздники, преодолевая ради этого трудный подъем среди скал и пропастей в горах Каталонии.

К догмам католической церкви Испания добавила в XVI веке догму о Непорочном зачатии, которую теологи пытались утвердить на Тридентском соборе. В ее защиту объединились все классы общества и государство: несколько раз в начале XVII века кортесы требовали, чтобы она была провозглашена Церковью; орден Калатрава вменял в обязанность своим рыцарям растолковывать таинство Непорочного зачатия Богородицей, и не было ни одного человека, вплоть до разбойника с большой дороги, кто не был бы готов защищать ее с оружием в руках, если возникнет такая необходимость.

Испанская церковь пополнилась в первой половине века новыми святыми, среди которых были святая Тереза, святой Игнатий Лойола и святой Франсиско-Хавьер — канонизация всех троих состоялась в 1622 году и сопровождалась пышными празднествами. Но желание, выраженное частью духовенства, признать святую Терезу покровительницей всей Испании вызвало протест части верующих и даже некоторых духовных орденов, опасавшихся оскорбить такой «конкуренцией» традиционного покровителя страны, святого Якова Компостельского (*Сантьяго-де-Компостела*) — как бы он не перестал тогда покровительствовать народу, который привел к победе в войне против мавров. Сначала большинство паломников составляли иностранцы, которые по «старому французскому пути», проложенному еще в XII веке, отправлялись в Гали-

сию, чтобы поклониться там могиле апостола, и останавливались в приютах, созданных когда-то специально для паломников. Королевский приют в Бургосе принимал каждый год от восьми до десяти тысяч паломников — «французов, гасконцев и представителей прочих народов», которые, согласно установленному правилу, проводили в нем два-три дня, причем «мы не знали, ни кто они, — говорил управляющий приюта, — ни куда направляются, ни зачем они пришли сюда, и вообще являются ли они в самом деле паломниками», поскольку невозможно было различить, кого из них привела в Сантьяго-де-Компостела любовь к Богу, а для кого паломничество являлось лишь удобным поводом для бродяжничества¹¹.

В культах Девы Марии и святых братства играли ведущую роль. Их количество не переставало увеличиваться с конца Средних веков и достигло порядка двадцати тысяч к середине XVII века. Одни были связаны с цехами торговцев и ремесленников; другие объединяли людей свободных профессий: медиков, адвокатов; некоторые были объединены по региональному принципу, собирая в больших городах верующих родом из одной провинции, например, жителей Наварры, покровителем которых был святой Фирмин, или Галисии под покровительством святого Якова. Существовали даже братства, которые объединяли иностранцев, живших в Испании: в 1615 году французы Мадрида создали братство Святого Людовика, чтобы содержать приют святого короля. Большинство братств и на самом деле имели милосердные цели, но при этом все заботились о том, чтобы придать как можно больше блеска культу своего святого покровителя, поддерживать и украшать его церковь или храм. Среди самых богатых из них было настоящее соревнование в том, что касалось прохода торжественной процессией, проведения религиозных праздников, а также появления статуи святого, облаченной как можно богаче; в этом соревновании участвовали все собратья, носившие *habito* — капюшон цвета братства.

Одна из наиболее характерных черт религиозной жизни — все более ярко выраженная тяга к показной роскоши. Эпоха Филиппа II и святой Терезы, когда в самых затерянных уголках Кастилии и Эстремадуры основывались монастыри с неукоснительным соблюдением всех строгих положений устава, явилась апогеем развития мистической и аскетической мысли, в которой была выражена религиозность, обращенная внутрь; в следующие полвека внешнее и визуальное выражение религиозного чувства обретает все возрастающую важность. В церквях, которые не переставали богатеть за счет набожности своих прихожан, культовые церемонии становятся все более пышными; большие празднества — канонизация, перенесение мощей — превращаются в зрелищные мероприятия, длящиеся порой несколько дней, как, например, организованные в 1627 году францисканцами Мадрида в честь мучеников своего ордена: «От церкви Святого Франциска до церкви Святого Эгидия тянулась процессия, которая торжественно несла статуи мучеников, обернутые в золотые и серебряные материи с их знаками; затем шел прославленный отец святой Франциск в богатом одеянии; затем более четырехсот верующих францисканцев, обутых и босых, капуцины, и более пятисот членов третьего ордена братства с зажженными факелами в руках. Хоругвь нес герцог Медина де лас Торрес, которого окружали все гранды Испании и господ самого высокого ранга. Процессия прошествовала перед дворцом, откуда за ней наблюдали король и королева. Церковь Святого Эгидия была богато украшена. Лучшие проповедники двора произнесли восемь проповедей»¹².

Характер зрелища, придававшийся религиозной жизни, часто превращал религиозные мероприятия в народные праздники, в которых соединялось мирское и священное. Самым типичным примером этого был праздник Тела Господня¹³, и даже Святая неделя, несмотря на ее характер скорбного поминовения, не избежала этого в полной мере, и проявление крайнего религиозного усердия уступало место светским развлечениям, даже амурным ухаживаниям. В

течение всей недели не умолкали колокола, использование карет или портшезов запрещалось, и в знак покаяния и смирения знатные особы должны были ходить пешком, без оружия, без оруженосцев и лакеев. Но традиционное посещение церквей, открытых день и ночь, порой давало женщинам, обычно находившимся под строгим надзором, возможность для свидания, а мужчинам предоставляло случай легкой победы и короткого приключения — доходило даже до того, что в Мадриде королевское правительство вынуждено было приказать «алькальдам двора», ответственным за работу городской полиции, «следить за тем, чтобы храмам оказывалось должное почтение и уважение и поведение в них было благопристойным, не позволять мужчинам и женщинам разговаривать или совершать иные действия, противоречившие приличиям»¹⁴.

Процессии, которые следовали одна за другой каждый день с Вербного воскресенья до Пасхи, представляли собой необычное зрелище: сначала следовала вереница представителей власти; за ними мужчины на спинах несли *pasos*, разноцветные скульптурные группы, изображавшие сцены страстей Христовых; многие из них — во всяком случае в таких крупных городах, как Вальядолид, Севилья, Валенсия, — представляли собой произведения искусства, выполненные в мастерских самых знаменитых скульпторов и художников; впечатляющий реализм лиц и поз — изображения окровавленного и умершего Христа, Пресвятая Дева в слезах, переживающая свою боль, — контрастировал с блеском убранства статуй; позади каждого *paso* шло братство, хранившее статую; они держали хоругви и кресты, окутанные черной траурной материей; каждый собрат нес зажженную свечу, колеблющийся свет которых обрисовывал длинные вереницы ночных процессий — и так со среды до Святой пятницы.

Еще более волнующим было шествие кающихся грешников в просторных монашеских рясах с капюшонами, скрывавших спину и плечи; участники процессии несли, едва не падая под их весом, тяжелые

кресты или секли себя до крови. Бартеlemi Жоли, всегда настроенный против испанских религиозных обычаев, не смог скрыть охватившего его волнения, увидев, как в Вальядолиде «через весь город проходит скорбная процессия кающихся... Они яростно секли себя и с такой скорбью двигались через ночную тьму, что даже самое суровое сердце не выдержало бы и растрогалось». Кроме этих «сообществ самоистязателей, — добавляет французский путешественник, — в Вальядолиде и по всей Испании можно увидеть и такие процессии, впереди которых идут пажи с факелами, но даже и эти знатные сеньоры не щадят себя, как и другие, и, полуживые, идут с окровавленными руками, некоторые из них несут кресты, превышающие их собственный вес; *они были бы блаженны, если бы хитрый дьявол не смешал благочестие с тщеславием: присутствие пажей и лакеев выдало их с головой*»¹⁵.

Последняя фраза тем более примечательна, что Бартеlemi Жоли совершенно не подвергает сомнению искренность этих кающихся грешников, которые, желая остаться неузнанными, тем не менее хотят продемонстрировать, какие они знатные господа. Этот показной характер, придававшийся порой даже самым жестоким проявлениям покаяния, подчеркивался различными писателями той поры. «Я не сомневаюсь, — писал Франсиско Сантос, — что многие бичуют себя из любви к Богу; но я полагаю, что многие делают это из тщеславия». Были даже, по словам графини д'Ольнуа, кающиеся грешники, которые бичевали себя из любви к женщине: перед домом своей возлюбленной «они секут себя с поразительным терпением... Когда мимо проходит хорошенькая женщина, они особым манером так ударяют себя, что их кровь брызжет на нее. Это считается проявлением большого достоинства, и признательная дама вознаграждает его». Это утверждение можно было бы подвергнуть сомнению, если бы Лопе де Вега, Кеведо и другие не высмеивали в своих произведениях «кающихся грешников любви» (*disciplinantes de amor*).

Даже если значение, придававшееся внешним проявлениям веры, ни в коей мере не исключало искренности, оно все же могло подменить духовное содержание соответствующей формой. По поводу роскошного убранства, в которое верующие облекали статуи, уместно вспомнить возражения святого Хуана де ла Крус, выступавшего против «мерзкого обычая одевать статуи с роскошью и следуя светской моде» — обычая, низводившего благочестие до «искусства наряжать кукол, отдельные из которых становятся идолами, и в поклонении им находят удовлетворение»¹⁶. Но этот обычай так и не был изжит, а, напротив, получал все большее распространение, соединяясь с почитанием, в котором форма, движение и ритуал, вместо того чтобы выглядеть символами и знаками высшей реальности, приобретали искупительную ценность, в некотором смысле вынуждая божество понять, что оно «обязано» тем, кто потратился на него. Что больше всего поразило двух персонажей Сервантеса, Ринконете и Кортадильо, когда они вступили в контакт с воровским миром Севильи, так это «уверенность, что все они попадут на небеса, будучи ворами, убийцами и богохульниками, *лишь бы у них не было недостатка набожности*».

Однако, по крайней мере, ритуал, пусть даже исполнявшийся формально, поддерживал контакт верующих с Церковью и ее служителями, которые должны были вести их по пути веры. Более опасной казалась — особенно в глазах инквизиции — другая крайность, а именно поиск прямого единения с Богом, без каких-либо земных посредников. Такая позиция представлялась следствием, даже оборотной стороной, мистической мысли в том виде, как она выражалась святым Хуаном де ла Крус или святой Терезой. Святая Тереза в своей книге «Обители души» (*Las Moradas*) описала удивительно ясным и образным языком все этапы, через которые должна пройти душа, чтобы в экстазе соединиться с Богом, но в то же время она предостерегала своих сестер от крайностей и иллюзий, к которым могли привести эти

поиски Бога, когда они не контролировались, как в ее случае, смирением и абсолютным подчинением предписаниям Церкви: «Я знала не одну женщину, причем весьма добродетельную, проведшую семь-восемь часов в состоянии, которое им показалось экстазом; малейшее духовное упражнение овладевало ими настолько, что они смирялись, убежденные, что ни в чем нельзя перечить Богу... Из-за этого они гибли или становилась идиотками, если их не исцеляли». Святой Хуан де ла Крус также указывал на опасность, сопряженную с верой для тех, кто принимал за божественное вдохновение создание их собственного воображения: «Я мог бы долго говорить о женщинах, которые делали себе ложные стигматы, раны, терновые венцы, изображения Христа на груди, поскольку в наше время это можно увидеть повсюду... Мудрые люди, разбирающиеся в духовной жизни, не обращали внимания на эти химеры, но люди из народа, по простоте душевной, думали, что это знак святости, и когда некая женщина четырежды притворялась, что падает в обморок, они прославляли ее святость, и с этих пор она могла быть уверена в том, что будет сыта и обеспечена всем, что ей необходимо...»¹⁷ Но в этой области развернулось настоящее соперничество, и некий иезуит писал в 1634 году одному из своих собратьев: «Количество людей со стигматами размножилось до того, что уже не рассматривается как слуга Бога тот, кто не покажет все Пять Ран...»¹⁸

Мистическая иллюзия могла привести лишь к своего рода абсолютному квиетизму, в котором душа, полагая, что растворяется в Боге, больше не нуждается во внешних проявлениях веры. Но она могла также вести к очень серьезным отклонениям морального плана: если человеческая воля сливается с Богом, значит, для нее больше нет ответственности, а следовательно, исчезает и сама возможность согрешить. Под видом реакции на «произведения», связанные с распространением реформационных идей, такое состояние духа проявилось в нескольких группах «озаренных» (*alumbrados*), большинст-

во которых имели своей целью лишь подняться до состояния чистого созерцания, а другие претендовали на то, чтобы искать в плотской любви нечто вроде посвящения в любовь божественную. Несмотря на жестокие репрессии, практиковавшиеся инквизицией при Филиппе II, в первой половине следующего века возникали новые очаги «озарения», особенно в Севилье. Язык мистической литературы с присущей ему лексикой и «эротическим» оттенком давал грозное оружие в руки некоторых исповедников, которых одолевал демон плоти и которые пользовались своим положением, чтобы соблазнять исповедовавшихся. Число процессов по «вовлечению» — технический термин, употреблявшийся инквизицией для определения этого преступления, — показывает относительную частоту подобных злоупотреблений. Монахини-затворницы, подверженные действию мистической иллюзии, от которой их столь настоятельно предостерегала святая Тереза, рисковали стать жертвами «озаренных» наставников — или попросту негодяев, — как показывает дело монастыря Санто-Пласидо, в период с 1628 по 1633 год дававшее материал не только для церковной, но и скандальной хроники Мадрида¹⁹.

Если простодушные монашенки из Санто-Пласидо позволили «совратить» себя бенедиктинцу, которому была вверена забота об их душах, то сам он находил в монастыре, как явствует из инквизиционного процесса, могущественного сообщника — дьявола, который овладевал умами аббатисы и большинства находившихся под ее властью сестер, несмотря на все умерщвления плоти, которым они подвергали себя во избежание искушения. Это обстоятельство свидетельствует о той связи, которая существовала порой между «озарением» и другой формой извращения религиозного чувства — демонологией. Было бы, однако, в высшей степени ошибочно рассматривать веру в дьявола и примыкающее к ней колдовство как особенность испанской религиозности. XVII век, и особенно первая его половина (эпоха, в которую жил Декарт!), в наши дни считается великим веком кол-

довства, и ни одна область Европы тогда не избежала навязчивой идеи о существовании демона.

Но эта идея становилась тем навязчивее, чем живее была вера, и потому Испания предлагала для этого благоприятные условия. Действительно, как можно было сомневаться в существовании власти Сатаны, когда сама Церковь установила то, что можно назвать «ортодоксальной» концепцией демона, сформулировав правила, которым надо следовать для борьбы с ним? Демонологическая литература — труд теологов — переживала свой расцвет в XVII веке и представляет нам различные воплощения ангела тьмы. Поскольку демон един во многих лицах, и в мире ада есть своя специализация: на вершине Сатана, которому помогают Люцифер, Вельзевул и Варавва; затем следуют Асмодей, князь роскоши, Левиафан, демон гордости, Велиал, покровитель цыган, прорицателей и колдунов, Авристель, правящий игроками и богохульниками. Среди демонов ада и Ренфас, «хромой дьявол», услужливо ведущий людей ко всем порокам, в которых они находят удовольствие.

Невозможно было бы отрицать большую власть Лукавого над людьми. Так, например, каноник Гарсиа Наварро в своем «*Суде суеверий*», вышедшем в 1631 году, сообщает нам, что «как ученый медик и философ, каковым он является, он знает свойства всех растений и трав, изготавливает из них квинтэссенцию, которую, *невидимым образом*, накладывает на больные места»; так объясняются чудесные выздоровления, которые колдуны приписывают дьяволу, но которые на самом деле являются лишь следствием *естественных* свойств растений²⁰. Свою способность быть невидимым дьявол часто использует, чтобы потревожить покой людей: «Иногда он появляется с ужасным шумом, *особенно в домах, где живут монахини*, стучится в двери и окна, заставляет дрожать стены, разбивает горшки, тарелки и сбрасывает на пол утварь... Иногда он подходит к постели, где спят люди, поднимает одеяло и касается самых сокровенных мест или любым другим образом пугает людей и мешает им спать спокойно»²¹.

Гораздо более серьезными, чем эти невинные развлеченя демона, считаются случаи одержимости дьяволом, когда Сатана или один из его подручных проникает в человеческое тело и навязывает свою волю душе того, в ком поселился. Безумие, истерия и другие душевные болезни находили свое объяснение в «отчуждении» того, кем овладел дьявол. Существовали симптомы, по которым с уверенностью можно было сказать, что человеком овладел дьявол: одержимый говорит на иностранном языке, которому никогда не учился, рассказывает о событиях, которые произошли в далеких странах, богохульствует в присутствии священных предметов, отказывается молиться или креститься.

Единственным средством в этом случае было заклинание, изгонявшее демона из тела, которым он овладел, и совершавшееся, как и лечение любой болезни, по определенным правилам, установленным Церковью во избежание злоупотреблений и обмана²². Заклинания мог совершать только специальный священник, который умел обращаться к демону полатыни — поскольку тот понимал лишь язык Церкви. Было очень важно знать точно, как зовут того дьявола, которого требовалось изгнать, — Сатана, Люцифер, Вельзевул и т. д., — чтобы иметь перед ним преимущество, и порой сожжение бумажки, где писалось его имя, являлось эффективным средством борьбы с ним. Можно было также заставить «одержимого» встать на колени или поцеловать крест: оскорбленный этим унижительным действием, противным его природе, дьявол уходил. Но самым надежным средством было упомянуть в его присутствии таинства веры, особенно таинство Воплощения, идея которого была невыносима для демона. Наконец, применялись и способы воздействия, более материальные, но, без сомнения, не менее эффективные; брат Луис де ла Консепсьон рассказывает, что, произнося заклинание над очень знатной дамой, он приказал женщинам, которые при этом присутствовали, отхлестать ее по щекам: это привело демона в такое бешенство, что он ушел и больше не вернулся...

Рядом с теми, кто становился жертвой Сатаны, были искавшие его помощи и желавшие получить выгоду от его власти. В колдовстве существовали свои градации: от знахарки, которая могла залечивать раны, произнося магические слова, кудесницы, изготовлявшей «любовные напитки» или бросавшей жребий, до «злых людей, — говорит Гарсиа Наварро, — которые заключают дружеский договор с демоном и пытаются говорить и общаться с ним, чтобы он открыл им некоторые свои секреты и оказал им помощь и благосклонность, чтобы они смогли достичь того, чего желают». Среди них встречались и люди, занимавшие весьма высокое положение: про графа Оливареса, фаворита Филиппа IV, говорили, что он прячет дьявола в своей трости, и общественное мнение обвинило его, вероятно, не без оснований, в том, что он прибегал к помощи колдунов, чтобы сохранить благосклонность монарха²³.

Процессы о колдовстве, казалось, только служили лишним подтверждением существования отношений между Сатаной и представителями рода человеческого. В устах обвиненных, которых вынуждали признаваться, звучали те же описания, в которых присутствовали те же детали: фантастические путешествия по воздуху к месту шабаша; свадьбы между колдуньями и демонами с головами козла или собаки; святотатственные церемонии, во время которых участники отрицали католическую веру и попирали ногами распятие. Но те же самые подробности мы находим уже в документах, оставшихся после процессов о колдовстве последних столетий Средневековья, и затем снова слышим абсолютно идентичные подробности в XVII веке из уст бесчисленных колдунов и ведьм, приговоренных к сожжению во Франции, Англии, Германии. Сходство поведения допрашиваемых было в какой-то мере навязано им самими служителями инквизиции. Под угрозой пытки они вырывали из обвиненных признания, а те — из-за безумия, самовнушения, надежды избежать смертельного наказания — давали описания демона и его делишек в соответствии с традиционными представ-

лениями, которые у них сложились в рамках концепции западного христианства.

Однако раздавались и голоса, подвергавшие сомнению реальность приводившихся фактов. Гуманист Педро де Валенсия адресовал в 1610 году главному инквизитору свое произведение *«Рассуждение о колдовстве и вещах, касающихся магии»*, в котором показал невозможность совершения признанных преступлений и подверг сомнению признания, вырванные под пыткой. Впрочем, наблюдался странный контраст между умеренностью наказаний, налагаемых инквизицией — ссылка, тюремное заключение, позорный столб, — умеренностью, которая, казалось, отражала некоторое сомнение церковных судей, и строгостью светских судов, которые, разделяя всеобщую ненависть к колдунам, обвиняли их в смерти детей и скота, распространении эпидемий, гибели урожая и были неумолимы в отношении тех, на кого им донесли: в Каталонии в начале XVII века велась настоящая «охота на ведьм», жертвами которой за десять лет стало более трехсот человек²⁴.

...

Испанская инквизиция!.. Эти слова уже в течение четырех веков будят в воображении мрачные тюрьмы, ужасающие пытки и огонь костров, освещавших аутодафе, чем и объясняются попытки значительной части испанской историографии скорректировать огульные суждения об этом учреждении: напоминают о том, что пытки и наказания, применявшиеся Святой службой, не отличались от тех, которые были в обычае и в других судах, подчеркивают, что церемонии аутодафе проводились в исключительных случаях и что те, кто им подвергался, не обрекались на смертную казнь²⁵. Таковы бесспорные факты, но не менее верно и то, что инквизиция занимала в жизни испанцев XVI и XVII веков очень важное место, не только из-за судов, которые она вершила, но и из-за отпечатка, налагавшегося ею на умы людей той своеобразной смесью ужаса и почи-

тания, которую вызывало само ее упоминание, вследствие чего ее присутствие, пусть невидимое, постоянно ощущалось.

Верховный совет инквизиции, во главе которого находился генеральный инквизитор, назначавшийся королем, был органом монархического правительства, как и все остальные советы (Кастильский, Финансовый, Колониальный), которые окружали правителя. Но из-за своей духовной функции он обладал особой независимостью. Его власть осуществлялась посредством пятнадцати «трибуналов», или местных инквизиций, штат которых включал судей, «консультантов» и «квалификаторов», дававших теологическое заключение (зablуждающийся, близкий к ереси, еретик и т. п.) по поводу выступлений и преступлений против веры, и, наконец, прокурора, который был обязан поддерживать обвинение. Кроме того, инквизиция располагала штатом «приближенных», которые представляли собой нечто вроде полиции на общественных началах, и зачастую в ней служили люди, фанатично преданные делу. Численность этого штата в XVII веке была весьма значительной: вероятно, более двадцати тысяч человек, поскольку многие желали пользоваться привилегиями, полагавшимися тем, кто был на службе инквизиции (и самой ценной из них была та, что позволяла избегать всех остальных судов), а также из-за престижа, который обеспечивала эта служба и который все более возрастал по мере того, как надо было предъявлять все более убедительные «доказательства чистоты крови», требовавшиеся Святой службой. Весьма важные персоны, известные писатели — такие, как Лопе де Вега — удостоились чести служить в рядах этой полиции.

Действия инквизиции были направлены одновременно против идей и людей. В каждом крупном городе, обычно во время поста, зачитывался «*Эдикт веры*», чему предшествовала торжественная процессия, а по оглашении эдикта произносилась проповедь в церкви или на городской площади. Текст эдикта призывал верующих сообщать о тех, «кто поддер-

живает еретические мнения, о подозреваемых, заблуждающихся, дерзких, о тех, кто ругается, скандалистах и богохульниках против Господа нашего Бога и Святой католической веры... и особенно о тех, кто остается привязан или выражает благосклонные чувства к законам Моисея, сектам Магомета или Лютера, равно как и обо всех, у кого есть книги авторов еретиков или других, чьи имена фигурируют в “Перечне запрещенных книг”, опубликованном Святой службой». Через несколько дней проводилась аналогичная церемония, чтобы предать анафеме тех, кто не подчинился сделанному ранее предупреждению: «Да снизойдут на них все проклятия небес и все казни египетские; пусть будут прокляты они и в городах, и в деревнях; пусть проклятие Содома и Гоморры падет на их головы». Воздействие этих угроз, усиленное громовыми голосами глашатаев, было велико, и нередко случалось, что люди доносили в Святой трибунал на своих самых близких родственников, а порой и на самих себя.

Следовательно, в большинстве случаев инквизиционную машину запускали после этих доносов, но инквизиторы могли и сами возбудить дело. Поскольку протестантизм в Испании был искоренен при Филиппе II, а мориски изгнаны в 1610 году, «мараны» португальского происхождения, которых подозревали в тайной приверженности иудаизму, представляли собой в первой половине XVII века главный объект внимания со стороны инквизиции. Но более многочисленным контингентом среди обвиняемых были «озаренные», колдуны, монахи, осужденные за «вовлечение», и псевдомистические монахини, что симулировали религиозный экстаз, к которым добавлялись те, на кого донесли за богохульные речи или чтение запрещенной литературы.

С того момента, когда осужденного помещали в «секретную тюрьму» инквизиции, он в некотором роде переставал существовать для этого мира, поскольку вся процедура проводилась в величайшем секрете. Ни имена доносчиков, ни имена свидетелей не упоминались во время процесса, и даже при-

говор не становился публичным достоянием в момент его оглашения, поскольку Святая служба ждала, пока не накопится достаточное количество осужденных, чтобы объявить приговоры во время свершения «акта веры».

Аутодафе (*auto de fe*) было действительно торжественной церемонией, обычно объединявшейся с празднованием великого события: например, оно было устроено во время празднеств по случаю восшествия на престол Филиппа IV в 1621 году; в другой раз она состоялась в следующем году по случаю поправки после родов королевы Изабеллы Бурбонской. Этот характер празднования, к участию в котором привлекались все жители города, мог бы показаться странным и даже несколько кощунственным, если не учитывать того, что речь шла о праздновании, впечатляющей манифестации триумфа истинной веры и о наведении страха на ее врагов. Поэтому описания наиболее значительных аутодафе распространялись в народе с целью наставления верующих. Можно также встретить их многочисленные описания в рассказах иностранных путешественников, которых особенно поражала необычность зрелища.

Утром, в то время как звонили колокола, а в церквях проводились мессы за упокой души тех, кто должен был умереть в этот день, приговоренных выводили из тюрем и выстраивали в длинную процессию, которая затем направлялась к месту церемонии. Барабаны и трубы возвещали о начале шествия. Впереди несли штандарт с гербом инквизиции, на котором были изображены крест, шпага и оливковая ветвь — символы справедливости и милосердия. За ними шла масса «приближенных», построенных в когорты. Они несли другие штандарты, кресты и зажженные свечи. Их сопровождали монахи, принадлежавшие различным религиозным братствам. За ними следовала скорбная группа осужденных. Каждый из них шел в сопровождении двоих «приближенных», держал в связанных руках желтую свечу и был одет в *sambenito* — желтую тунику с крестом Святого Андрея, украшенную иногда рисунком, изоб-

ражавшим вид казни, которой будет подвергнут осужденный. Трагическую и нелепую фигуру приговоренного завершал длинный заостренный колпак (*coroza*). «За этой жуткой толпой, которая сама себе была похоронной процессией», по словам Бартелеми Жоли, шли представители светских и церковных властей: магистрат и муниципальные судьи, королевские чиновники, «служители» инквизиции, наконец, инквизиторы (в Мадриде — генеральный инквизитор), которых сопровождал епископ города, представлявший папу римского. «Все пели *Credo* тихим голосом, и, глядя на этот спектакль, создавалось впечатление, что свершается Божий приговор, и Он сам сошел с небес, чтобы привести его в исполнение»²⁶. На протяжении всего пути следования процессии у окон и у закрытых дверей лавок скапливалась толпа, в молчании взиравшая на этот впечатляющий спектакль, и лишь иногда из толпы слышались оскорбления в адрес приговоренных.

На месте, отведенном для аутодафе, был установлен большой эшафот, обычно выстроенный в форме латинского U: в центре находился алтарь, перед которым водружались штандарт, зеленый крест инквизиции и кафедра для проповеди. Там же устраивалась и часть черного и белого духовенства. Справа за инквизиторами и епископом сидели инквизиторский штат и представители властей (в Мадриде — члены различных советов); напротив них, с другой стороны трибуны, было отведено место для приговоренных, куда они поднимались по ступеням в сопровождении и при помощи «приближенных» и монахов, которые старались приободрить их. На самых высоких ступенях помещались те, кому предстояло умереть; ниже — те, кого ждали тюрьма или галеры; наконец, в самом низу были те, кто мог отделаться простым покаянием. Вокруг эшафота собиралась толпа пришедших поглазеть на зрелище.

Церемония начиналась с клятвы защищать католическую веру и Святую службу. Сначала ее произносили представители властей (в Мадриде — король и члены королевской семьи), а затем она повторялась

всеми присутствующими. Потом проповедник поднимался на кафедру, чтобы призвать виновных к покаянию, а присутствующих — извлечь урок из страшного примера. За этой проповедью, обычно очень долгой, следовало чтение, еще более долгое, мотивировки приговоров; многочисленные секретари инквизиции сменяли друг друга, чтобы последовательно вызвать каждого из приговоренных, напомнить о преступлениях, которые они совершили, и зачитать показания и признания, сделанные перед трибуналом. Это чтение продолжалось часами, и некоторые аутодафе, на которых было много осужденных, могли длиться с рассвета до заката. Наконец зачитывались приговоры: те, от которых Святая служба приняла раскаяние, «возвращались в лоно церкви», и на них налагались наказания различной степени тяжести: от обязательства носить в течение определенного времени *sambenito* до пожизненного заключения. Другие «отпускались» в распоряжение светского правосудия, что было равносильно смертному приговору. Но приговор не приводился в исполнение непосредственно на том месте, где проходила церемония. «Отпущенных» (*relajados*) с руками, привязанными к зеленым крестам, вели на костер, приготовленный на окраине города. Если в этот решающий момент они признавали свою вину и раскаивались в содеянном, то могли получить милость быть удушенными, прежде чем их тела будут преданы огню. Приходили многочисленные зрители, чтобы присутствовать при этом последнем эпизоде драмы, а некоторые даже приносили хворост, чтобы поддержать пламя.

Следует подчеркнуть, что аутодафе было достаточно редкой церемонией: их насчитывалось около тридцати в течение сорока четырех лет правления Филиппа IV (1621—1665), и больше всего их (восемь) состоялось в Севилье. Но своим зрелищным характером и отзвуком, который порождался ими в душах людей, они придавали жизни Испании того времени весьма своеобразный психологический оттенок. На жертве доноса, представавшей перед судом

инквизиции, оставалось несмываемое пятно, даже если этому человеку выносили оправдательный приговор; по более серьезным мотивам приговор, даже самый незначительный, например, ношение *sambenito*, навлекал вечный позор на виновного и его потомков. «Услышать из уст “приближенного” слова “Именем святой инквизиции...” — говорил Альварес де Кольменар, — означало, что в ту же минуту от человека отрекутся мать, отец, родственники и друзья, ибо не было такого, кто осмелился бы стать на его защиту — из страха, что подозрение в вопросе веры может пасть и на него»²⁷.

И все же угроза, висевшая над всеми, поскольку каждый мог оказаться жертвой клеветнического доноса, ничуть не уменьшала уважения и привязанности испанцев к учреждению, которое, защищая чистоту веры, казалось духовным стражем всей Испании.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ. ПРАЗДНИКИ И НАРОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1. Религиозные и светские праздники. — Танцы и маскарады. Карнавал. Шествия в праздник Тела Господня. — «Juegos de Canas» и коррида

2. Театр. Залы для спектаклей и публика. — Представления: «comedias» и «autos sacramentales». — Труппы странствующих артистов. — Социальное положение актеров и любовь к театру

1

«Самые серьезные и благоразумные народы, такие, как испанцы, становятся самыми безумными, когда предаются развлечениям», — утверждал Антуан де Брюнель. Французскому путешественнику вторит современный испанский историк: «Тот, кто захочет судить об Испании, и особенно о Мадриде, XVII века по их блестящей и радостной экспансивности, не может и помыслить, глядя на этот почти постоянно пребывающий в увеселениях народ, что он страдает от самых тяжелых общественных и личных бед, скорее он решит, что они купаются в изобилии и переживают период процветания, радости и счастья»¹.

Вероятно, это замечание стоит рассматривать главным образом применительно к столице, где присутствие королевского двора, как мы видели, увеличивало количество поводов для празднования и где простые люди участвовали, по крайней мере, в качестве зрителей, в развлечениях грандов. Но крупные города провинции — Барселона, Валенсия, Севилья — не отставали от Мадрида, и даже в менее значительных городах, в почти сельских поселках власти старались угодить вкусам толпы в том, что касалось всевозможных праздников.

Что угодно могло послужить поводом для праздника, и бывали годы, когда число выходных, включая воскресенье, превышало количество рабочих дней. К событиям национального масштаба (рождение или свадьба членов королевской семьи, визит короля в один из городов королевства) добавлялись важные даты религиозного календаря, как те, что отмечались всем христианским миром, так и связанные непосредственно с праздниками Испанской Церкви: перенесение мощей, освящение нового храма, канонизация испанских святых. Продолжительность празднеств, устраивавшихся в этих исключительных случаях, компенсировалась их редкостью: по поводу тройной канонизации — святого Игнатия Лойолы, святой Терезы и святого Франсиско-Хавьера — Мадрид ликовал весь конец июня 1622 года, и как только эти праздники закончились, сразу же начались торжества, устроенные в честь святого Педро д'Алькантара городом и монастырем босоногих францисканцев, покровителем которых он был.

Впрочем, было бы напрасным занятием проводить четкую границу между религиозными и светскими праздниками, поскольку, если не в своих истоках, то, по крайней мере, в своих церемониях они проявляли множество общих черт. Во время Тройной канонизации 1622 года не только пели «*Te Deum*» и проводили великолепные шествия, но и устроили поэтический турнир, представления комедий, рыцарские состязания и корриду. Именно во время этих праздников танцы и маскарады — самые люби-

мые публикой развлечения — зачастую соединялись с наиболее торжественными церемониями, отвечая, таким образом, разнообразным вкусам всех слоев населения.

Танец в Испании является, так сказать, национальной страстью. «Не найти испанки, которая не была бы танцовщицей с момента появления на свет из чрева матери», — писал Сервантес в одной из своих комедий². Танцевали все и всюду. При дворе и в аристократических салонах павана, бранль и аллеманда под звуки инструментов увлекали в размеренное и плавное движение сеньоров и знатных дам. Во время некоторых шествий профессиональные танцовщики и танцовщицы представляли на передвижных эстрадах нечто вроде аллегорического балета. Иногда танец переступал даже порог церкви и перед главным алтарем разворачивалось представление *танца шести* — быть может, как воспоминание о Давиде, танцевавшем перед ковчегом, — традиция которого и по сей день сохраняется в кафедральном соборе Севильи.

Но народные танцы не были похожи на «благородные»: оживленные, порой неистовые, они исполнялись под гитару, тамбурины и щелчки пальцами. Их страстная экспрессивность подчеркивалась песнями, которые сопровождали танец. «Как может оставаться порядочной женщина, — писал один моралист, — которая в этих дьявольских выкрутасах теряет всякую скромность и сдержанность, непосредственные спутники порядочности, в своих прыжках оголяя грудь, ноги и то, что по природе и по искусству должно оставаться всегда прикрытым? И что можно сказать об этих провоцирующих взглядах, об этой манере поворачивать голову и скидывать волосы, о шаге по кругу и об этих гримасах, которые обычно мы видим в сарабанде, *pohvillo* и тому подобных танцах?»³ И вправду дьявольские изобретения, если главный герой произведения Велеса де Гевары

«Храмой бес» хвалится, что создал на земле эти танцы, ведущие к гибели, среди которых, по словам современников, выделялись сарабанда и чакона.

Но проклятия теологов ничего не могли поделать с притягательностью народных танцев: их можно было увидеть в тавернах, на ярмарках и в злочных местах, они проникали на театральную сцену, в салонах составляли конкуренцию старинным танцам. «Забываются, — жаловался Лопе де Вега, — благородные инструменты, равно как и старинные танцы, на смену которым приходят похотливые жесты и движения чаконы, оскорбляющие добродетель, нравственную чистоту и безмолвное достоинство дам». Известный иезуит Марьяна, посвятивший этому танцу целую главу своего трактата о зрелищах, заявил даже, что «в некотором городе (вероятно, в Севилье) этот танец танцевали во время шествия по случаю праздника Тела Господня и даже в женских монастырях»⁴.

Любовь к маскарадам была свойственна всем классам общества, а в годы правления Филиппа IV королевские праздники давали повод для конных шествий, в которых король и придворные проезжали ночью по улицам столицы при свете факелов, от которых сверкали золото и серебро великолепных маскарадных костюмов, в которые были одеты всадники. Праздник Тела Господня (*Corpus Christi*) — самый популярный из всех религиозных праздников — привлекал толпу главным образом маскарадами, которые устраивались в честь этого дня практически во всех городах Испании. Впереди торжественной процессии, в которой шли приходские священники и представители духовных орденов и властей — в Мадриде король и члены всех советов, — сопровождавшие дароносицу со Святыми Дарами, двигалась группа людей в разноцветных костюмах. «Они танцевали, подпрыгивали, скакали и шутили, будто участвовали в карнавале», — писал Брюнель. За ними несли картонные статуи великанов и карликов с огромными головами, а те, кто их нес и скрывался под ними, заставляли их, тяжело пританцовыв-

вая, делать гротескные движения. Наконец, появлялась тараска, которую Брюнель описал как «змею на колесах, невероятно огромную, с телом, покрытым чешуей, с ужасным брюхом, широким хвостом, вызывающими ужас глазами и разверстой пастью, откуда выглядывали три языка и острые зубы. Это страшилище, которым пугали маленьких детей, двигалось, и те, кто скрывался под картоном и бумагой, из которых оно было сделано, так ловко приводили его в движение с помощью специальных механизмов, что умудрялись сорвать шляпу с головы зазевавшегося зрителя. Простые крестьяне очень боялись этого и если попадались на такую шутку, то становились посмешищем толпы»⁵.

Именно в период карнавала костюмы и маски особенно были в ходу. Потешные шествия переодетых людей, иногда наряжавшихся животными, проходили по улицам с песнями, танцами и традиционными шутками, многие из которых отличались дурным вкусом: с наступлением ночи натягивали веревку поперек дороги и кидали в толпу чем попало, порой какими-нибудь зловонными отбросами. В столице молодые отпрыски знатных семейств сделали этот обычай более утонченным, заменив тухлые яйца ракушками, наполненными духами, которые они кидали в кареты проезжавших дам. В Валенсии, где, как утверждал Бартелеми Жоли, «карнавал проходил так же безумно, как и в Риме», для бросания использовались апельсины, «потому что они так же дешевы, как каштаны во Франции».

Маскарадные состязания, «бои мавров и христиан», были весьма распространенными играми в Арагоне и районе испанского Леванта (Валенсия), где традиция их проведения жива и до сих пор. Это напоминание о вековой борьбе против неверных зачастую включало в игру всех жителей деревни или небольшого городка, еще задолго до дня состязаний готовивших декорации, костюмы для обеих противоборствующих сторон и «репетировавших» различные эпизоды баталий. Эстебанильо Гонсалес, проезжавший через маленькую деревушку накануне празд-

ника, писал: «Мы застаем на площади две группы крестьян, одни — мавры с арбалетами, другие — христиане с огнестрельным оружием. Они построили посреди площади деревянный замок средней величины, где должны находиться мавры; на следующий день, когда появится процессия, группа христиан должна будет взять его штурмом, и после триумфа над маврами провести пленных и закованных в цепи врагов по всем улицам, в ознаменование победы деля залпы из аркебуз»⁶.

• • •

Наряду с этими крестьянскими состязаниями существовали и другие, во время которых знатные сеньоры демонстрировали свою ловкость, мужество и великолепие на глазах у толпы — и конечно же дам. Обычай устраивать «французские» турниры, которые были очень популярны в последние века Средневековья, продержался в Испании до эпохи Карла V, а затем постепенно исчез, уступив место играм с дробиками (*juego de cañas*), которые ассоциировались со сценами старинных рыцарских турниров и представляли собой некую форму имитации боя так называемого «маврского рыцарства». Ристалище, на котором происходили эти действия, иногда сооружалось специально для этого и было огорожено деревянными помостами, покрытыми дорогими коврами; очень часто в ристалище превращали городскую площадь (в Мадриде, например, Плаза Майор), балконы которой служили богатым зрителям ложами.

Церемония начиналась представлением сражающихся. Они, выстроившись по четыре человека, иногда одетые на манер мавров или турков, держали в левой руке щит из дерева и кожи, окрашенной в цвет бойца или его дамы. Воины вступали на закрытое поле верхом на парадных лошадях с великолепной сбруей. Под звуки труб и барабанов они делали круг по ристалищу, демонстрировали показательный бой на шпагах, выстраиваясь при этом в форму карусели.

Затем их оруженосцы, одетые в ливреи, выводили боевых коней и передавали своим хозяевам короткие пики, которыми те пользовались в бою. Все отходили к краям ристалища и выстраивались в группы по три-четыре человека. По сигналу, который давал судья состязания, одна из групп бросалась в атаку: всадники пересекали арену галопом, бросая дротики в соперников, которые старались отразить их своими щитами, одновременно управляя лошадьёю так, чтобы избежать удара. Как только первая четверка покидала ристалище, ее сменяла следующая — бойцы выезжали с другой стороны, и игры продолжались без перерыва, пока все всадники с каждой стороны не принимали участие в борьбе. Генеральное сражение, в котором участвовали все эскадроны, завершало состязания, представлявшие собой, благодаря как ловкости и мастерству, требовавшихся от участников, так и великолепию костюмов, аристократическое и «спортивное» развлечение для участников и вместе с тем великолепное красочное зрелище для присутствовавших.

Как и состязания с дротиками, коррида тоже проводилась по самым торжественным случаям, и нередко случалось так, что в один и тот же день оба эти зрелища следовали одно за другим. Любовь к боям с быками объединяла все без исключения слои населения: папство, запретившее в 1575 году духовенству присутствовать на корриде, по крайней мере в дни религиозных праздников, несколькими годами позже было вынуждено, уважив настоятельную просьбу короля Испании, отказаться от своего решения, тем более что запрет и так не соблюдался. Коррида, которой уже в «*Партидах*», испанском своде законов, составленном в XIII веке, было посвящено несколько статей, превратилась в полном смысле этого слова в «национальный праздник». Король, муниципалитеты, братства, знатные сеньоры устраивали бои с быками; коррида включалась в программы самых больших праздников, как религиозных, так и светских; она устраивалась, как мы видели, в честь канонизации святой Терезы; в университетских городках ее

проводили, чтобы отпраздновать успехи студентов на экзаменах.

Однако бой с быками тогда не был, как стало позднее, «спортом», которым занимались профессионально люди довольно скромного происхождения, и если в нем и участвовали представители народа, то только в той части зрелища, которая считалась самой «презренной», поскольку коррида оставалась главным образом аристократической игрой, в которой благородный человек должен был показать не только свою ловкость, как в играх с дротиками, но и свою храбрость.

Не существовало специально отведенных для корриды мест (первое появилось лишь в XVIII веке). Действие праздника разворачивалось на главной площади города, на которой были перекрыты выходы и сооружены трибуны для публики. В Мадриде Плаза Майор являлась исключительно подходящим для этого местом и никогда она не казалась столь блестящей, как в дни корриды. «На площади собирается весь бомонд Мадрида, располагаясь на балконах, украшенных разноцветной драпировкой, — писал Брюнель. — У каждого советника свой балкон, обитый бархатом и камчатым полотном его любимого цвета и украшенный гербом. Позолоченный балкон короля закрыт балдахином. Королева и инфанты сидят рядом с ним. Справа от королевского находится другой большой балкон, где размещаются придворные дамы». Простая публика теснилась на помостах, сооруженных между столбов крытых галерей, окружавших площадь, и «хотя эти праздники были обычным делом — в Мадриде они проводились по три-четыре ежегодно, — нельзя было найти горожанина, который не хотел бы увидеть это зрелище всякий раз, как оно происходило, и если у него не было денег, он скорее заложил бы мебель, чем пропустил хоть одно представление»⁷.

Как и состязания с дротиками, праздник начинался представлением участников — дворян, одетых в короткие черные плащи, с кинжалами и шпагами на боку, в шляпах, украшенных разноцветными перья-

ми; они приветствовали короля или представителей местных властей; при этом их обычно сопровождала свита из оруженосцев и ливрейных лакеев, число которых отражало социальный статус участника. После этого «круга почета» альгвасилы, в обязанности которых входило поддержание порядка во время представления, давали сигнал выпустить быков и отступали в проходы арены, чтобы предоставить свободу *тореадорам*⁸ — рыцарям, которые верхом на специально обученных лошадях бросались в бой с быком. Требовалось воткнуть деревянное копьё с железным наконечником (*rejon*) в шею быка так, чтобы древко сломалось и другой конец остался в руках у всадника. Поскольку копьё было коротким (восемь ладоней, то есть чуть больше метра), тореадор должен был подъехать вплотную к быку, который бросался на него, уклониться от его удара и одновременно наклониться так, чтобы самому нанести удар, что требовало от седока одновременно умения превосходно управлять лошастью и незаурядной ловкости. Успех определялся, согласно правилам, количеством копий, сломанных каждым участником корриды.

Если тореадор позволил животному «оскорбить» себя, например, не сумел воткнуть копьё в его шею, или бык опрокинул лошадь, или же выбил тореадора из седла, то участник корриды обязан был отомстить за себя, самолично убив животное ударом шпаги. Он мог прикончить быка сидя в седле или спешившись, но никто не должен был помогать ему. Обязательство не оставить безнаказанным полученное «оскорбление» — показатель рыцарского характера, свойственного корриде. Оно было неразрывно связано с желанием дворян продемонстрировать своим дамам собственное геройство, поскольку, по словам мадам д'Ольнуа, «они рискуют обычно для того, чтобы им понравиться и показать, что нет такой опасности, которой они не могли бы подвергнуть себя, чтобы доставить дамам удовольствие».

Кроме особых случаев, когда всадник должен был отомстить за свою оскорбленную честь, благородная часть праздника завершалась без убийства. Когда

было видно, что бык измотан, трубы возвещали о том, что настал черед завершающей части боя. Кавалеры оставляли арену, предоставляя другим добить животное. Эту обязанность выполняли *peons*, роль которых до тех пор ограничивалась тем, что они утомляли животное, «работая» плащом и втыкая в него бандерильи. Сначала они лишали быка способности двигаться, перебивая ему коленные суставы тесками или используя клинки в форме полумесяца, и вскоре то, что только что было битвой, становилось бойней. «Как только несчастное животное начинает шататься или спотыкаться, — писал Брюнель, — оно тут же попадает под град ударов длинными шпагами и саблями. Испанцы называют это *cuchilladas*. Тут-то простой народ и может удовлетворить свою страсть к кровавым зрелищам. Те, у кого есть возможность прорваться на арену, просто перестанут себя уважать, если не окунут свой клинок в бычью кровь»⁹. Однако до самого последнего момента бык еще совершает страшные скачки, и ни одна хорошая коррида не обходилась без жертв — либо со стороны слишком бесстрашных всадников, либо, что случилось чаще, со стороны профессиональных *peons* и любителей, которые устремлялись на арену, чтобы принять участие в финальной травле. Но все это было в порядке вещей, тем более что количество быков, которое превышало порой два десятка на один бой, было гораздо больше, чем на сегодняшней корриде. «Быки были очень хорошие. Они убили пять или шесть человек и еще многих ранили», — читаем мы в «Донесении» Луиса де Кабрера, в котором рассказывается о корриде, проходившей на Плаза Майор.

Если в Мадриде и других крупных городах рыцарская часть боя с быками составляла основу зрелища, то на корридах, которые устраивались муниципальными властями небольших городов и даже в деревнях, преобладал «плебейский» элемент с привлечением местных «любителей» и профессиональных *matadores* (убийц быков), которые нанимались за деньги к организаторам корриды. Они противостояли быку пешими, и именно они, а не блистательные

всадники, выступавшие на конной корриде или в боях со шпагами, стояли у истоков последующей эволюции искусства корриды.

2

Театр, занимавший столь важное место в духовной жизни золотого века, интересуется нас как жанр драматургии лишь в той мере, в какой испанская комедия представляет собой памятник той эпохи, рассказывающий нам об обществе и еще больше об идеалах и устремлениях испанской души. Учитывая то обстоятельство, что театр как зрелище вызывал жгучий интерес у всех классов общества, мы можем рассматривать его в ряду развлечений, которые играли очень важную роль в жизни общества.

С точки зрения своего устройства театры тогда были весьма примитивными; их называли *corral* (двор), и это название как нельзя лучше подходило большинству из них¹⁰. Лишь в единичных случаях в нескольких городах (Гранаде, Севилье, позже в Валенсии) были построены здания, специально оборудованные для театральных представлений. Обычно же ограничивались несколькими постройками из дерева на городской площади или даже просто пространством, отделенным двумя рядами домов. Так были устроены два мадридских *corrales* — «Государь» и «Крест», внутреннее расположение которых было таким же, как в большинстве театров того времени: они представляли собой вытянутый прямоугольник, один конец которого был предназначен для сцены, а второй — для женской публики; он назывался *cazuela* (бельэтаж или галерка). Стены домов, окна которых выходили на двор, служили ложами; под ними был деревянный балкон (*apoyento*), предназначенный для знатной публики. Что касается партера, то он состоял всего лишь из нескольких скамеек, расположенных поблизости от сцены. Остальное пространство было предназначено для зрителей, которые следили за развитием спектакля

стоя. Крыша была только над сценой, галеркой и боковыми балконами. Партер был защищен от солнца лишь тентом, натянутым между стоящими напротив друг друга домами, и в случае сильного дождя представление прерывали.

Но этот дискомфорт не уменьшал театральную лихорадку, охватившую испанцев. В Мадриде, где в каждом театре ежедневно давались представления, актеры обычно играли перед переполненными залами. Поскольку только самые дорогие места (ложи, балкон) могли быть забронированы заранее, публика толпилась у дверей театра задолго до начала спектакля. Представление начиналось, в зависимости от времени года, между двумя и четырьмя часами, но вход открывали в полдень, и «билетерам» стоило немалого труда направить беспорядочный поток, хлынувший в театр, чтобы получить деньги за места. Многие хотели прорваться, не заплатив, ссылаясь на свою государственную должность, социальный статус или на то, что они литераторы (привилегия присутствовать на спектакле бесплатно была признана за авторами-драматургами, которые могли таким образом видеть произведения своих коллег по перу), или же пользуясь дружескими отношениями с кем-нибудь из актеров или актрис. Таким образом, не платить за место в театре сделалось чем-то в роде свидетельства социальной значимости, и в 1621 году правительство вынуждено было издать Регламент, регулировавший порядок посещения театральных представлений, одна из статей которого гласила, что «все альгвасилы и королевские служащие должны платить во избежание того, что происходит сейчас, поскольку они не только не платят сами, но и приводят с собой двух-трех человек, которых тоже проводят бесплатно». В другой статье билетерам предписывалось носить камзолы из буйволовой кожи (какие носили солдаты), чтобы обеспечить личную безопасность, поскольку они «подвергались риску, заставляя платить входящих»; предусматривалось также, чтобы служащие полиции (*alguaciles*) в случае необходимости приходили им на помощь¹¹.

Суматоха не стихала и за дверями, поскольку в театре не было ни билетов, ни нумерованных мест и весьма часты были ссоры из-за возможности смотреть сидя; некоторые из них заканчивались трагически. «Вчера, — читаем в *“Донесениях”* Пеллисе, датированных 29 декабря 1643 года, — Дон Пабло де Эспиноза в споре за место в партере на представлении комедии убил человека по имени Диего Абарка, а сам убийца был ранен так тяжело, что находится в безнадежном состоянии». Когда все устраивались более или менее удобно, оставалось лишь ждать, иногда два-три часа, начала спектакля, и публика, чтобы скоротать время, ела и пила, благо в каждом театре торговали вразнос, отпуская при этом весьма фривольные шутки в адрес женщин, толпившихся на галерке, которые отвечали, не залезая в карман за словом, вдобавок к этому бросая косточки, скорлупу и другие предметы в зритель партера.

Среди последних особенно опасную категорию представляли «мушкетеры»: речь идет не о военных, а о простых людях, которые считали себя большими знатоками театра; их аплодисменты или свист зачастую решали судьбу нового спектакля. «Там сидят, — пишет Берто, — сплошь торгаши и ремесленники, которые, бросив свои лавки, приходят сюда в плаще, со шпагой и кинжалом на боку, называя себя “кабальеро” — все, вплоть до последнего сапожника, и именно они решают, хороша комедия или нет...» И действительно, сапожники, позабыв сакраментальное *«Суди, дружок, не выше сапога...»*, не довольствовались суждением о котурнах, а играли, по крайней мере в Мадриде, в этой «клаке» столь важную роль, что драматурги порой старались заранее заручиться их поддержкой перед «премьерой» своей пьесы. «Мне рассказывали, — пишет Берто, — что некий автор пошел к одному из этих “мушкетеров” и предложил ему сто реалов, чтобы он выразил свою благосклонность к его произведению, но тот высокомерно ответил ему, что еще посмотрит, хороша или плоха его пьеса, и она была освистана»¹².

После музыкальной прелюдии спектакль начи-

нался восхвалением (*loa*), своего рода прологом, имевшим целью представить пьесу в целом и обеспечить ей благосклонность публики, прежде всего особенно опасных «мушкетеров». Иногда сам «автор» (в том значении, которое вкладывали в это слово в ту эпоху — то есть руководитель труппы) брал на себя чтение *loa*, но обычно предпочитали поручать это самому популярному актеру или тому из них, кто был способен своим голосом, талантом или остроумием сорвать аплодисменты аудитории.

Сам спектакль состоял всегда из *comedia* — то есть драматического произведения трагического или трагикомического характера, или комедии в современном понимании этого слова, — разделенной на три акта или «дня», между которыми вставлялись так называемые «легкие блюда» — незатейливые интермедии, сатирические или комические, контрастировавшие с основным произведением. Идеализированным персонажам такой *comedia* и их порой сверхчеловеческим чувствам они противопоставляли в живых сценках типы людей, взятые из повседневной жизни — идадьго, нищие, солдаты, дуэньи — с их странностями, пороками и страстями. «Легкие блюда» обычно носили оттенок фарса. Иногда они включали в себя элементы танца и песен и часто заканчивались, как представления Гиньоля, избиением несимпатичных персонажей. «Дело кончилось палкой, как “легкое блюдо” в театре», — гласит испанская поговорка. Публике очень нравились эти сценки, и вероятно для большинства зрителей эта часть представления казалась наиболее привлекательной.

Еще более странным образом «легкие блюда» соотносились с представлениями *autos sacramentales*, которые устраивались на улицах и площадях города в день праздника Тела Господня. Беря свое начало, вероятно, в литургических драмах, представлявших в церквях, *autos* приобрели в XVI веке свою собственную форму, по мере того, как становилось все более явственным их религиозное значение в рамках развития Контрреформации¹³. В пике протестантизму, отрицавшему присутствие Христа в про-

свире, в них утверждались и прославлялись таинство Святого причастия и его искупительная сила. Поэтому праздник Тела Господня — *Corpus Christi* — стал одновременно и самым торжественным и самым веселым религиозным празднеством. Утром проходила, как мы уже видели, в сопровождении ряженых, великанов и тараски процессия с несением Святых Даров; после полудня начинались представления *autos*, подготовка которых, вверявшаяся муниципальным властям (в Мадриде — специальной комиссии, председателем которой был Советник Кастилии), длилась несколько недель, а иногда и месяцев. Сначала надо было подписать контракт с автором или авторами-драматургами, которым заказывали текст, и заручиться согласием театральных трупп, которым предстояло играть эти спектакли, что было достаточно легко, поскольку в течение недели этого празднования всякая иная театральная деятельность запрещалась; важнее было подготовить все необходимое для спектакля, в частности, костюмы актеров, декорации и телеги для их перевозки. Все было самое красивое, самое дорогое, чтобы придать *autos* блеск, достойный их духовной функции: контракт, заключенный мадридским муниципалитетом с импресарио одной из трупп оговаривал, что костюмы должны быть «из бархата, тафты, камчатого полотна, атласа и парчи, с оборками и тесьмой из шелка и золота»¹⁴. Для того чтобы нарисовать и сделать декорации, прибегали к услугам лучших ремесленников и самых именитых художников. Иногда — например, в Севилье в 1575 году — муниципальные власти объявляли конкурс на лучшую повозку, декорации и танцы, учреждая призы для тех, чьи работы будут приняты¹⁵.

Для того чтобы перевозить декорации, в то время достаточно примитивные, и сооружать сцену сначала хватало одной-двух телег. Но в первой половине XVII века по мере того как прогрессировало искусство театральных постановок, их число стало увеличиваться. Теперь нужно было не менее пяти телег, чтобы «везти» некоторые *autos* Кальдерона; кроме того,

передвижные эстрады использовались для монтажа сцены и создания протяженной «платформы», длина которой порой достигала двадцати метров; на ней устанавливались все более сложные декорации. Часто они монтировались в несколько этажей, которые изображали небо, землю, ад; и механизмы, тогда еще примитивные, позволяли создавать некоторые «зрительные эффекты» — появление небесных духов и сцены ада, бури, — относительно которых мы находим в текстах отдельных *autos* Кальдерона и других авторов-драматургов уточняющие ремарки: «Слышится страшный шум цепей и грохот, как будто рушится дом». — «Скала приоткрывается, и виден Идолин с огненной шпагой в руке». — «Раздаются звуки труб и барабанов; выходят Демон, Идолопоклонство и большое число солдат — причем самым эффектным образом»¹⁶.

В Мадриде премьеры каждого из *autos*, подготовленных ко дню Тела Господня, давали в первую очередь перед королем, причем каждая театральная труппа должна была представить один или два спектакля. В сопровождении своих веселых кортежей из великанов и танцовщиков, повозки, в которые запрягались быки с золочеными рогами, украшенными цветами шеями и спинами, покрытыми дорогами попонами, прибывали, чтобы занять свое место перед королевским дворцом Алькасаром, где напротив мест, предназначенных для правителя и придворных, сооружалась сцена. По завершении спектакля повозки направлялись к дому президента Совета Кастилии, второго по важности человека в государстве, а затем к домам президентов других Советов и некоторых знатных сеньоров. Но зависть и споры по поводу старшинства, определявшего оказание этой исключительной чести, вынудили Филиппа IV сократить количество частных представлений до двух: одно — для короля и его двора, другое — для президента Кастилии. Потом в различных местах города начинались представления, предназначенные специально для широкой публики, которая стояла толпой и смотрела.

В других городах королевства «премьеры» устраивались перед коррехидором, представителем королевской власти, и перед муниципальными властями. Некоторые муниципалитеты — в Толедо, Валенсии и особенно в Севилье — соперничали со столицей в том, что касалось блеска не только *autos*, но и всех аспектов праздника Тела Господня. Хлопотам по подготовке маскарада, который сопровождал шествие, придавалось не меньше значения, чем постановке самих сакральных драм: чтобы обеспечить костюмы великанов, Мадрид потратил в 1628 году немалую сумму в 12 тысяч реалов; в Севилье капитул кафедрального собора выделил 8 тысяч реалов на постановку «танца крестьян и кавалеров; один танец был салонный, для приемов (*sarao*), с новыми парадными костюмами, а другой — народный, с участием примерно двадцати человек»¹⁷.

Смесь религиозного и мирского, которая характеризовала все стороны праздника Тела Господня (включая *autos*, драматические события которого происходили в рамках одного дня, но всегда сопровождалась веселыми «антрактами»), не только удивляла, но и порой шокировала иностранцев. Брюнель объяснял это необходимостью «приправить то, что есть занудного в серьезности пьесы». Но это объяснение — к тому же из уст протестанта, для которого все эти церемонии не больше чем «фарс», — не учитывает изначального смысла праздника в его различных аспектах. Прославление и поклонение евхаристии, которой посвящены шествие и *autos*, сопровождалась необузданной радостью по поводу Искупления, которое человек вкушал через просвиру, и та же самая публика, которая радовалась и аплодировала, когда проходили тараска и великаны — символы греха и демонов, побежденных крестом, — была затем призвана с наставительной целью на постановку священной драмы, которая в аллегорической форме напоминает о фундаментальных догмах католической религии.

Тем не менее трудно поверить, что эта публика, за исключением священников и ученых людей, была

действительно способна понимать смысл теологических дискуссий, порой весьма сложных, которые вели персонажи пьес. Самое большее, они могли уловить мимоходом несколько слов, напоминающих им догматические понятия, составлявшие общее достояние всех верующих; и все же, при отсутствии понимания, которое не облегчалось постоянным использованием символов и аллегорий, образы, ожившие благодаря актерам, воплощавшим Бога, Сатану, Веру, Ересь, давали публике возможность почувствовать суть спора, ставкой в котором была душа и в котором, благодаря Святому причастию и Кресту, человек мог выйти победителем¹⁸.

Но очевидно, что зрелищный и развлекательный аспекты праздника Тела Господня постепенно брали верх над размышлениями об основах веры. Если муниципалитет Мадрида тратил огромные деньги на костюмы великанов, то это делалось, по его собственному признанию, потому, «что их танец был самым блестящим и радовал публику»; по тем же причинам тараска становилась самым главным персонажем процессии и «конкурировала» со Святым причастием. И если танцы, исполнявшиеся комедиантами и профессиональными танцовщиками во время шествия или после *autos*, сохраняли аллегорический характер, то были и другие, — те, что поставил, например, капитул кафедрального собора Севильи, — которые не имели никакого отношения к таинствам причастия. Раздавались праведные голоса, сожалевшие о таком положении дел, которое власти королевства не раз пытались изменить. Только в 1699 году королевский указ запретил танцы в день Тела Господня; выполнялся он, похоже, довольно плохо, поскольку не только простые люди, но и часть духовенства из уважения к традиции сохраняла свою привязанность к тараске и великанам, которые еще и в XVIII веке обеспечивали в Севилье и других городах притягательность праздника Тела Господня.

Любовь к театру не была исключительной привилегией городов, в которых могли существовать одна

или несколько актерских трупп. В некоторых маленьких поселках тоже был «*corral*» (театр), где любители устраивали представления, иногда нанимая профессионального актера для того, чтобы он руководил постановкой. Но главным образом передвижные актерские труппы (*comicos de la legua*) давали небольшим городкам возможность увидеть представления «комедий святых» и *autos sacramentales*, которые составляли основную часть их репертуара¹⁹. Яркая, полная приключений, хотя часто и жалкая жизнь бродячих артистов была воспета Аугустином де Рохасом в его «*Увлекательном путешествии*», которое вдохновило Скаррона на написание «*Комического романа*». Трясаясь в своих повозках, где вперемешку лежали костюмы, декорации, аксессуары и сами актеры, труппы ездили по разным городам, не пренебрегая остановками в каких-нибудь деревнях, где, как они считали, имело смысл остановиться. Чтобы сэкономить время между двумя представлениями, актеры часто не снимали грим и оставались в своих сценических костюмах. Поэтому Дон Кихот встретил однажды на своем пути «повозку, на которой были самые разные и самые странные персонажи, которые только можно себе вообразить»: тот, кто правил мулами и служил кучером, был «злым демоном», а в открытой повозке находилась «сама Смерть в человеческом обличье», рядом с которой сидели ангел с большими крашеными крыльями и император, у которого на голове была корона, казавшаяся золотой; у их ног сидел «Бог, которого называли Купидон, без повязки на глазах, но с луком, колчаном и стрелами...». Храброму рыцарю, который, предчувствуя великое приключение, хотел остановить эту «лодку Харона», кучер-дьявол объяснил: «Сеньор, мы артисты труппы Ангуло эль Мало; мы давали сегодня утром (восьмым утром праздника Тела Господня) представление в одной деревне, которая находится на другой стороне этого холма, *auto* “*Двор Смерти*”, и мы должны будем снова играть его сегодня в полдень в другой деревне, которую вы здесь видите; поскольку расстояние малень-

кое, чтобы не переодеваться лишний раз, мы отправились в путь прямо в тех костюмах, в которых играем спектакль»²⁰.

Интерес, который вызывал к себе театр, в различных формах проявлялся в том, какое место он занимал в нравственных устремлениях испанцев, и в той оживленной полемике, которую он пробуждал. Противники театра ставили ему в упрек не столько смесь серьезного и гротескного в самом спектакле, сколько тот распутный образ жизни, который вели некоторые актеры и актрисы, изображавшие на сцене святых и Деву Марию в *autos* и других религиозных драмах; комедии интриг, разжигавшие людские страсти, представляли собой прежде всего школу безнравственности. Потому-то Церковь и относилась столь сурово к актерам, которым она отказывала в причастии — парадоксальная позиция, поскольку именно актерам принадлежала честь наставлять верующих своими спектаклями *autos sacramentales*, и, сверх того, прибыль от коммерческой деятельности театра большей частью расходовалась на религиозные или благотворительные цели. Обычно религиозные братства и приюты были собственниками или концессионерами театров, находившихся в крупных городах, и отдавали театральную труппу внаем импресарию. Поэтому, когда король Филипп IV в 1646 году вследствие политических и военных катаклизмов, изнузивших Испанию, решил запретить все спектакли, включая *autos*, «чтобы не оскорблять Бога и не давать оружия в руки наших врагов», братства и приюты, лишенные своих источников прибыли, подняли волну протеста против этой меры, результаты которой стали сказываться через пять лет.

Эта «театральная распря», породившая множество произведений²¹, в течение всего века не переставала питать беседы и дискуссии между сторонниками и противниками театрального искусства. «Что вы думаете о пьесах?» — спрашивает один из персонажей

«Гиды для иностранцев» у своего собеседника. «Этой темы, — отвечает тот, — лучше не касаться, ибо точки зрения не только людей двора, но и более сведущих в этом вопросе настолько расходятся, что говорить что-либо против театра — значит вызвать ненависть у окружающих, но благосклонно относиться к театру означает выказать себя человеком, не обладающим здравым смыслом». И автор, полностью признавая, что Испания произвела на свет «порядочные, даже образцовые пьесы», сожалеет, что они превратились для испанцев в нечто обыденное; было бы достаточно, полагал он, чтобы спектакли устраивались только в праздничные и выходные дни, но вошло в привычку давать представления каждый день, и эта привычка у испанцев, как бывает у народов, слишком сильно привязанных к своим традициям, приобрела силу закона, и «теперь уже невозможно положить конец этому злоупотреблению»²².

Эта привязанность Испании к своему театру объясняется, конечно, любовью к развлечениям, но также и некоторыми более глубокими причинами: в самых значительных пьесах, постановки по которым испанцы видели, они находили чрезмерно преувеличенное, что было свойственно испанскому характеру, выражение чувства чести, необузданного пристрастия к небесным и земным делам, наконец, ту смесь идеализма и реализма, которая составляет сущность национального темперамента.

ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ. ЖЕНЩИНА И СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Условия жизни женщины и их противоречивость. — Дом. Прислуга. Трапеза и кухня. — Женское воспитание. Ученые женщины. Туалеты и женская мода. Выезд в свет: «tarado» и кареты

«Где простота, скромность и женская добродетель? Где то время, когда женщины не добывали себе славу, как сегодня, бесстыдно рисуясь на публике? Куда исчез добропорядочный, уединенный образ жизни, который вели юные девушки, укрытые от посторонних глаз до самого дня их помолвки, так что порой даже близкие родственники едва ли знали об их существовании? А нынче все наоборот, одни только развлечения: манто на плечи и частые выходы в свет; больше скромности и даже осмотрительности — для женщин в возрасте; едва только девушка выходит из возраста ребенка, она тут же попадает в общество замужних женщин, и даже маленькие девочки участвуют в их беседе...»¹

Стоит ли с учетом этого верить, что между XVI и XVII веками происходят глубокие изменения в жизни и нравах женщин, и отвергать свидетельства о существовании «театра чести», который представлял

на сцене настолько добродетельных и безупречных женщин и молодых девушек, что любое подозрение, которое могло их коснуться, заслуживало смерти? Это кажется тем более невероятным, что с XVI века не один путешественник выражал свое удивление относительно дерзкого поведения испанских женщин. «Они пользуются большой свободой, — писал в 1595 году один итальянский священник, — и ходят по улицам и днем и ночью, совершенно как мужчины; они легко заводят беседу и остры на язык; но они держат себя настолько вольно, что иногда это переходит границы скромности и порядочности. Они заговаривают со всеми на улице, независимо от общественного положения человека, к которому обратились, требуя угостить легкой закуской, обедом, фруктами, лакомствами, оплатить ей места в театре и другие вещи подобного рода»².

Впрочем, не будем забывать, что в театре, кроме «комедий чести», играли также комедии интриг, основой действия которых часто были любовные страсти. В них показывались уловки, на которые шли женщины или юные девушки, чтобы ускользнуть от бдительного надзора, добровольные похищения и увозы — случаи, которые в изобилии можно было встретить и в *novelas* (романтических «новеллах») Сервантеса и его современников. Что касается сатирической литературы, то она находила неисчерпаемый источник не только в историях о женской неверности, но также в потворстве мужей, которое, по словам Кеведо, «получило широкое распространение, особенно в Мадриде». Тем не менее мы читаем в «отделе происшествий» (*noticias*) Мадрида от 18 апреля 1637 года следующую подлинную информацию, настоящий сюжет кальдероновской драмы: «В Великий четверг Мигель Перес де лас Навас, королевский нотариус, дождавшись, когда его жена исповедуется и причастится, взял на себя роль палача и, попросив у нее прощения, задушил ее в собственном доме, и это по одному только подозрению в адюльтере»³.

Вероятно, эти противоречия можно объяснить большим разнообразием источников и свиде-

тельств. Сатирики, как и моралисты, по разным причинам считали своим долгом очернять действительность, которую «комедии чести», в свою очередь, старались идеализировать. Что касается иностранных путешественников, почти в один голос сообщавших о вызывающей дерзости испанок, то их свидетельства относились лишь к тем женщинам, которые часто выходили на прогулку и бывали в шумных местах, чтобы их заметили; иноземцы ведь не знали о женщинах, хранивших семейный очаг, воплощая собой идеал «совершенной супруги», портрет которой нарисовал Фрей Луис де Леон⁴.

Какое бы значение ни придавать этому объяснению, оно не может в полной мере отразить два противопоставленных образа, нашедших отражение в литературе и прочих источниках. Это несоответствие большей частью обязано своим возникновением внутреннему противоречию, свойственному самому положению испанской женщины.

Вне всякого сомнения, наследие арабской Испании еще проявлялось в виде заточения, которое, по крайней мере в городе и в «приличном обществе», навязывалось женщине, выходявшей из дома только по случаю редких визитов или для исполнения своих религиозных обязанностей. О такой женщине говорили: «полумонашка, полуодалиска». Но с другой стороны, темперамент женщины делал ее особенно чувствительной к знакам внимания со стороны мужчин, но эта благосклонность к речам кавалеров, пусть даже самых настойчивых, необязательно влекла за собой желание женщины нарушить супружескую верность. Мадам д'Ольнуа, чьи заметки о женской психологии заслуживают большего доверия, чем изложенные ею факты, вкладывает в уста маркизы д'Альканьисас, «одной из самых знатных и добродетельных дам двора», весьма правдоподобную речь: «Признаюсь, что, если бы какой-нибудь кавалер был со мной наедине полчаса и не попросил бы меня обо всем, о чем можно попросить, я обозлилась бы до того, что, будь у меня такая возможность, заколола бы его кинжалом. — И вы бы в полной мере оказали ему

благосклонность, о которой он попросил бы вас? — Это необязательно, — сказала мадам д'Альканьясас, — я даже полагаю, что он вообще ничего не дождался бы от меня, но, по крайней мере, мне было бы не в чем упрекнуть его, а если бы он не стал помогать меня, я приняла бы это за выражение пренебрежительного отношения ко мне». «И, — заключала мадам д'Ольнуа, — не было ни одной женщины, которая не испытывала того же чувства»⁵.

Подобные чувства объясняют, почему даже женщина, которая обычно вела достаточно замкнутый образ жизни хранительницы семейного очага, могла попытаться в полной мере воспользоваться и даже злоупотребить отвоєванными моментами свободы и предпочесть, пусть даже случайно, манеру поведения, больше свойственную женщинам другого круга. Вызывающая смелость, которую они демонстрировали, казалась компенсацией за привычку жить в строгости, но такое поведение оправдывало и чрезмерное недоверие мужей к своим женам (а иногда и постоянных любовников к своим возлюбленным). Именно это подметили двое французских путешественников, нарисовавших самую яркую картину жизни Испании эпохи правления Филиппа IV. «Мужья, желавшие, чтобы их жены вели добродетельный образ жизни, были столь деспотичны, что обращались с ними, как с рабынями, опасаясь, что, обрета свободу, они забудут законы целомудрия, которые представительницы прекрасного пола и без того плохо знали и не придавали им особого значения», — писал Брюнель. А советник Берто, со своей стороны, замечал: «Мужчины держат своих жен взаперти и не могут понять того, что наши французские дамы, как они слышали, свободно общаются с представителями сильного пола и это не приносит никакого вреда»⁶.

Однако следует с большой осторожностью судить о степени важности этих двух противоположных, а порой и взаимодополняющих аспектов жизни женщины, учитывая количество документов, касающихся каждого из них. Если мы находим большое число

свидетельств о жизни женщин, стоявших на крайних ступенях социальной лестницы, — знатных дам, с одной стороны, и куртизанок и проституток — с другой, то домашняя и семейная жизнь «средних классов» оставила лишь слабый след в литературе и упоминалась в основном тогда, когда речь шла о нарушении установленного порядка.

Едва ли можно сказать что-либо определенное о жизни девушки до замужества. Видимо, она находилась под строгим и ревностным наблюдением родителей, выходила из дома лишь для того, чтобы пойти, причем всегда в сопровождении, в приходскую церковь, мечтая о *caballero*, которого там мельком видела, и находя порой среди женской прислуги сообщницу, помогавшую ей обмениваться с ним нежными записками. Но разве чувства девушки принимались в расчет, когда ее выдавали замуж? Похоже, что в большинстве случаев свадьба устраивалась родителями, и юная девушка из-под опеки отца сразу же попадала под опеку мужа. Если же случалось, что брачный союз создавался не по банальным причинам «необходимости» и невеста влюблялась в человека, который должен был стать ее супругом, то она могла до свадьбы наслаждаться всеми прелестями галантных испанских ухаживаний. Заботясь лишь о том, как выразить любовь своей девушке, сопровождая ее во время всех выездов, не терпя присутствия рядом с ней никого другого, жених подчинялся ее воле, как самый послушный любовник, и не мог отказать себе в удовольствии исполнить любой ее каприз. Это было счастливое время, конец которому приходил со свадьбой, поскольку женщина переставала быть тем кумиром, каким была прежде, и превращалась в мать своих детей и хранительницу домашнего очага.

О том, что представлял собой «интерьер» испанского среднего класса, можно отыскать лишь скудные сведения у писателей *costumbristas* (описывавших быт и нравы); кроме того, завещания и перечни

выморочного имущества, в большом количестве дошедшие до нас от той эпохи, позволяют детализировать картину семейной жизни.

Поскольку многоквартирные дома, даже в крупных городах, были большой редкостью, семья обычно занимала целый дом — скромный или роскошный. В Андалусии и части испанского Леванта здания сохраняли «арабскую» планировку (на самом деле, римского происхождения) прямоугольной формы с внутренним двориком, засаженным цветами и другими растениями, посреди которого иногда сооружали фонтан; окна всех комнат первого этажа выходили в этот дворик, и если в доме был еще один этаж, то его снабжали длинным балконом, через который можно было попасть в другие комнаты. В некоторых областях Испании обычный дом обязательно имел вестибюль, или *zaguan*, комнату с низким потолком и полом, представлявшим собой утрамбованную землю или мостовую, свет в которую попадал лишь через дверь. Именно здесь протекала повседневная жизнь людей со скромным достатком, поскольку альковы, выходившие в *zaguan*, были совершенно темными и служили исключительно спальнями. В домах представителей буржуазии в этих вестибюлях стояла красивая мебель, а полы выстилались плиткой. В одном из углов была лестница, ведущая на второй этаж, где находились комнаты, в которых жили в холодное время года, поскольку в большей части Испании существовал обычай проводить жаркие месяцы года в комнатах первого этажа, прохладу в которых поддерживали, поливая плиточный пол. Стены вестибюля, как, впрочем, и всех остальных комнат, обычно белили и зачастую покрывали циновками из тростника или дрока, «чтобы, — говорила мадам д'Ольнуа, — холодные стены не создавали неудобства тому, кто к ним прислоняется».

На втором этаже была прихожая, расположенная около лестницы, где слуги принимали посетителей; затем следовала черед *estrados* (гостиных), расположенных в форме анфилады, число которых определялось не столько количеством членов семьи, сколь-

ко ее социальным положением. Иконы, зеркала, ковры украшали стены. Пол, почти всегда выложенный плиткой, устилался ковром, который спасал от холода в зимние месяцы. В самых богатых домах имелась парадная гостиная (*estrado de cumplimiento*), где проходили торжественные приемы. Обычно она располагалась в центре, и ее окна выходили на балкон из кованого железа, украшенный по углам медными шарами. Именно в этой комнате хозяин демонстрировал роскошь своего дома: картины (почти все на религиозную тематику), тяжелые сундуки из резного дерева, легкие бюро с выдвигаемыми ящичками (*barguenos*), иногда инкрустированные перламутром и слоновой костью, буфеты и этажерки, на которых стояла посуда из серебра и вермеля. Очень часто деревянный барьер делил эту гостиную на две части: с одной стороны находился настил (*tarima*), обитый бархатом, атласом или шелком, на котором лежали подушки и где располагались, усаживаясь на манер мавров, хозяйка дома, ее дочери и приглашенные женщины, тогда как другая часть была предназначена для мужчин, которые сидели на стульях или табуретах. Обогрев обеспечивался большими металлическими жаровнями в деревянной раме, где жгли косточки от оливок, которые издавали едва ощутимый запах. Свет шел от масляных ламп или от медных или серебряных канделябров.

Тяга к показной роскоши, свойственная той эпохе, и соперничество женщин в богатстве нарядов вводили многих людей со скромным достатком в непосильные для них расходы, когда они пытались соревноваться с богачами в украшении своих гостиных. «Самая обыкновенная женщина, — писал современник, — не станет довольствоваться одной гостиной с турецкими коврами и бархатными подушками: ей нужно минимум три, одна красивее другой, с очагами и этажерками с серебром; ковры, балдахины и картины совсем не ценились, если не были привезены из Фландрии, Индии или Италии... Каждый, кто видит, какими богатствами кичится сосед, которого он не считает лучше себя, а скорее на-

оборот — хуже, старается делать то же самое. Если ему не хватает средств, то он залезает в долги и разоряется. И причиной этого является укоренившееся мнение, что только так и следует поступать, чего бы это ни стоило»⁷.

Контрастируя с тем, что «было на виду», другие части дома или квартиры, предназначенные для внутрисемейной жизни, часто были странным образом неудобны. Хотя стекло в XVII веке все больше входит в употребление, во многих комнатах окна были затянуты промасленной бумагой. Отхожих мест не было, и вместо них использовались горшки, прозванные «нужниками». Их ставили в углу или под кроватью, и до тех пор, пока с наступлением темноты не появлялась возможность вылить их содержимое на улицу, они распространяли по всему дому тошнотворное зловоние⁸.

Тот же контраст наблюдался и между тем, какое значение придавали наличию прислуги, и умеренностью в повседневной жизни. Как мы видели, число слуг было показателем социального уровня, и от мажордома до конюха, включая дуэний, телохранителей, пажей и лакеев всех сортов, их штат достигал нескольких десятков человек. Конечно, не представлялось возможным разместить всех этих людей в хозяйских апартаментах, тем более что обязанности некоторых из них ограничивались сопровождением на улице своего господина или госпожи, поэтому богатые люди иногда снимали один или несколько соседних домов для прислуги. Поскольку в центре и на севере Испании рабов было гораздо меньше, чем в Андалусии, они больше бросались в глаза, и для знатной светской дамы не было ничего более лестного, чем проследовать в сопровождении одного-двух рабов, демонстративно одетых «по-турецки».

Однако постоянное содержание большого штата прислуги было не всем по карману. Для хозяйки дома со средним достатком, которая хотела нанять лакея или служанку, в городах, и особенно в Мадриде, существовали специальные агентства по найму, и, если верить Франсиско Сантосу, автору произведения

«День и ночь Мадрида», огромный спрос на прислугу позволял ей привередничать и выбирать своих будущих хозяев. «Как, — возмущался монах, заведовавший агентством, расположенным в церкви Буэн Суceso, — я пристроил тебя в приличный дом, хозяева — муж и жена, никого больше, они платят тебе 16 реалов в месяц, обеспечивают хорошее питание, и, что еще лучше, тебе даже не надо выходить из дома, потому что сам хозяин всё закупает, включая и продовольствие! — Фи... — отвечал собеседник, — видеть, этот хозяин скупердяй, раз он не доверяет своим слугам; этот дом не для меня...»⁹

Случаи, когда «господин» сам ходил за покупками, были, по-видимому, довольно редки, и нежелание поступать в такой дом на службу тем более понятно, что необходимость закупать продукты давала слугам возможность для частых выходов. Действительно, закон запрещал частным лицам (и даже хозяевам гостиниц, как мы видели) запасаться провизией, поэтому приходилось каждый день обходить всех продавцов, даже если нужны были какие-то самые незначительные товары. Правда, потребности семьи обычно были невелики, даже в тех домах, где насчитывалось много слуг, поскольку они, может быть, кроме тех, кто работал на кухне и прислуживал за столом, не питались в господском доме, а ходили обедать «к себе» или же ели в закусочных, имевшихся на улицах больших городов. К тому же испанцы крайне воздержанны в еде, и эта умеренность не ускользнула от внимательных глаз иностранцев. Речь идет, разумеется, о семейных обедах, поскольку в торжественных случаях или когда надо было оказать честь знатному гостю, изобилие яств не знало границ: когда в 1605 году главный адмирал Англии приехал в Испанию, пир, который устроили в честь его прибытия, состоял из 1200 блюд из мяса и рыбы, не считая десертов, так что даже прибежавшим зевакам удалось полакомиться вволю. Вероятно, так бывало на королевских приемах, а людям, находившимся на нижних ступенях социальной лестницы, нужна была, чтобы отметить какой-нибудь

важный случай в их жизни, шумная попойка, как мы видим из описания Сервантесом кулинарных приготовлений к свадьбе Гамаша. Представление о том, из чего состояли обильные трапезы знати, можно составить на основании «продовольственного рациона», выданного королевскими складами герцогу Майенскому, прибывшему в 1612 году с многочисленной свитой просить руки инфанты Анны Австрийской для короля Людовика XIII: на каждый скромный день — 8 уток, 26 каплунов, 70 кур, 100 пар голубей, 450 перепелок, 100 зайцев, 24 барана, две четверти говядины, 12 говяжьих языков, 12 окороков и 3 свиньи, кроме того, 30 арроб (300–400 литров) вина; для каждого постного дня — эквивалентное количество яиц и рыбы¹⁰.

Как видим, мясо занимало в рационе богатых людей основное место; из него обычно готовили острые или маринованные блюда с большим количеством приправ (острый перец, чеснок, шафран), которые не всегда могли по достоинству оценить визитеры из других стран, привыкшие к более пресной пище. Некоторые блюда получили особую известность, например, *olla podriga* (горшочки со свиной) или «бланманже», рецепт которого сохранился в книге «Кулинарное искусство» Франсиско Мартинеса, повара Филиппа III. Это блюдо готовилось из тонких ломтиков мяса домашней птицы, которые долго варились на медленном огне в специальном молочном соусе с сахаром и рисовой мукой. Что касается десертов, которыми испанцы очень любили полакомиться, то они состояли из фруктов (виноград, гранаты, апельсины), сладостей (фруктовые смеси, засахаренные яичные желтки) и разнообразных миндальных пирожных.

Но повседневный семейный обед был далек от этих гастрономических оргий. «Как у знати, так и у простого народа всего одна трапеза в день — в полдень; вечером они не едят ничего горячего», — писал в 1633 году один немецкий путешественник¹¹. У наиболее богатых людей эта единственная трапеза состояла из одного или двух мясных блюд (или ры-

бы и яиц во время поста); менее состоятельные люди довольствовались куском козлятины или баранины, а трапеза бедных людей состояла из нескольких видов овощей (испанские артишоки, бобы), сыра, лука и оливок.

Умеренность испанцев в питье еще удивительнее, тем более что большинство провинций Испании производили превосходные вина, правда, подпорченные, на вкус иностранца, привкусом смолы и канифоли от бурдюков из свиной кожи, в которых они хранились. «Они удивительно воздержанны в употреблении вин, — замечала графиня д'Ольнуа, — женщины вообще никогда не пьют, мужчины пьют так мало, что им хватает полсетье (около четверти литра) в день. Нет более тяжкого оскорбления, чем обвинить испанца в том, что он пьян». Зато прохладительные напитки — апельсиновые, клубничные, оршад — очень охотно употреблялись с тех пор, как «снежные колодцы» позволили готовить их в разгар летней жары. Но истинно испанским напитком был шоколад, родом из Америки, получивший широкое распространение во всех слоях общества по причине своей относительно умеренной цены. Его пили не только на завтрак, но и при всяком удобном случае в течение дня, запивая (ибо он был слишком густым) стаканом воды.

В большинстве домов, даже буржуазных и аристократических, не было специальной столовой. Блюда подавали на маленькие столики в гостиной. В Кастилии, и особенно в Андалусии, где арабское влияние все еще было очень сильным, было принято, чтобы только мужчины садились за стол, женщины же и дети садились вокруг стола на корточки, опираясь на подушки. С полуденной трапезой справлялись быстро, и после еды, которая считалась правилом даже зимой, муж обычно оставлял дом, чтобы заняться своими делами и предаться любимым развлечениям, поскольку общественная жизнь мужчины разворачивалась большей частью — как это и сегодня происходит в средиземноморских странах — вне семьи.

Женщина оставалась дома, присматривала за деть-

ми или занималась мелкой работой — шила, вышивала, реже читала какую-нибудь религиозную литературу или роман. Визиты подруг иногда нарушали это монотонное существование: сидя на коврах, женщины болтали о пустяках, моде, любовных приключениях, пили неизменный в этих случаях шоколад или жевали кусочки ароматической глины (*bucaro*), которую привозили из испанских колоний в Америке и которую женщины так любили, что, как сообщает нам мадам д'Ольнуа, их духовники иногда велили им в качестве покаяния воздерживаться от нее в течение одного дня...

Случалось, что под окнами дома раздавались звуки гитары или другого музыкального инструмента. Вошло в обычай исполнение серенад претендентами на руку девушки, уже получившими ее согласие. Но исполнителем мог оказаться и просто «кавалер», который хотел засвидетельствовать свою пылкую любовь даме своей мечты и который в окружении музыкантов, специально нанятых по этому случаю, ожидал от нее, в обмен на такое выражение чувств, взгляда, улыбки или нежного слова через решетку, отделявшую его от возлюбленной. Подобные дерзости были небезопасны, поскольку, если мужа следили за своими женами, то братья не менее ревностно относились к репутации своей сестры, как мы можем судить по неприятности, случившейся в 1619 году с герцогом де Сесса, о чем рассказал один из его современников: герцог прогуливался в полночь (это было в июле) по небольшой мадридской площади в сопровождении маленького пажа-мулата, который пел, аккомпанируя себе на гитаре. Из окна соседнего дома какой-то голос попросил музыканта сыграть одну мелодию, что тот и сделал с разрешения своего хозяина. Провидению было угодно, чтобы мимо как раз проходил герцог де Макведа, сестра которого жила на этой площади. Разъяренный, он вошел в дом за подмогой, и пока его люди разбивали гитару о голову пажа, сам он накинута на герцога де Сесса — не узнав его — и одним ударом рассек ему всю правую сторону лица¹².

Воспитанием девушек особенно не занимались, а многие отцы семейств, подобно мольеровскому Арнольфу, полагали, что образование — источник распутства. Несмотря на это, встречались и образованные женщины. Некоторые из них считали, что разбираются в литературе и философии, и иногда собирали у себя дома маленькие литературные кружки, где употреблялись все изящные фигуры языка, которые поэзия той поры ввела в моду. В своей комедии *«С любовью не шутят»* Кальдерон вывел некую женщину по имени Беатриса, которая напоминала одновременно *«Странных жеманниц»* и Белизу из *«Ученых женщин»*: она не могла запятнать свои уста вульгарными словами, называла свою служанку *«famula»*, защищала свои руки посредством *«quirotbeques»* и смотрелась исключительно в «волшебное стекло», чем привела в ярость своего отца Альфонсо: «Я найду управу; довольно учения, довольно поэзии; у меня чтобы не было больше книг на латыни, которой я не понимаю. Для женщины хватит и часослова. Пусть научится вышивать, штопать, шить, а учение оставит для мужчин. Запомни: я тебе голову оторву, если услышу, что ты называешь что-то не своим именем!»¹³ Кеведо высмеивает претензии своей *«ученой, изъясняющейся по-латыни»*. Неисправимый женоненавистник — и в то же время дамский угодник, — он считает их попыткой компенсировать недостаток привлекательности за счет ума. «Отдайте должное их речам и знаниям, из-за которых место им в библиотеках, но не в сердцах»¹⁴.

Но, естественно, сердечные хлопоты и, как следствие, заботы о красоте и моде одерживали верх над устремлениями ума, и туалетная комната (*tocador*) для многих женщина была главной в доме. В своем *«Утре праздничного дня»* Сабалета шутливо описывает приготовления красивой дамы, готовящейся к выходу и озабоченной тем, чтобы ее шарм был оценен по достоинству: «Она встает и входит в свою туалетную комнату в юбке и кофточке. Она садится на небольшую подушку, устраивается перед туалетным

столиком, ставит по правую руку сундучок со всем, что требуется для наведения красоты, и вынимает оттуда тысячи принадлежностей. Пока она красится спереди, горничная полирует ее сзади...»

Пользование и даже злоупотребление румянами в женском туалете было не только отмечено писателями и путешественниками той эпохи, но и видно на портретах Веласкеса, неопровержимо свидетельствующих об этом. Не просто использовали румяна, но рисовали целую картину на лице, на плечах, на шее и даже на ушах. Свинцовые белила — называвшиеся *soliman* — представляли собой «основу для макияжа», на которую без всякой меры наносились розовые и красные румяна. «Они красят щеки в пунцовые цвета, — замечал Брюнель, — но так обильно, что кажется, будто они хотят не приукрасить себя, а загримироваться». Об этом же, но только еще беспощаднее, свидетельствовал Кеведо, говоря о женщине, «которая красила румянами свое лицо, точно двери кабака...». Губы также красили или покрывали легким слоем воска, который придавал им блеск. Для ухода за руками женщины пользовались миндальной пастой и помадами на основе свиного жира. Обильно пользовались духами, розовой водой, амброй, причем, если можно верить мадам д'Ольнуа, за неимением пульвелизаторов их роль брали на себя служанки, набиравшие ароматную жидкость в рот и затем распылявшие ее сквозь зубы на лицо и тело хозяйки¹⁵.

Одним из наиболее примечательных элементов внешнего облика женщины были очки, вошедшие в моду в начале XVII века, в частности, благодаря Кеведо, который способствовал появлению обычая носить их — откуда и пошло название «кеведос», как иногда именовали очки. «Все их носят, без различия возраста и пола, молодые и старые, женщины преклонных лет и юные девушки, ученые и невежды, миряне и монахи. Размер очков зависел от общественного положения их обладателя: представители первой категории носили большие и широкие очки, привязывая их за ушами. Нет зрелища милее, чем вид

молодых женщин, на носу которых красовалась пара очков, закрывавших им наполовину щеки, причем очки служили исключительно для красоты; они не снимали их целыми днями, хотя не занимались ничем, кроме болтовни, а некоторые расставались с ними, лишь отправляясь спать»¹⁶.

Это была не единственная экстравагантность в женской моде — по крайней мере, в высших слоях общества. Правда, не следует забывать, что до конца старого режима женский туалет — как, впрочем, и мужской костюм — был тесно связан с социальным положением: достаточно посмотреть на «Прях» Веласкеса, одетых в блузки и юбки, мало отличающиеся от тех, что носят сегодня, чтобы убедиться, что платья, которые носили аристократки, позировавшие придворному художнику, были достоянием праздного меньшинства женщин, для которых забота о нарядах была основным занятием (и которым подражали «профессионалки», чей род занятий вызывал необходимость следовать самой последней моде).

В этой социальной среде отличительной деталью женской одежды был «гард-инфант» (*guardainfante*), представлявший собой, по словам Сабалета, «самую нелепую причуду, из-за которой желание выглядеть элегантно заставляло женщину падать». «Гард-инфант», огромных размеров фижмы, вошедшие в женскую европейскую моду в конце XVI века, представлял собой каркас, состоявший из обручей, корсетных костей, ивовых стержней и веревок, поддерживавших набивку, целью которой было «топорщить» от талии нижнюю юбку или скрывавшую ее «басконскую» юбку и платье, которое было сверху, придавая ему форму колокола. Эта форма подчеркивалась жестким корсетом, на который надевался полукафтан, который сжимал грудь и сужал талию, разделяя таким образом силуэт на две части. Чтобы усугубить деформацию женского силуэта, рукава расширялись от плеч, образуя «оборки» и «прорези», сквозь которые была видна пестрая материя, которая удваивала их зрительно, и заканчивались узко стянутыми запястьями, где часто присутствовала

богатая вышивка. Платья, очень длинные, сшитые из тяжелых материалов — тафты, муарового шелка или парчи, полностью скрывали ноги, показывать которые считалось неприличным. На ногах носили кожаную обувь, а поверх нее был распространен обычай носить деревянные сандалии на очень толстой подошве с массивным каблуком из пробки, которые увеличивали рост, придавая обычно довольно невысоким испанкам видную статью, что скрадывало в какой-то мере расширение силуэта, создававшееся посредством *guardainfante*.

В одном из донесений той поры говорится, что из-за этого аксессуара женского платья, на протяжении всего правления Филиппа IV имевшего тенденцию к увеличению, женщины не могут больше пройти в двери церкви¹⁷. Против этой детали одежды с возмущением выступали не только моралисты, но и писатели-сатирики, и не без оснований. Действительно, само название, которое носила эта деталь женской одежды, было весьма многозначительным — «колокол», образованный посредством *guardainfante*, он позволял скрывать от окружающих беременность, которая далеко не всегда являлась следствием законных любовных связей; он, таким образом, придавал определенную уверенность женщине в ее любовных приключениях. Именно поэтому в 1639 году появился королевский указ, запрещавший носить *guardainfante* всем, кроме женщин, «которые с разрешения официальных властей занимались торговлей своим телом и которые получали право носить его совершенно беспрепятственно». Несмотря на строгость, проявленную при выполнении этого указа (альгвасилы, дежурившие на улицах, раздевали под насмешки прохожих женщин, которые упорствовали и продолжали носить огромные *guardainfante*), и риск быть принятыми за проституток, женщины, после того как прошла первая тревога, вернулись к прежней моде. Королевская власть не могла этому противостоять, тем более что вторая жена Филиппа IV Мария-Анна Австрийская, показывала плохой пример — носила такой большой и широкий кринолин,

которого никто и никогда еще не видел¹⁸. Только при последующих правителях эта мода постепенно сошла на нет.

Столь же неэффективными оказались и статьи королевского указа 1639 года, касавшиеся женских декольте. В начале века полукафтан поднялся и плотно облегал шею. Постепенно корсаж получал все больший вырез, открыл плечи, верхнюю часть спины, а затем и часть груди. «Воистину, — утверждал Сабалета, — женщины, следующие последней моде, одеваются так, что, мне кажется, они были бы более честны, если бы совсем разделись...»

Правда, когда женщины находились вне дома, они надевали накидки — просторные плащи без рукавов, в которые они закутывались с ног до головы и которые скрывали весь их наряд. Но даже если эта *manta* была не из тюля или прозрачного шелка, которые делали ее похожей на легкий дым, она все равно оставалась инструментом кокетства и соблазна во время редких и оттого еще более ценных выходов в свет, совершавшихся в соответствии с обычаем или — если женщина набиралась смелости — в обход его.

Самый простой случай для кокетства обычно представлялся в приходской церкви во время выполнения религиозных обязанностей или в какой-нибудь монастырской часовне, у которой была репутация особенно «порядочной». Поскольку знатная дама обычно не могла ходить по улицам одна, ее сопровождала дуэнья или лакей, длинная борода которого гарантировала респектабельность и который вел даму, иногда держа ее за приподнятую руку, завернутую в полу плаща, чтобы он не мог коснуться ее кожи. Те женщины, которые не были достаточно богаты, чтобы иметь лакея, постоянно находившегося в их распоряжении, могли нанять себе «метафорического лакея», которые (в частности, в Мадриде) в большом количестве были представлены на постоянно действующих рынках в определенных местах. Там же можно было нанять одного или нескольких пажей, сопровождавших свою хозяйку и носивших по-

душечку из бархата или шелка, которую госпожа подкладывала себе под колени во время молитвы. Хотя этот эскорт и отражал социальное положение сопровождаемой, однако он не спасал от всех опасностей, и дуэньи, во всяком случае в литературе, да, вероятно, и в жизни, имели репутацию женщин, которые, получив подарок, могли стать услужливой сводней между кавалерами и дамами, состоявшими и не состоявшими в браке. Не стоит понимать буквально сетования моралистов, говоривших о церквях как месте свиданий; большинство женщин приходило сюда с единственным намерением отстоять мессу и послушать проповедь, хотя некоторые из них конечно же пользовались посещением церкви, чтобы украдкой увидеться со своим возлюбленным.

Женщины выходили в свет под руку со своим мужем — иногда со своим кавалером, — чтобы принять участие в больших праздниках, в которые было вовлечено все население города. Они могли также присутствовать на театральных представлениях, но правило разделения полов соблюдалось в театре очень строго, так что существовала даже специальная «галерка» для женской части публики.

Наконец, практически всякая добропорядочная женщина поддавалась искушению испытать удовольствие, ускользнув из домашнего заточения, смешавшись с толпой гуляющих или зевак, развлечься, получая знаки внимания со стороны мужчин, оставаясь при этом неузнанной, ибо была укрыта плащом, полы которого таким образом прикрывали лицо, что был виден лишь один глаз. Ношение *tapado* (вуаль) представляло собой типичную разновидность древнего обычая: не приходится сомневаться в том, что этот обычай прикрывать лицо был наследием Испании времен мавров, так же как и возлагавшаяся на женщину обязанность проводить большую часть жизни в четырех стенах. Однако в XVI веке он превратился в инструмент соблазнения: вуаль, которая позволяла лишь угадывать очертания лица, прибавляла пикантности милому взгляду, а также придавала шарма тем, кто был его лишен, но умел пользо-

ваться этим средством, чтобы добиться знаков внимания со стороны мужчин, которые без этого маскарада едва ли обратили бы на них внимание. Во времена правления Филиппа II Кастильский совет протестовал против злоупотребления этой деталью туалета: «Увлечение женщин вуалями доходит до того, что уже причиняет вред государству, поскольку из-за них отец не узнает собственную дочь, муж — жену, брат — сестру; они пользуются своей свободой, как им заблагорассудится, и предоставляют мужчинам возможность ухаживать за женами или дочерьми уважаемых людей, как будто речь идет о людях самого простого и неблагородного происхождения»¹⁹. И наоборот, куртизанки и проститутки могли, пользуясь вуалью, легко сойти за «знатных дам». Поэтому указом 1590 года Филипп II запретил этот обычай, впрочем, без особого успеха, поскольку его преемники вынуждены были периодически повторять этот запрет, а Филипп IV в 1639 году установил суровую кару для нарушительниц: штраф в размере 10 тысяч мараведи, удвоенную сумму штрафа в случае вторичного нарушения запрета и конфискацию плаща виновной.

Однако один писатель той эпохи посчитал необходимым смягчить суровость этого наказания, расклассифицировав различные типы прикрывания лица в весьма основательном трактате, озаглавленном «*Древние и современные вуали на лице женщины; их удобство и опасность*»²⁰. Его аргументация очень интересна, поскольку он, перечисляя различные способы использования плаща, прямо разоблачает хитрости, связанные с использованием *tapado*: «Прикрыться (*cubrirse*) — значит просто закрыть лицо плащом, без какой-либо цели и намерения; завуалироваться (*taparse*) — значит маскироваться “вполглаза” (*de medio ojo*), поднимая и опуская плащ так, чтобы показывать лишь один глаз (всегда левый), благодаря чему остальное лицо кажется еще более спрятанным и замаскированным, чем если бы оно было полностью закрыто. Открытое лицо не выражает какого-либо потаенного смысла; закрытое

лицо — признак добропорядочности; вуалировать же лицо “вполглаза” — дурное дело, являющее собой похоть под маской благочестия; это — уловка женщины, которая хочет казаться дамой; это — наживка для мужчин, приманка для молодых людей; это — иллюзия красоты; *это — двойная движущая сила, подталкивающая врага к атаке ради удовольствия его оттолкнуть*». В заключение автор заявлял, что *tapado de medio ojo* должно быть строжайшим образом запрещено, но женщины должны сохранить возможность держать лицо закрытым, особенно в церквях. Подобного рода разграничение порождало такое количество нюансов, что оправдывало все хитрости. И действительно, *tapado* оставалось в употреблении в течение всего XVII века и даже дольше, и во многих отношениях этот обычай можно рассматривать как один из характерных элементов общественного положения женщины, со всеми его противоречиями.

Самым высоким свидетельством знатности для женщины была конечно же возможность ездить в карете. Несмотря на свою высокую стоимость, карета постепенно вытеснила носилки и портшезы в качестве средства передвижения по городу знатных особ. Количество «господских экипажей» было весьма значительным уже в начале XVII века, когда королевский двор располагался в Вальядолиде, но существенно выросло при Филиппе IV, причем настолько, что в час, когда знать выезжала на ежедневную прогулку, движение по Большой улице в Мадриде было затруднено и огромные «пробки» не давали возможности каретам в вечерние часы свободно двигаться к парку Прадо. Другие крупные города — Барселона, Валенсия, Севилья — не отставали от столицы, и меры, принятые королевским правительством для того, чтобы сделать пользование каретами привилегией очень богатого меньшинства (запретив, например, использовать кареты, запряженные менее чем четырьмя мулами, покупка и содержание которых было весьма дорогим удовольствием), не смогли преградить «каретную лихорадку» (*fiebre cocheril*), кото-

рая, подогреваемая женским тщеславием, охватила даже представителей среднего класса. «Не найти идальго, или даже простого человека, который ради того, чтобы его жена не выезжала в экипаже, худшем, чем у жены соседа, не совершал из чувства пустой зависти таких трат, на которые едва хватало всего его состояния», — писал Сабалета. Кеведо, со своей стороны, иронизировал над человеком, доведенным до нищеты и вынужденным поститься во славу «святого Экипажа». Можно составить целую антологию литературных текстов, и особенно сцен из комедий, рисующих нам несчастного мужа или неудачливого кавалера, терзаемого настойчивыми требованиями своей дамы, которая ради приличия не может выходить пешком²¹.

Так женщины тешили свое тщеславие, забывая о добродетели. Португалец Пинхейро, нарисовавший для нас картину жизни Вальядолида в ту пору, когда этот город играл роль столицы, писал: «Придворные дамы проводят большую часть своей жизни в каретах — свидетелях их распутства, а кучера — их исповедники: грехи одних заставляют других забыть про свои...» — весьма нелестное свидетельство, но оно, похоже, подтверждает обоснованность указа Филиппа III, запрещавшего мужчинам пользоваться каретами ввиду того, что «из-за этого они уподобляются женщинам». Но тот факт, что женщину мог сопровождать муж, отец или дети, достаточно ясно показывает, что под упомянутым «официальным» обоснованием стыдливо скрывается реальная цель этой меры: не допустить того, чтобы кожаные шторы, закрывавшие дверцы кареты, не превращали ее время от времени в альков. Кавалеры, желавшие угодить даме сердца, должны были довольствоваться сопровождением кареты, снаружи вступая в беседу с дамой, сидевшей за дверцей с открытыми шторками. Другая мера предосторожности: женщины могли сидеть в карете только с открытым лицом, а *tapado* строжайше запрещалось. Однако эти меры, направленные на укрепление нравственного начала при пользовании каретами, так и остались мертвой бук-

вой, судя по тому, что они неоднократно подтверж-
дались и возобновлялись королевскими властями во
время правления Филиппа IV.

Хотя мы находим в официальных документах
подтверждение фактам, приводимым в литературе,
это не позволяет нам делать слишком общих выво-
дов. Литературные примеры почти всегда имеют са-
тирическую направленность, искажающую реаль-
ность, документы же отражают намерение властей
бороться с крайностями, а не санкционировать нор-
мальное положение вещей. К тому же не следует за-
бывать, что их критика касается только ограничен-
ной части женского общества, той части, которая,
живя в больших городах, и особенно в атмосфере ко-
ролевского двора, более или менее была подвержена
моральной порче, которая, несомненно, поразила
правлящий класс. Речь идет лишь о самом ничтожном
меньшинстве, но которое в силу своего образа жиз-
ни привлекало внимание окружающих и вызывало
их зависть. В своей маленькой деревеньке Ламанче
Тереза, жена Санчо Пансы, могла иногда мечтать об
удовольствиях городской жизни, символом которых
служило наслаждение, которое получали, «устроив-
шись в карете под ослепленные взгляды тысяч зави-
стников...»; а она все равно продолжает вести свое
убогое и суровое повседневное существование, кото-
рое влачили деревенские жительницы, а также горо-
жанки со скромным достатком, для которых изыски
моды, роскошь карет и выставление напоказ пышно-
сти и богатства жизни знатных особ было лишь эле-
ментом внешнего декора их существования.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ И МИР ЛИТЕРАТУРЫ

1. Университетская жизнь. Саламанка, Алькала и «деревенские» университеты. — Организация университета. Преподавание. Экзамены и присвоение ученых степеней. — Жизнь студентов. Большие колледжи и пансионы для студентов. «Студенческий голод». — Забавы и развлечения. Жесткие шутки над новичками. — Упадок университетов

2. Мир литературы. Величие и бремя писательской жизни: Лопе де Вега. — Страсть к письму и поэтические академии. Утонченность литературного языка: концептизм и культеранизм

В «споре оружия и наук», который Сервантес вкладывает в уста Дон Кихота, проводится параллель между трудами и лишениями, выпадавшими на долю студента и солдата, и отдается пальма первенства стойкости и заслугам последнего. Студенты и солдаты: они вместе создали золотой век, но по мере того, как на полях сражений шла к своему упадку слава испанского оружия, в области культуры Испания одерживала верх над своими соперни-

ками. Бывшие студенты Саламанки и Алькалы, отстаивая честь своей страны, шли на смену солдатам и офицерам.

1

Omniium scientiarum princeps Salmantica docet, «Саламанка — первая в преподавании всех наук». Девиз университета Саламанки выражал гордость за то, что он был первым среди испанских университетов, а также за уникальный престиж, которым он обладал в конце Средних веков, опережая всех своих соперников. Но внезапный порыв, отблеск воодушевления эпохи Возрождения, вызвал расцвет новых образовательных учреждений в эпоху Католических королей и Карла V. Меньше чем за век появилось около двадцати университетов. Не только большие старинные города, такие, как Сарагоса, Валенсия, Толедо, Севилья, но даже маленькие городки — Оропеса, Басеса, Осуна и множество других — пожелали утолить жажду из живительных источников культуры.

Тем не менее лишь один из них смог стать соперником университету Саламанки: тот, что основал в Алькале де Энарес в первые годы XVI века кардинал Хименес де Сиснерос, архиепископ города Толедо и канцлер Кастилии. По своей организации и интеллектуальной ориентации этот университет явился типичным творением новых времен: в противоположность демократическому духу Саламанки его устав провозглашал авторитарную и централизованную структуру, которая выражалась в признанной власти ректора, назначавшегося архиепископом Толедо и представлявшего королевскую власть. Преподавание, исключавшее гражданское право, было ориентировано на теологию (вспомогательное средство для реформы, предпринятой Сиснеросом в испанской церкви) и на изучение классической филологии, включая древнегреческий и древнееврейский языки и филологическую критику источников. Когда в середине XVI века Мадрид, расположенный

в десятке лье, превратился в столицу Испании, Алькала стала пользоваться этим соседством и привилегиями, которые жаловали ей монархи. Хлынул поток учеников, и вокруг колледжа Святого Ильдефонса, являвшегося ядром нового университета, возникали другие, строившиеся главными монашескими орденами. За полвека средневековый городишко, зажатый в тесных кирпичных стенах, стал, по словам Эразма, «сокровищницей всех наук», и его престиж воссиял не только над всей Испанией, но и за ее пределами.

Тем временем и другие университеты, не достигшие славы двух самых крупных, соперничавших друг с другом университетов, сохраняли и даже укрепляли свою жизнеспособность: Сарагоса привлекала арагонских студентов, Валенсия славилась своим преподаванием в области медицины, и даже в Кастилии, несмотря на близость Саламанки, не прекратил свое существование университет Вальядолида, превосходивший своего соседа в области изучения римского и национального права. Но большинство менее крупных университетов, вызванных к жизни энтузиазмом ренессансного гуманизма, влачило жалкое существование. Ученые степени, которые здесь присваивались за более низкую плату, чтобы привлечь студентов, обесценились, а три деревенских (*silvestres*) университета — в Сигуэнсе, Оньяте и Осуне — превратились в XVII веке в объект многочисленных насмешек. «Где же вы учились?» — спрашивал разъяренный Санчо Панса, став правителем острова Баратария, у врача, которому было поручено следить за его здоровьем и который, действуя от имени Гиппократы, велел убрать со стола все самые вкусные блюда. «Сеньор губернатор, — отвечал тот, — я получил образование в университете Осуны...»¹

Разнообразие происхождения университетов — учреждение по инициативе епископа или короля, муниципальных властей или частных лиц — проявилось в отсутствии единообразия их внутренней организации. Тем не менее из-за сильного влияния традиции преподавание повсюду было аналогич-

ным и практиковалась одна и та же иерархия ученых степеней. Кроме того, университет Саламанки, как один из старейших, продолжал пользоваться моральным авторитетом, и некоторые элементы его структуры, спонтанно или по королевскому указу, были распространены на другие учебные центры. Впрочем, в этом университете, из-за притока учащихся со всех концов Испании, по-прежнему было и самое большое количество студентов: свыше семи тысяч в 1584 году, тогда как в более аристократической Алькале в период ее наивысшего расцвета эта цифра не превышала двух тысяч. По совокупности этих причин Саламанка определяла стиль университетской жизни в стране, и «студент университета Саламанки», видимо, и в реальности был тем, кем его представляла литература того времени — воплощением испанского студента.

...

Для студента университет не был только лишь учебным заведением. Он был, если можно так выразиться, его делом, поскольку привилегии, которые предоставляла ему учеба в университете, в большой степени делали его подчиненным университетским властям. «Прагматическая санкция» Католических королей, обнародованная в Санта-Фе в 1492 году, подтвердила, что студенты исключаются из сферы действия общего правосудия и подчиняются исключительно своему, назначавшемуся папой, «эколятру», в обязанности которого входило защищать все права и прерогативы студентов, среди которых было освобождение от воинской службы и всех налогов, касавшихся их личности и их имущества. Ректор, в обязанности которого входили обеспечение материальной стороны жизни университетского сообщества и управление доходами, избирался на один год комиссией, состоявшей наполовину из профессорского состава, наполовину из студентов, делегировавших их товарищами. На эту должность всегда выбирали студента и, чтобы

повысить ее престиж, подбирали человека, знатного по рождению, обычно отпрыска известной семьи: так, Гаспар Гусман д'Оливарес, который впоследствии стал всемогущим министром Филиппа IV, был в начале XVII века избран ректором университета Саламанки.

Что касается профессоров, то в их избрании принимали участие не только их коллеги, но и сами студенты. Профессорский состав определялся по результатам открытого конкурса, в котором участвовали претенденты на одну и ту же кафедру. Были приняты все меры для того, чтобы интриги или коррупция не повлияли на результаты выборов. «...мы повелеваем, — заявляли Католические короли в указе 1494 года, — чтобы никто из студентов и профессоров наших университетов или тех, кто имеет косвенное отношение к ним, каким бы ни было его состояние, положение или могущество, не смел подкупать открыто или тайно тех, кто должен голосовать за пожалование новой кафедры, делать подарки студентам, чтобы они отдали за него свой голос, действовать просьбой или угрозами, прямо или через посредника». Уточняя в следующем году меры по выполнению этого указа, правители называли некоторые конкретные средства, употреблявшиеся в целях добывания места: формирование «партий» по поддержке того или иного соискателя, обещания денежных подарков, а также «мулов, рабов, драгоценностей или участков земли, чтобы купить себе голоса, или за снятие кандидатуры с выборов»². Все было напрасно. Повторные предписания, исходившие от Филиппа II и Филиппа III, показывают неэффективность этих мер. Слишком много среди студентов было таких, для кого хлеб насущный оставался постоянной проблемой, слишком многие из них не знали, что будут есть завтра, чтобы отвергнуть проявления корыстного великодушия в форме подарков или приглашений к хорошо сервированному столу. Не оставалось ничего иного, кроме решения, которое и принял в 1624 году король Филипп IV: назначать профессоров университетов Саламанки, Вальядоли-

да и Алькалы в Кастильском совете, учитывая их университетские труды и заслуги.

В целом университетское обучение по сути и по методике осталось верным средневековой практике: факультет свободных искусств, где преподавали логику, риторику и физику, открывал доступ к специализированным факультетам: теологии, гражданского и канонического права, медицинскому. Каждый профессор «читал» свой курс (откуда и возникло слово «лектор», которым иногда называли университетских преподавателей) или диктовал его своим ученикам. Правда, у преподавателей была обязанность, которая несколько смягчала исключительно догматичный характер преподавания «*ex cathedra*»: они должны были «стоять у колонны» (*asistir al poste*), то есть после лекций ждать во внутренней галерее университета учеников, которые могли задать интересовавшие их вопросы и получить разъяснения. Эта далекая реминисценция перипатетической школы Аристотеля открывала перед студентами возможность для интеллектуального общения с преподавателем, которое часто оказывалось весьма плодотворным. Так, Энрике де Гусман в наставлениях, которые он составил в безличной форме для своего сына, отправлявшегося учиться в Саламанку, советует извлечь выгоду из такого общения: «После занятий пусть он отправится послушать сомнения, которые будут высказывать у колонны его соученики своему преподавателю, чтобы осознать трудные моменты и лучше понять суть изложенного, что заставит его учиться еще прилежнее, потому что ему тоже захочется высказать преподавателю свои доводы»³.

В первой половине XVI века влияние гуманизма и особенно Эразма привело к расширению интеллектуального горизонта и развитию новой мысли как реакции на схоластический формализм. Но со времен правления Филиппа II опасение того, что «новшества» могут пошатнуть религиозную ортодоксальность, вызывало большое недоверие ко всему, что расходилось с традицией. Меры, принятые инквизицией против некоторых преподавателей универси-

тета Саламанки, — среди которых был Фрей Луис де Леон, — стали серьезным предупреждением для тех, кто выказывал некоторую независимость взглядов в отношении схоластического преподавания. На смену великолепному расцвету, которым были ознаменованы три четверти предыдущего века, пришла узость взглядов, характеризовавшаяся возвратом к букве прежнего устава, предусматривавшего, чтобы каждый профессор читал свой курс в соответствии со взглядами того, чье имя носила кафедра: святого Августина, святого Фомы, Дунса Скота, к которым в начале XVII века добавился иезуит Суарес. На своих лекциях, а также публичных диспутах преподаватели, принадлежавшие различным монашеским орденам, слепо отстаивали взгляды святого Августина, святого Фомы или Суареса в зависимости от того, кем они были — августинцами, доминиканцами или иезуитами, что приводило к яростным спорам и непримиримой вражде. Даже по самым незначительным вопросам дискуссионный пыл, соответственно формам схоластики, доходил до крайних пределов. «Между августинцами и тринитариями Саламанки состоялись горячие дебаты, — писал Барьонуэво, — дело дошло до рукоприкладства, пощечин и пинков. Речь шла о том, стал ли Адам несовершенным после того, как Бог взял у него ребро, а кроме того, чем он заполнил образовавшуюся пустоту: только плотью или чем-либо еще»¹.

Открытые диспуты, на которых сталкивались мнения магистров и докторов, которых поддерживали *vitores*, лучшие из их учеников, представляли собой важные события в университетской жизни, равно как и экзамены на степень бакалавра, лиценциата или доктора. Присвоение степеней служило поводом для веселья, в котором принимал участие весь город и порядок которого был тщательным образом регламентирован в «Церемониале», представлявшем собой свод университетских ритуалов. Драматург Руис де Аларкон, который был студентом университета Саламанки в конце XVI века, писал, что получение диплома здесь дорого обходилось лиценциату: «чае-

вые» (*propinas*) эколятру, сторожам, самим экзаменаторам; вознаграждения людям самых разных званий, способствовавшим тому, чтобы придать надлежащий блеск акту присуждения степени: церемониймейстерам, рабочим, украшавшим коврами фасад университета, литавщикам и трубачам, звонарям. Но дороже всего обходился, конечно, сам праздник, который надо было устроить для всех членов факультета, порядок и меню которого «Церемониал» регламентировал в мельчайших деталях: «Салат должен быть приготовлен из различных фруктов, овощей, цитрусовых, сладостей, драже, вишни в сахаре, яиц и других компонентов, которые входят в «королевский салат»... После салата подаются яйца... После яиц приносят блюдо из дичи, самой лучшей для этого сезона, например, из куропаток или перепелок, кур, голубей или другой наиболее вкусной и изысканной птицы. Затем подают блюдо из рубленого мяса домашней птицы с кусками свиного сала, колбасы, ломтиками крольчатины и телятины, дольками лимона и другими продуктами, улучшающими вкус... Следом приносят блюдо с рыбой, которая должна быть самой лучшей для этого времени года, например, лосось, угорь или дорада... Далее следует подавать десерт, который обычно представляет собой яйца по-королевски; иногда подают «бланманже», но поскольку это блюдо дешевле, чем указанное выше, то к нему нужно добавить что-нибудь еще... Под конец трапезы подают сыр и севильские оливки, анисовые конфеты и полфунта сладостей в обертках, вафельные трубочки и зубочистки»⁵.

Но Аларкон признавал, что получение степени лиценциата обходилось дешевле, чем докторской степени, поскольку для этого высшего университетского посвящения, приносившего дворянский титул, церемониал предусматривал ритуал столь же блистательный, сколь и разорительный для виновника торжества.

Накануне дня присвоения докторской степени совершается *paseo* (прогулка), в которой принимают участие все магистры и доктора. В длинной процес-

сии, которую открывали трубачи и барабанщики, шествовали церемониймейстеры, за ними следовал преподавательский состав в парадных костюмах — черных шапочках с бахромой, длинных черных мантиях с белыми кружевами, поверх которых надевались короткие мантии с капюшоном, цвет которых зависел от факультета: свободных искусств — голубые, теологического — белые, медицинского — желтые, канонисты — зеленые, юристы — красные. Далее следовали эколятр, ректор, сторожа, доктор, которому предстояло объявлять о присуждении степени, и, наконец, сам кандидат на лошади, покрытой дорогой попоной. Кандидат одевался в бархат или шелк и носил на боку шпагу и кинжал. Наконец, дальше шли студенты, к которым присоединялись ремесленники и горожане, замыкавшие длинное шествие, которое растягивалось по узким улицам города от дома кандидата до университета, где совершалась церемония присуждения степени доктора и раздавались самые разнообразные лакомства.

Следующий день начинался с опроса кандидата одним из его учителей в зале для торжественных церемоний университета. Потом, — вероятно, этот обычай был навеян воспоминаниями о насмешках, сопровождавших в Риме триумфатора, поднимающегося на Капитолий, — товарищи новоиспеченного доктора осыпали его оскорбительными шутками о его персоне и способностях, прежде чем панегирик, произнесенный одним из присутствующих, залечит раны измученного самолюбия. От университета процессия следовала к кафедральному собору, где происходило последнее действо: новоиспеченный доктор получал знаки своей степени, передававшиеся ему «крестным отцом», который также надевал ему на голову докторскую шапочку; затем, поднявшись на кафедру, доктор произносил клятву и читал начало Евангелия от Иоанна «*In principio erat verbum...*», которое все присутствующие слушали стоя на коленях.

По окончании церемонии начиналось веселье, во время которого, как и в другие праздничные дни, устраивалась коррида, причем следовало убить по

меньшей мере пять быков. Напрасно папа Сикст V, напоминая о том, что в 1563 году папа Пий V отлучал от церкви священнослужителей, которые присутствовали на этих кровавых зрелищах, заклеил профессоров Саламанки, «знатоков священной теологии и гражданского права, которые не только не стыдятся смотреть на эти бои с быками, но и осмеливаются утверждать, о чем говорят и на своих лекциях, что священнослужители, будучи членами священных орденов, не навлекают на себя при этом гнев Божий...». Привлекательность традиционного праздника была сильнее угроз кары духовной. В ответе папе Сиксту V, — на котором стоит подпись Фрея Луиса де Леона, — собрание почтительно просило папу отменить те меры, которые «могли бы повредить спокойствию и надлежащему управлению этим учебным заведением»⁶.

Теперь новоиспеченному мэтру оставалось лишь подсчитать расходы, сопряженные с обретением высокого достоинства, только что полученного им, которые, помимо огромных трат на проведение корриды, включали в себя целую серию подарков, порядок вручения которых был оговорен в уставе университета и определен его традициями: 50 флоринов эколоятру и «крестному отцу», по два золотых каждому доктору, 100 серебряных реалов сторожу и нотариусу, а также подарки натурой: множество пар перчаток, мешки с сахаром, по три пары цыплят каждому, не считая раздачи «сладостей» и лакомств во время корриды. Траты были столь велики, что многие соискатели старались получить степень доктора в один день с коллегами, чтобы разделить расходы. В противовес такой экономии выдвигалось требование увеличить на корриде количество быков до десяти и более...

...

«Студенческая демократия» — так характеризовали организацию университета Саламанки. Тем не менее изначально одинаковое положение, которое

обеспечивали учащимся общие привилегии и возможность прямо влиять на подбор профессорского штата, не исключало неравенство, причиной которого были слишком различные социальные условия. Не только дети дворян или представителей высших слоев буржуазии занимали места на деревянных скамьях аудиторий. Многие семьи с весьма скромным достатком старались, часто ценой тяжких жертв, послать сына учиться ради обретения научной степени, которая позволила бы ему получить церковный бенефиций или войти в качестве *letrado* (адвоката) в состав государственной администрации. Поэтому под короткой сутаной (*loba*) и квадратной шапочкой, которые являлись повседневной одеждой студентов, фактически скрывалось крайнее неравенство в материальных условиях жизни.

На самом верху находился сын очень знатных родителей, поселявшийся с большим количеством прислуги в доме, купленном или снятом специально для него: таков был Гаспар де Гусман, прибывший в Саламанку в 1601 году в сопровождении гувернера, воспитателя, восьми пажей, трех камердинеров, четырех лакеев, повара, конюха и служанок и приезжавший на занятия верхом на лошади в сопровождении людей, составлявших его свиту, которые ждали его у дверей университета, чтобы сопровождать обратно домой...

В привилегированном положении находились и те, кого принимали в Большой колледж (*Colegio Mayor*). Изначально создававшиеся прелатами или благочестивыми людьми, старавшимися обеспечить бедным студентам возможность учиться, не испытывая материальных затруднений, эти большие колледжи со второй половины XVI века стали менять свой характер, становясь все более аристократическими, благодаря кооптации, с помощью которой обеспечивался набор «стипендиатов». Этот набор становился все более закрытым, поскольку однокашников связывало чувство солидарности. Они стремились монополизировать лучшие места в Церкви и государственных органах. При дворе у них были свои

агенты (*hacedores*), выбиравшиеся среди самых влиятельных «бывших», которые должны были защищать интересы выпускников колледжа при распределении церковных бенефициев и назначении на высокие должности и которые в обмен на эту услугу пристраивали в Большой колледж своих родственников и протеже. Внутри университета учащиеся колледжа образовывали группу, стоявшую особняком: во время выборов нового преподавателя все голосовали за кандидата, выбранного из их рядов; они не испытывали ничего кроме презрения к обучающимся в малых колледжах (*Colegios menores*), число которых увеличивалось, в частности, и потому, что большие колледжи перестали выполнять ту роль, которую должны были выполнять; скромности их костюмов они, вопреки положению, по которому студентам запрещалась любая роскошь в одежде, противопоставляли горделивую красоту своих плащей из тонкого сукна или шелка.

Однако большинство студентов жили за пределами колледжей и не были обеспечены материально, как их питомцы. Университетские власти старались как-то разрешить проблемы, встававшие у них на пути, особенно проблему жилья, организуя контроль за «бакалаврами питомцев», то есть хозяевами пансионов, уполномоченных селить студентов. Устав, принятый в 1534 году в Саламанке, не только определял материальные условия пансиона, но и предписывал «бакалавру» следить за нравственностью и прилежанием воспитанников: он должен был запираť дверь в половине восьмого; каждый вечер и каждое утро совершать обход их комнат, чтобы удостовериться, что все на местах; проверять, посещают ли они занятия, предусмотренные программой; пресекать бесполезные дискуссии и разговоры между ними и, наоборот, организовывать проработку материала, который излагали преподаватели; наконец, строго-настрого запрещать любые карточные игры и игры в кости под страхом немедленного лишения всех привилегий, которые давал университет⁷.

Что касается питания, то «бакалавр питомцев» был

обязан выдавать ежедневно каждому студенту фунт мяса из расчета полфунта на завтрак и полфунта на обед, закуску, десерт и «надлежащего» качества хлеб и вино, не считая добавок, положенных по большим праздникам.

Мы не знаем, долго ли соблюдались педагогические и нравственные предписания устава и был ли рацион, предусмотренный для студентов в других университетах, столь же щедрым, как в Саламанке. Однако достоверно известно, что «бакалавры питомцев» приобрели стойкую репутацию «торговцев супом», поскольку больше заботились о том, чтобы сэкономить на пище, нежели радели о воспитании юных умов, и что они стали одним из представительных типов в сатирической литературе того времени. Остроумие Кеведо в полной мере раскрывается при описании пребывания Дона Паблоса из Сеговии у одного из таких «бакалавров», лиценциата Кабра по прозвищу Страж Поста, который особенно заботился о том, чтобы его питомцы не испытывали неудобств от переедания. «После молитвы *Benedicite* в деревянных мисках подавали бульон, настолько прозрачный, что, если бы Нарцисс захотел его выпить, он рисковал бы куда сильнее, чем над ручьем. Я видел, с каким азартом тощие пальцы едоков гнались за сиротливо плавающей в миске горошинкой. С каждым глотком Кабра восклицал: «Нет ничего лучше, чем мясо в горшочках; что бы там ни говорили, все остальное — это порок и чревоугодие!» По окончании трапезы он говорил: «Дети мои, идите, часок-другой поупражняйтесь, чтобы пища, которую вы съели, не причинила вам вреда...» С пустым желудком нужно было все равно выполнять упражнения, которые были предусмотрены правилами. «Мне надо было, — говорил Паблос, — растолковать другим первую главу элементарного курса; но я был настолько голоден, что проглотил половину слов...»⁸

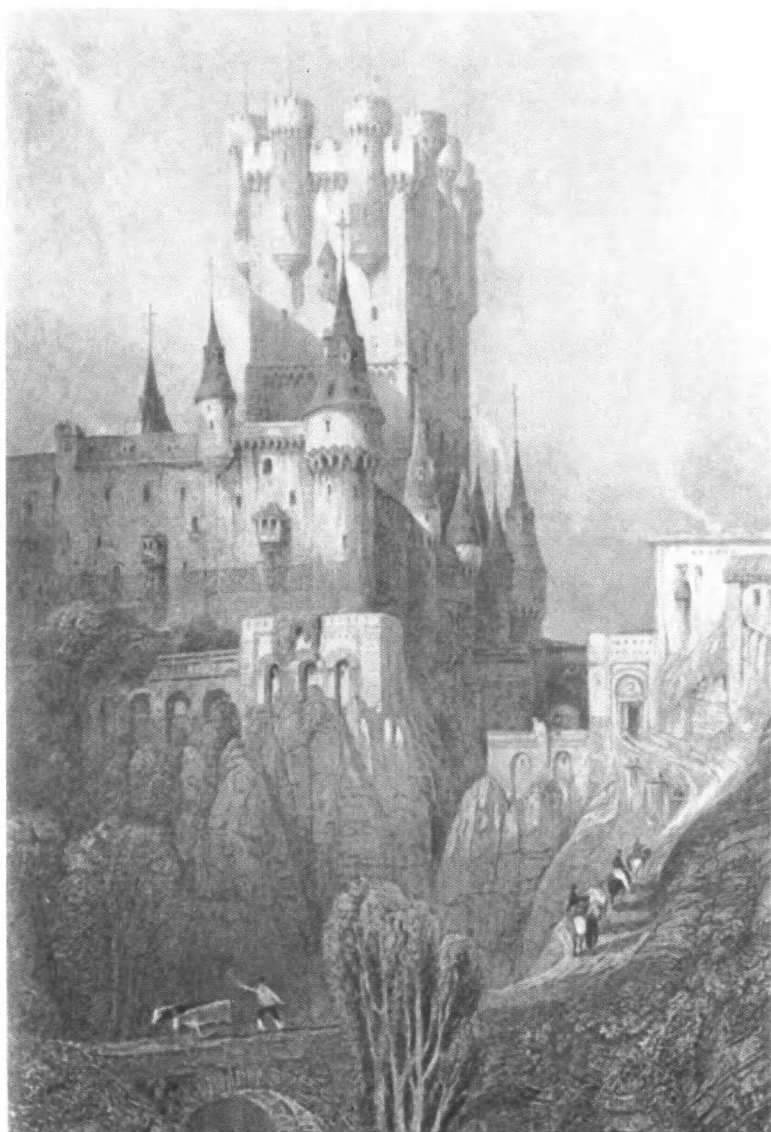
И все же «питомцы» были обеспечены кровом и едой, пусть даже такими неполноценными. Их положение считалось привилегированным по сравнению с *capigorristas*, бедными студентами, которые

вместо просторных плащей носили обычные накидки, плохо защищающие их от холода, и *gorra*, нечто вроде фуражки, вместо квадратной студенческой шапки. Для них повседневной проблемой было выживание. Вероятно, можно было попросить помощи у родителей, — но те уже выложили все, что у них было, чтобы отправить сына учиться в университет, — и с нетерпением ждать курьера, который, может быть, привезет хоть какие-то деньги. Но такие посылки были редки, и студенты утешались, сжигая родительские письма, полные полезных советов, но лишённые денег, напевая вместе с товарищами *Paulina*, пародию на *Pater noster*: «Жестокие и бессердечные родители, отцы, отказывающие в пище своим сыновьям, да будете вы каждую неделю испытывать тот голод, который мы испытываем каждый день, и как эта бумага превращается в золу, пусть деньги, в которых вы нам отказываете, превращаются в уголь в ваших сундуках. Аминь».

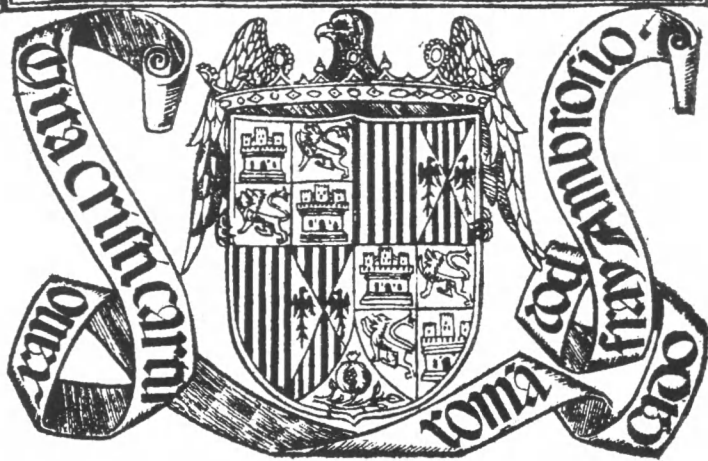
Был один источник дохода, к которому прибегали некоторые студенты. Они становились слугами своих более обеспеченных товарищей, живших в домах или квартирах, и разрывались между выполнением своих обязанностей по дому и изучением трудов Аристотеля и святого Фомы. Другие жили со служанками постоялых дворов, — или даже особами худшего сорта, — которые помогали им прокормиться. Наконец, был еще один способ выжить: получить патент на нищенство, поскольку этот статус официально регламентировался. Карл V и его сын Филипп II определили условия, при которых студент мог быть признан таковым: «Студенты могут просить милостыню с разрешения ректора университета, в котором они учатся, а если нет ректора, то с разрешения духовного судьи епархии, в которой находится упомянутый университет»⁹. В случае получения такого документа студенты имели право, наравне с другими нищими, на *sopa boba*, «жирный суп», который монахи каждый день выносили к воротам своих монастырей, разжигая перед трапезой чувство голода собравшихся чтением молитвы *Benedicite*.

Этот студенческий голод, ненасытный и всегда неутоленный, постоянно возникал в описаниях университетской жизни в литературе того времени. «Если бы голод и чесотка не были неразлучными спутниками студентов, — писал Сервантес, — нельзя было бы вообразить более приятного времяпрепровождения, поскольку добродетель и наслаждение шли в нем рука об руку, и студенты проводили свою молодость в учебе и развлечениях»¹⁰. Развлечения помогали забыть о голоде. «Есть ли жизнь более прекрасная, чем студенческая? — писал Матео Алеман. — Есть ли более счастливая жизнь? Можно ли найти хоть один вид забав, который бы не был доступен студентам? Они прилежны? В таком случае они найдут себе подобных. Они одиноки? Для них обязательно найдутся товарищи... Где еще можно найти столько замечательных друзей?.. О сладкая жизнь студента! Паясничать в одеянии епископа¹¹; заставить попотеть новичка; купить голоса в день выборов; с пеной у рта отстаивать правоту своих товарищей; заложить все, чем владеешь, когда курьер с деньгами не прибывает вовремя: одно у кондитера, другое у бакалейщика; Дунса Скота — торговцу пирожками, Аристотеля — торговцу вином; держать кольчугу под матрасом, шпагу — под кроватью, а щит — на кухне, пользуясь им как крышкой для котелка... В какой кондитерской нет у нас долгов в дни, когда мы на мели?»¹²

Шутки над новичками, — традицию которых новый университет в Алькале почтительно перенял, — были часто дурного вкуса, а иногда и просто откровенно грубыми. Новичка (*novato*), мгновенно определявшегося по тому, как неловко он носил новую сутану и квадратную шапочку, окружала группа бывалых, исполненных притворной услужливости: «Ну что, оставил папочку и мамочку? Много было слез?.. Какая великолепная сутана! А крепка ли она?» И в порядке испытания новичку отрывали рукав. «А какая чудная шапочка!» И шапочка шла по рукам, пока вся измятая не возвращалась и грубо не натягивалась по уши на голову владельца¹³. Но это было лишь



Замок Алькасар в Сеговии. Гравюра неизвестного художника XIX в.



Католические короли Фердинанд и Изабелла покровительствуют наукам и искусствам.
Внизу — герб единой Испании.
Гравюра начала XVI в.



Герцог Альба. 1557 г. Неизвестный художник XVI в.



Тициан. Император Карл V. 1548 г.



Филипп II в юности.



Тициан. Императрица Изабелла Португальская. 1548 г.

Филипп II с отцом Карлом V. Придворный художник XVI в.





Тициан. Филипп II.



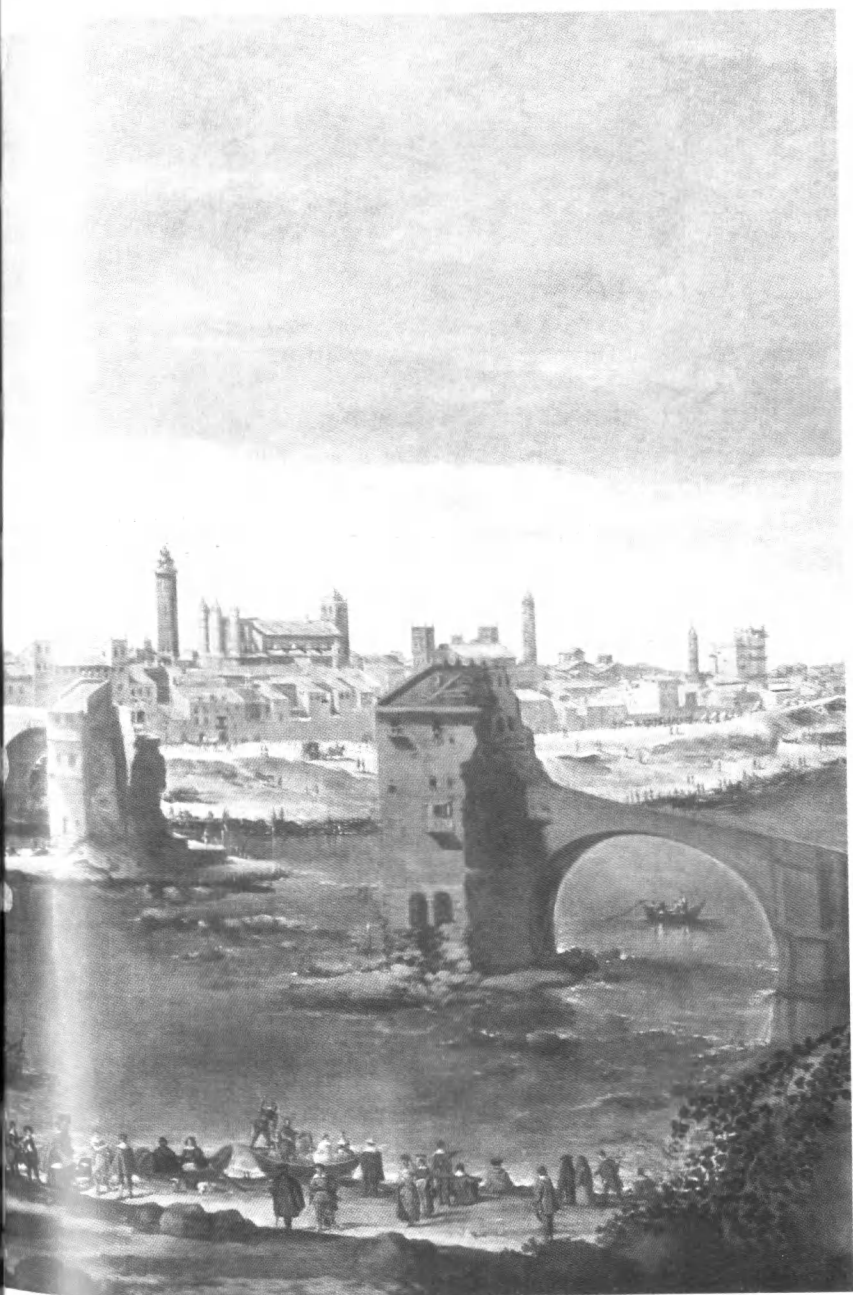
Франсиско Сурбаран. Освобождение Кадиса.



*Софонисба
Ангисола.
Елизавета
Валуа.*

*Хуан Баутиста
Мартинес
дель Масо.
Вид Сарагосы,
1646 — 1647 гг.*





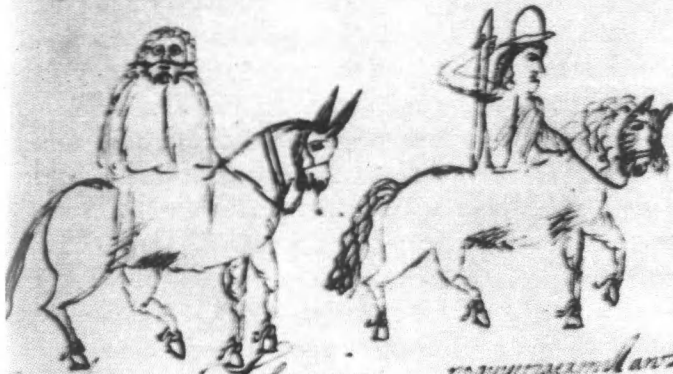


Диего Веласкес. Граф-герцог Оливарес, первый министр Испании, фаворит короля Филиппа IV. 1625 г.

Y, ves perdida por culpa de la
Ha; en la Ciudad de Toledo, a 19.
de octe de 1641 =

El Cuallero de la crith figura
Concuerda con su original

El Escen. Home Carrero,



Com. de la...
Sancho Panza...
quien...
quien...

...
...
...
...

Famogrus...
...
...
...

Карикатура, представляющая Филиппа IV в виде Дон Кихота и Оливареса в образе Санчо Пансо. Первая четверть XVII в.

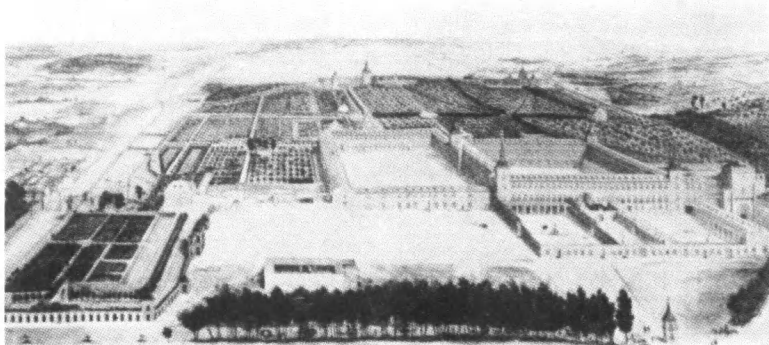


Эскориал.



Диего Веласкес. Дон Диего де Аседо, карлик Эль Примо.

Общий вид дворца Буэн Ретиро.





Франсиско Кеведо.



Луис де Гонгора.

Лопе де Вега.

Автограф комедии Лопе де Вега.



EL FAVOR

AGRADE

CIDO

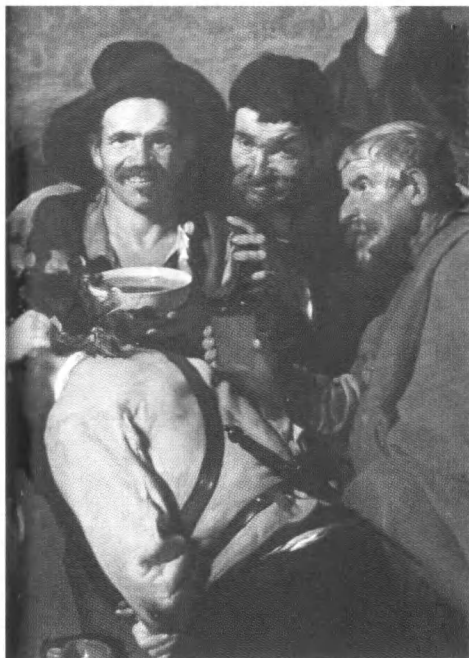
TRAGICOMEDIA



En Mdr. 19 de Mayo de 1595



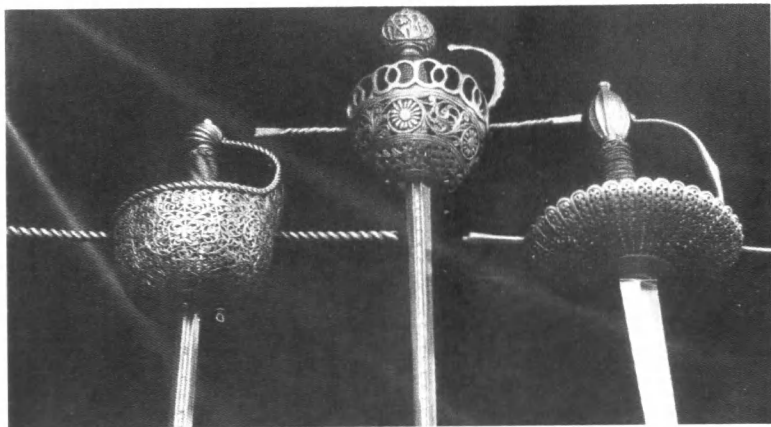
Диего Веласкес. Пряжи.



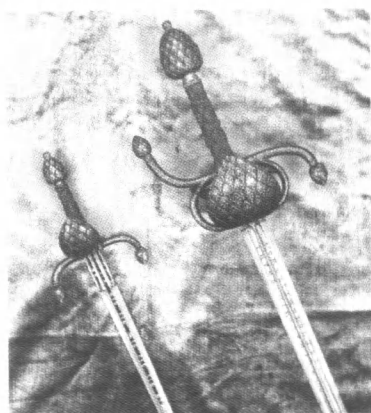
*Простые испанцы.
Фрагмент картины
Диего Веласкеса
«Триумф Вакха».*



Франсиско Сурбаран. Монахи за обедом. 1636 г. Фрагмент.

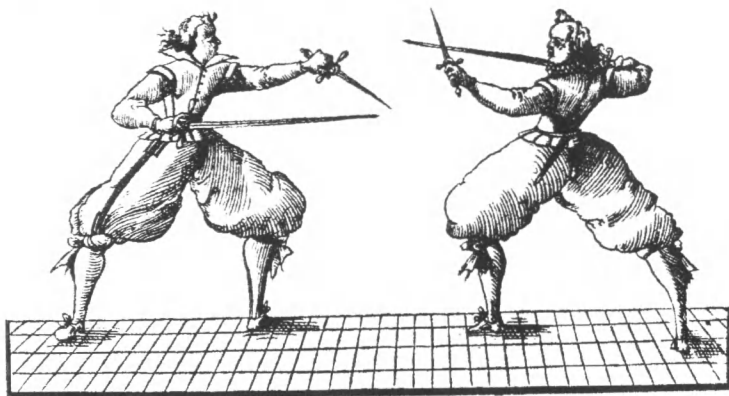


Рапиры.
Испания. Первая половина XVII в.



Шпага и кинжал для левой руки.
Тоledo. 1597 г.

Поединок.



вступление, и можно узнать у Пабло из Сеговии, в чем состояло продолжение *novatada* (посвящения новичка): «Я вошел во двор (университета Алькалы), и едва я ступил туда, как ученики стали пристально на меня смотреть, говоря при этом: “Глянь-ка, новичок”... Я засмеялся, чтобы они подумали, что ошиблись, но все было напрасно... Их было уже больше сотни вокруг меня. Они начали фыркать, и по движению их губ я догадался, что они собираются делать. Один из них, явно простуженный, плюнул в меня. Я воскликнул: “Господи, ты меня...” Я не смог закончить: настоящий дождь обрушился на меня. Я прятал лицо под полый плаща, но я был мишенью для всех, а они метко целились. Я был оплеван с головы до ног и стал похожим на плевательницу старого астматика». Этот обычай *sacar nevado* (делать белым как снег), подтверждаемый всеми свидетельствами того времени, сопровождался множеством других шуток, иногда еще более отвратительных, которые продолжались в течение нескольких дней. Наконец это «крещение» заканчивалось и в завершение устраивалась трапеза, которую новичок устраивал для более старших учеников, а те отныне принимали его в свои ряды: «Да здравствует наш собрат! да будет он принят к нам; пусть отныне он пользуется всеми преимуществами старших; пусть он болеет чесоткой и умирает с голоду, как все мы!..»¹¹ Теперь он мог участвовать во всех развлечениях и во всех ссорах, которые только могли возникнуть в этом «приятном, фантастическом, бесстрашном, свободном, влюбленном, расточительном, дьявольском, веселом» мире, созданном, по словам Сервантеса, студенческой братией.

Развлечения не ограничивались лишь теми, которые предлагал университетский календарь, изобиловавший праздниками. К развлечениям относились также забавы, официально запрещавшиеся университетскими правилами: карты, кости и конечно же любовные приключения. Последние могли быть чисто платоническими: *galanteo de monjas* (ухаживания за монашками) получили распространение в Сала-

манке и других университетских городах, где некоторые студенты занимались любовной казуистикой в монастырских приемных, которых было еще больше, чем колледжей. Но в любом университетском городе по другую сторону монастырских решеток многочисленные «девушки», отнюдь не слышавшие недо трогами, всегда были готовы утешить студентов в их горестях. Несмотря на то, что эти девушки продавали свою любовь, она также являлась поводом для соперничества, иногда приводившего к дуэлям, дракам и даже убийствам. Гусман де Альфараче был не единственным, у кого под кроватью хранилась шпага. Многие студенты, когда выходили на улицу ночью, надевали под сутану кольчугу, а на пояс вешали шпагу или кинжал.

Другим поводом для ссоры служили разногласия между «нациями», то есть стычки между группами студентов, родившихся в различных провинциях Испании. Поводом для спора могли служить выборы преподавателя, потому что каждая «нация» принимала сторону своего земляка. Но чаще всего единственной причиной для ссоры служила взаимная неприязнь, которую испытывали друг к другу уроженцы различных областей страны, и представители одного землячества могли стать объектом насмешек со стороны другого.

Стоило только возникнуть ничтожной ссоре между представителями различных «наций», как каждый из соперников бросался за помощью к своим и начиналась настоящая баталия, которая прекращалась только с появлением общего врага — людей, следивших за порядком. Они были заклятыми врагами студентов и не вызывали к себе ни малейшей симпатии в связи с тем, что по своему положению были неподсудны общим органам правосудия, имея благодаря этому возможность заниматься злоупотреблениями, которые были выявлены королевской комиссией, созданной в 1645 году для изучения этой проблемы: «В университетские регистры попадают люди старше двадцати лет, у которых нет ни малейшего намерения учиться и которые никогда ничему не учи-

лись; они стараются только показать свою храбрость и ведут беспорядочный и авантюрный образ жизни, оказывая, таким образом, дурное влияние на более молодых студентов». В связи с этим комиссия предложила усилить контроль, чтобы удостовериться, все ли зачисленные студенты ходят на занятия и умеют говорить на латыни, в противном случае они должны были препоручаться коррехидору — то есть во власть государственного правосудия — и рассматриваться как бродяги¹⁵.

Жители Саламанки, так же как и Алькалы, тоже были жертвами этих эксцессов. Они, конечно, понимали, что практически всем своим существованием город был обязан присутствию в нем университета, и все их типографии, книжные лавки, пансионы и торговля были живы только благодаря большому количеству студентов. Но как можно было терпеть не только воровство в лавках — искусство, в котором Пабло из Сеговии, студент университета Алькалы, достиг, как он похвалялся, мастерства, — но и взламывание дверей домов, насильование дочерей и другие «шалости» подобного рода? По многим делам горожане принимали сторону полиции против студентов, и уголовные суды не колеблясь — невзирая на знаменитые университетские *fueros* — приговаривали некоторых заводил к казни, чтобы восстановить спокойствие¹⁶.

Все эти эксцессы и решительное вмешательство властей с целью положить им конец могли способствовать некоторому упадку, проявившемуся в университетской жизни с начала XVII века. Но основные причины были интеллектуального порядка: замыкание Испании в самой себе со времен правления Филиппа II; враждебность в отношении любых «новшеств» и возвращение, после периода расцвета в первой половине XVI века, к методам и духу схоластики; наконец, все более нараставшая конкуренция со стороны колледжей ордена иезуитов, которые привлекали лучших представителей высшего испанского общества. Основание Имперского колледжа в Мадриде в 1625 году, несмотря на протесты Саламан-

ки, Алькалы и других крупных университетов, явилось в этом отношении важным событием.

Прекрасная эпоха университетов закончилась, но место, которое занимают в произведениях самых великих писателей того времени упоминания о студенческой жизни, остается наиболее красноречивым свидетельством важной роли, которую университеты сыграли в духовном формировании людей, прославивших золотой век.

2

Чтобы глубоко проникнуть в мир литературы, наверное, не найти лучшего проводника, чем Лопе де Вега. И не только по причине его необычайной плодovitости и гениальности, которые сделали его уникальным творцом, но и потому, что его жизнь вошла в себя как все величие, так и тяготы писательского существования и ведет нас по полям сражений, на которых разворачивались литературные бои того времени. К тому же присутствие столь неординарной личности в обществе эпохи золотого века любопытным образом освещает некоторые нравственные отклонения общества в целом¹⁷.

Представитель семьи весьма скромного происхождения из *Montana* (то есть Астурии) Феликс Лопе де Вега Карпью не избежал предрассудков благородства, характерных для его времени. Хотя его отец был всего лишь «вышивальщиком» (или, точнее, владельцем вышивальной мастерской и в связи с этим пользовался привилегиями, которые жаловались представителям профессии, считавшейся весьма уважаемой), позже, когда стала намечаться его литературная слава, он начал претендовать на благородство рождения, взяв себе второй патроним у Бернардо дель Карпью, по испанской легенде — победителя Роланда в Ронсевальском ущелье, у которого он замешивал и не менее легендарный герб, украшенный девятнадцатью башнями.

Свою учебу он начал в Мадриде у иезуитов в 1572

году в возрасте одиннадцати лет, и его рано проявившаяся интеллектуальная развитость снискала ему протекцию одного из иерархов Церкви Херонимо Манрике, который позже стал епископом Картахены. Благодаря ему юный Лопе был принят в один из больших колледжей Алькалы, а именно в Сантьяго, и его будущая карьера казалась predetermined: стать членом религиозного ордена, жить — как постушил его враг Гонгора — на доходы от пребенды и церковного бенефиция. Но только посещал ли Лопе университетские лекции? Его имя не фигурирует в журналах отметок, которые сохранились от той эпохи, и, вероятно, ему были знакомы все прелести студенческой жизни: свобода, дружба, удовольствия, которыми восторгается Гусман де Альфараче. Во всяком случае, он покинул Алькалу, не получив степень, и в течение нескольких лет, о которых меньше всего известно, вероятно, вел жизнь, полную приключений, в компании с актерами и актрисами, с чего и началась его карьера драматурга и оболъстителя.

Он снова появляется в Мадриде в 1583 году среди других молодых людей, составлявших «богему», жадную до удовольствий, риска и славы. Случай представился: готовилась морская экспедиция для покорения Азорских островов, которые отказались признать господство Испании над Португалией. Лопе де Вега вместе с несколькими товарищами отправился в Лиссабон, но успех этой кампании не наставил его на путь армейской карьеры, и по возвращении в столицу он посвятил себя музам и тем, кто представлял их на подмостках. Он написал для Херонимо Веласкеса, «автора» (то есть директора театральной труппы), несколько комедий, создавших ему самому репутацию и вместе с тем обогативших Веласкеса. Но когда Лопе дарил свои пьесы импресарию, он делал это не совсем бескорыстно: он ухаживал за дочерью Херонимо Еленой (которая была замужем за актером, но рассталась с ним) и, вероятно, при пособничестве матери Елены легко одержал победу. Слишком легко: воспользовавшись отъездом Лопе в Севилью, красавица нашла себе более богатого и более

могущественного покровителя. Лопе отомстил, не только начав писать пьесы для конкурента Веласкеса, но и выставляя в них Елену и ее семью в самом невыгодном свете¹⁸.

Но комедианты нанесли ответный удар, обвинив писателя в очернительстве. Лопе был арестован во время представления в собственном театре, где он над ними подтрунивал. Его допрашивали. Он дерзко отрицал всё, хотя свидетельств было достаточно. Приговор был суров: в течение восьми лет ему запрещалось жить в Мадриде, а на два года его высылали из «королевства» (то есть с территорий, подвластных Кастильской короне).

Итак, надлежало покинуть Мадрид в течение двух недель. Этого времени ему как раз хватило, чтобы совершить более тяжкое преступление — похитить человека. К тому времени Лопе уже забыл измену Елены. Он был увлечен молодой девушкой из буржуазной семьи, Изабеллой де Урбина, родители которой не слишком желали для своей дочери мужа-поэта, не имевшего ни гроша за душой. При помощи одного альгвасила, явившегося к девушке и велевшего ей следовать за ним «именем святой инквизиции» — страшная формулировка, которой невозможно было не подчиниться, — Лопе выманил Изабеллу из дома и увез ее с собой в Валенсию. Но риск был слишком велик, потому что похищение человека каралось смертью, и уголовная юстиция могла преследовать виновного по всей Испании. Оставался один выход — бежать. Несчастливая Изабелла, беременная, была снова отправлена в Мадрид, правда, Лопе выдал одному из своих друзей доверенность от его имени жениться на ней. Но где спрятаться? К счастью, вся Испания была тогда охвачена религиозным и патриотическим воодушевлением: Непобедимая армада, которая должна была сломить английское могущество, собиралась в порту Лиссабона, и со всех сторон туда хлынули потоки добровольцев, желавших принять участие в великом предприятии. Лопе решил присоединиться к ним. Не в том ли спасение: сначала заставить забыть о себе, затем вернуться, покры-

тым славой, выхлопотать амнистию, в которой не смогут отказать одному из тех, кто обеспечил победу испанскому оружию?

Исход этой экспедиции был, как известно, иным, и Лопе де Вега не удалось стяжать себе на борту судна «Сан Хуан» лавры, какие достались Сервантесу в битве при Лепанто пятнадцатью годами раньше. Он тайно пересек Кастилию и вернулся в Валенсию, где воссоединился со своей женой Изабеллой, поскольку брак по доверенности тем временем загладил обвинение в похищении. В Валенсии очень любили театр, и для *corral de la Olivera* (театра Оливеры) явилось большой удачей приобретение широко прославленного сочинителя комедий, который со своей стороны предавался всем развлечениям, какие только мог дать ему город, слывший самым веселым в Испании, где больше всего любили всевозможные удовольствия.

Сколь бы притягательна ни была столица Леванта, его тянуло обратно в Кастилию. В 1590 году окончился срок высылки из «королевства». Не имея возможности обосноваться в Мадриде (откуда он был изгнан на восемь лет), Лопе селится в Толедо в качестве слуги (*criado*) и секретаря Франсиско де Рибера. Но в следующем году ему выпала удача встретить покровителя более высокого ранга: Диего Альвареса де Толедо, герцога д'Альба, который увез его в Альба де Тормес, где он обычно жил. Альба была небольшим городком, но близость Саламанки создавала для бывшего студента Алькалы оживленную атмосферу университетской среды. Он часто ускользал из дома своего хозяина и пускался в любовные приключения. В Альба де Тормес герцог д'Альба содержал при своем дворце небольшой двор с «академией», где разворачивались поэтические турниры между завсегдатаями дома. Так прошли пять плодотворных с литературной точки зрения лет, пока Лопе не поссорился с герцогом и не оставил его дворец, чтобы вернуться в Толедо. Он вернулся один, потому что его жена Изабелла умерла незадолго до того. Но, возможно, еще больше огорчило его другое несчастье: смерть прин-

цессы Катерины Савойской, дочери Филиппа II, повлекшая за собой закрытие театров, а затем, по настоятельному ходатайству группы теологов, полный и окончательный запрет устраивать театральные представления, рассматривавшиеся теперь как школа безнравственности (1598).

На что теперь жить? Не приходилось больше рассчитывать на продажу своих пьес руководителям театральных трупп; что касается издателей, то они платили за произведения в прозе и стихах так мало, что об этом не стоило и говорить. Итак, надо было снова обращаться к грандам: на счастье, Лопе познакомился с герцогом де Сарриа (позднее графом де Лемосом, покровителем Сервантеса) и стал его секретарем, особым поручением которого было ведение любовной переписки. Лопе также мечтал о том, чтобы получить деньги от собственных любовных связей или по крайней мере их видимости: он ухаживал за Хуаной де Гвардо, дочерью крупного торговца, специализировавшегося на сделках по обеспечению Мадрида продуктами питания, очень богатого, что давало повод надеяться на большое приданое, которое компенсировало бы некрасивую внешность дочери. Несмотря на возражения отца, мало чувствительного к обаянию поэзии, Лопе — шарм которого был неотразим — «уладил дельце», которое окончилось катастрофой, поскольку тесть умудрился не заплатить ни гроша из обещанного приданого. Правда, поэт быстро нашел компенсацию недостатку красоты Хуаны: он не был женат и трех месяцев, как уже начал ухаживать за безработной актрисой Микаэлой де Лухан, которой было 27 или 28 лет, красивой, остроумной женщиной, но бывшей замужем за посредственным актером, от которого у нее было трое детей. Он еще не успел одержать над ней победу, а герцог де Сарриа велел ему сопровождать его в Валенсию, где он должен был принять участие в больших торжествах по случаю свадьбы Филиппа III с Маргаритой Австрийской. В чередe многочисленных развлечений: «битва Карнавала и Поста», коррид, состязаний и турниров (участие в которых Лопе заключа-

лось в декламации стихов о «странствующих рыцарях» и панегирика в честь короля) — было время, чтобы если не забыть о Микаэле, то по крайней мере дать выход своему любовному пылу, и от мимолетной связи с жительницей Валенсии у него родился сын (который впоследствии стал монахом).

Незадолго до возвращения Лопе в Толедо муж Микаэлы уехал в Америку, и она уступила страсти Лопе. В течение последующих нескольких лет Лопе разрывался между двумя семьями, одной законной, другой незаконной, но в обеих появились дети. Открытие театров в 1600 году по приказу Филиппа III вынудило Микаэлу отправиться в турне, и чтобы встретиться с ней, любовник совершал многочисленные путешествия в Гранаду и Севилью, где местные литераторы обычно очень тепло принимали самого знаменитого испанского драматурга. Однако и там находились завистники, которые злословили о его стихах и — с большим основанием — о его жизни. На первой странице издания *El peregrino en su patria* («Странник в своем отечестве») он выгравировал свой знаменитый герб с девятнадцатью башнями, позаимствованный у Бернардо дель Карпью, на что с сарказмом реагировали некоторые его поэтические противники, и особенно Гонгора:

Своей жизнью, мой дорогой Лопе, затми
Девятнадцать башен с твоего герба.
Ты, возможно, выпускаешь много ветров,
Но мало для такого количества мельниц¹⁹.

Поскольку возобновление театральной деятельности позволило ему снова продавать свои пьесы, Лопе де Вега оставил службу у герцога де Сарриа; но ему представился случай нового покровительства, со стороны герцога де Сессы, молодого человека двадцати трех лет от роду, страстно любившего стихи и женщин, но не имевшего таких талантов, как Лопе, ставший на всю оставшуюся жизнь его «сердечным секретарем», которому поручалось сочинять в вычурном стиле, который был тогда в моде, письма, адресованные его возлюбленным.

Тем временем Лопе порвал с Микаэлой де Лухан (оставив ей несколько детей) и в 1610 году перебрался в Мадрид, где купил на Французской улице маленький домик с цветущим садом. Его слава драматурга и поэта была тогда в самом зените. «Он подчинил себе, — писал Сервантес, — всех комедиантов Испании». На целом полуострове не было театра, который бы не ставил его пьесы, и выражение «Это от Лопе...» стало крылатым, означая «все самое лучшее». И как раз в этот момент Лопе, казалось, захотел удалиться от мира, чтобы приблизиться к Богу: с 1608 года он сопровождал свое имя на титульных листах словами «приближенный Святой службы» и в этом качестве принял участие в 1624 году в шествии, которое сопровождало на казнь одного из «лжехристиан», уличенного в осквернении просфоры. В 1609 году он вступил в Братство рабов Святого причастия и три года спустя опубликовал *«Четыре монолога Лопе де Вега и слезы, которые он пролил перед распятием, прося прощения у Бога за свои грехи; произведение исключительной важности для каждого грешника, который хочет избавиться от своих пороков и начать новую жизнь»*. Новую жизнь? Смерть его законной жены, несчастной Хуаны, в 1613 году, казалось, предоставила ему такую возможность. В 1614 году он решил принять сан священника — ему было 52 года — и был посвящен в Толедо. Но вечером того же дня, когда он принял сан, он отправляется жить к своей новой любовнице, еще одной актрисе, Херониме де Бургос, с которой познакомился за год до этого, за несколько дней до смерти Хуаны...

Скандал был настолько громкий, что новоиспеченному священнику — который, впрочем, продолжал вести любовную переписку герцога де Сессы и даже принимать участие в его любовных авантюрах — сначала не удавалось найти исповедника. За Херонимой в скором времени последовала другая актриса, Лусия де Сальседо, которую сам Лопе в своих письмах называл «Безумная» (*la Loca*): не обладая ни красотой, ни умом, она покорила поэта, который, не в силах жить без нее, отправился за ней (под пред-

логом того, что хочет повидать своего сына-монаха) в Валенсию, куда она уехала на гастроли.

Лишь еще более поглощающая страсть избавила его от «Безумной»: в 1617 году он познакомился с молодой женщиной, Мартой де Неварес, двадцати шести лет, женой одного «старикашки» (а сам он разве не был таким?..), от которого у нее родилось несколько детей. Она была красива, очень образованна, в свое время сочиняла стихи и была верна мужу — во всяком случае, хотела хранить ему верность. Именно благодаря рясе священника и своему сану Лопе сблизился с ней в качестве «духовного наставника»... Вскоре она забеременела, и по настоянию Лопе де Вега начала бракоразводный процесс с мужем, который закончился раздельным проживанием супругов и раздельным владением имуществом. Муж умер, признав себя отцом последнего ребенка, а Марта переехала на Французскую улицу, где у нее родились еще две дочери, которые считались не только незаконнорожденными, но и святотатственными, поскольку их отец был священником, регулярно служившим мессу в монастыре Магдалины, что послужило поводом для едкой эпиграммы Руиса де Аларкона:

... весь окутанный Мартой,
он продолжает наслаждаться Магдалинами²⁰.

И тем не менее его слава была такова, что со скандалом примирились, и Лопе де Вега приглашали принимать участие в самых торжественных церемониях. В 1620 году Мадрид обратился к нему с просьбой председательствовать на поэтическом турнире, проводившемся в честь праздника по поводу беатификации покровителя города, святого Исидро-работника. Лучшие поэты Испании были приглашены к участию в этом конкурсе, в котором отличился тот, кто после Лопе унаследовал скипетр короля драматургов — Кальдерон де ла Барка. Двумя годами позже святой Исидро был канонизован: новые праздники, новые литературные состязания, в которых приняли участие 132 поэта. Лопе получил первый приз, два

других достались Кальдерону и Гуильену де Кастро. В тот же год мадридские власти провели в честь канонизации святой Терезы другой поэтический турнир, проходивший во дворе Королевского дворца в присутствии короля и королевы. «Лопе де Вега Карпью был секретарем конкурса», — сообщали «Новости» Мадрида, и больше ничего не требовалось говорить, чтобы стало понятно, что праздник был великим во всех смыслах»²¹. Лопе получал почести и от папской курии: папа Урбан VIII назначил его доктором теологии в *Collegium sapientiae* и пожаловал ему крест ордена Святого Иоанна Иерусалимского...

Лопе был тогда, по словам его биографа Монталбана, самым богатым и самым бедным человеком своего времени. Богатый литературными трудами, разнообразие и масштабы которых были поистине удивительными; бедный, потому что дохода от этих трудов едва хватало на содержание его незаконной семьи. Руководители театральных трупп, чье материальное положение было весьма трудным, и поэтому они часто разорялись, очень нерегулярно оплачивали пьесы, которые покупали по достаточно высокой цене в 500 дукатов; к тому же отсутствие какой бы то ни было защиты «интеллектуальной собственности» позволяло пользоваться ею плагаторам: некто Луис Рамирес де Арельяно, бывший студент Алькалы, одаренный феноменальной памятью, специализировался на том, что запоминал наизусть текст пьесы, слушая ее на двух-трех спектаклях, записывал ее и перепродавал. Напрасно Лопе выражал протесты и обращался в суд: факт запоминания текста не мог, по словам судей, рассматриваться как кража.

Нужны были другие источники дохода, и Лопе без конца обращался к герцогу де Сесса, просил дать ему карету напрокат, послать отрез на платье дочерям, иногда даже просил денег, разумеется, в достойных выражениях, но это все равно унижало его, особенно когда, например, герцог вызывал его, чтобы публично использовать в роли капеллана, «служащего перед ним мессу каждый день за весьма скромное жалованье». То, что и сам он ощущал свою рабскую

зависимость, чувствуется в наставлениях, адресованных им своему сыну в посвящении ему одной из книг: «...если вы чувствуете потребность сочинять стихи (храни вас Бог от этого), позаботьтесь, чтобы это не стало вашим главным занятием... Не ищите лучшего подтверждения этим словам, чем мой собственный пример, поскольку, даже если вы проживете долгую жизнь, вы все равно не сможете сделать для хозяев своей родины столько, сколько сделал я, чтобы заслужить награду; а ведь у меня, как вы знаете, есть лишь бедный домик, убогая кровать, скудный стол и маленький сад, цветы которого являются моим единственным утешением во всех моих бедах».

Молодой Лопе не последовал по стопам своего отца. Поссорившись с ним, он избрал карьеру военного и погиб в кастильских колониях. У драматурга остались две дочери, которые считались родившимися от «неизвестного отца». Одна постриглась в монахини монастыря Троицы в Мадриде. Другая, Мария Антония, которую выдавали за его племянницу, стала его единственной отрадой после того, как Марта де Неварес ослепла, затем сошла с ума и умерла в 1632 году. Но богиня мести Немезида не пожелала, чтобы Дон Жуан, поэт-богохульник и любимец женщин, мирно окончил свой жизненный путь. В 1634 году Мария Антония с собственного согласия была похищена Кристофором Тенорио де Вильяльта, как Изабелла де Урбина была когда-то увезена ее отцом. Через несколько месяцев (в августе 1635 года) братья из Святой службы, рыцари ордена Святого Иоанна и братство священников Мадрида понесут к могиле «феникса поэтов», Феликса Лопе де Вега Карпью.

...

То, что Лопе де Вега, в течение двадцати лет бывший постоянным «поставщиком» пьес для всех театральных трупп Испании, мог существовать только благодаря материальной помощи знатных сеньоров, весьма красноречиво рисует положение писателей того времени. Никто из них не мог прокормиться

своим пером, и те, кому не посчастливилось встретить великодушного покровителя или извлечь какую-то выгоду из церковных должностей (как Гонгора, бывший пребендарием капитула Севильи), вынуждены были зарабатывать себе на хлеб, выполняя недостойную их гения работу, как, например, «поставка продуктов для флота» — этим занимался Сервантес, после чего по обвинению в растрате попал в тюрьму Севильи — менее славное место, чем каторга в Алжире, куда привела его военная карьера.

Тем не менее, несмотря на такую нищенскую жизнь писателей, литература начинала играть в жизни испанцев все более важную роль, стремясь превратиться в «обычную деятельность общества, в которую вмешиваются все и которая затрагивает всех»²². Особенно это относилось к поэзии, которой занимались люди всех слоев общества, от знатного сеньора до студента и простого ремесленника, так что Испания была просто наводнена поэтами и рифмоплетами, занятыми поисками рифм — и конечно же издателя.

Любовь к поэзии и литературным дискуссиям находит свое излюбленное место с конца XVI века в «академиях», число которых быстро множится в первой половине следующего века. Существовая под покровительством известного человека, — для Придворной академии это был сам король, — они собирали писателей, лучшие умы страны и знатных сеньоров. Последние не ограничивались вдохновением поэтического фимиама, курившегося в их честь, а часто присоединялись к пишущим стихи. Каждый приходил туда сорвать аплодисменты, либо читая свои самые последние произведения, либо слагая остроумный экспромт в форме сонета, песни, «романса»²³. В обязанности жюри входило присуждение пальмы первенства в этих состязаниях, но, как советовал Сервантес одному молодому поэту, «претендуйте на второй приз, поскольку первый всегда дается по благосклонности и за личные качества, а второй — за заслуги». Никто не слушал этих мудрых советов, и тогда от того, что стихи не были оценены, нарушала

спокойствие этих мирных турниров. «Мне только и говорят, что об академиях, где соревнуются знатные люди и многие поэты, — писал в 1612 году Лопе де Вега герцогу де Сесса. — В академии Парнаса были поэтически “укушены” лицензиат Сото, родом из Гранады, и знаменитый Луис Велес. Дело дошло до размахивания щитами и поджиданий друг друга у ворот. Никогда еще Марс не проявлял себя столь жестоким по отношению к Музам...»²⁴

Мы видели, сколь важны были поэтические состязания, устроенные по случаю канонизации святой Терезы и святого Исидро-работника, в которых приняли участие самые знаменитые поэты Испании. Этот вид конкурсов стал обычным сопровождением праздников, проводившихся в крупных городах и даже в маленьких поселениях. Эстебанильо Гонсалес рассказывал, что, проезжая через маленькую деревушку в Арагоне, где готовились к «битве мавров и христиан»²⁵, он увидел на двери церкви «двадцать четыре приза, которые должны были быть вручены за двадцать четыре лучших сонета, сложенных в честь розы, которая утром всего лишь бутон, в полдень расцветает, а вечером увядает... Призами служили пояса, перчатки, кошельки и пара цветных подвязок для чулок. Когда мы пришли на это “академическое” состязание, было уже более двадцати сонетов, сочиненных студентами и почтенными горожанами из числа собравшихся поглазеть на этот праздник».

Истинная поэзия мало что выигрывала от этих оргий рифмоплетов, где красноречие обычно было важнее, чем вдохновение. Но более конкретное выражение эти навыки красноречия получили в двух поэтических школах, между которыми, особенно с 1610 до 1650 года, распределился испанский литературный мир: культеранизм и концептизм. Культеранизм стремился к созданию оригинального поэтического языка, обогащенного лексикой и синтаксическими фигурами латыни, и искал самые утонченные и витиеватые формы выражения. Концептизм больше заботился о том, чтобы передать всю сложность идей и концепций с помощью красноречивых

сравнений и антитез, в конечном счете выходя за пределы здравого смысла.

Доведенные до логического конца, концептизм и культеранизм приводили практически к идентичному результату — созданию искусственного языка, вычурного и непонятного, бесконечно далекого от того, на котором говорил народ. Поэтому борьба, которая развернулась между сторонниками двух школ, и атаки на них, предпринимаемые их общими противниками, были бы менее яростными, если бы зависть и соперничество не прибавляли к ним личные обвинения и оскорбления. Никогда еще *genus irritabile vatum* («раздражительное племя поэтов») не проявляло себя с такой злобой, как в литературных кругах золотого века, где полемика в прозе и в стихах играла очень важную роль. Когда соперники Лопе де Вега, как мы уже видели, нещадно нападали на него, — а его личная жизнь предоставляла им множество поводов для атаки, — он не упускал случая нанести ответный удар, особенно Гонгоре, неоспоримому мэтру культеранизма с момента опубликования «Уединений» (1614), которого он в одной из своих пародий в стиле *culto* упрекает в том, что тот является «палачом слов».

Кеведо еще язвительнее нападает на севильского «пребендаря», обвиняя его — несмотря на его положение лица духовного звания — в том, что он всего лишь не до конца обращенный в христианство иудей:

Я пошлю тебе мои стихи, намазанные салом,
Чтоб ты не смог их вкусить, мой дорогой Гонгора.

Но несмотря на нападки на мастеров и их учеников, масштабы этого зла не уменьшались; каждый рифмоплет стремился превзойти своих соперников в утонченности формы и темноте смысла. Напрасно Эстебанильо Гонсалес, остановившись в арагонской деревеньке, пытался постичь смысл сонетов, авторы которых оспаривали поэтический приз. Не сумев их разобрать, он обратился к одному из находившихся

там студентов и спросил, на каком языке — халдейском или арамейском — написаны стихи: «На что он мне ответил, что не рискнет этого сказать; он и сам представил один из плодов своего гения, за который рассчитывал получить первый приз, и хотя он пытался объяснить мне смысл, у него ничего не получалось, потому что если что и ценится в наше время, так это умение *гонгоризировать* в напыщенном стиле с целью придать внешнее величие тому, что является ничем по сути, и главное — сделать так, чтобы ни автор, который это написал, ни любознательный читатель ничего не поняли. Поэт, который опускается до таких пошлостей, чтобы рифмовать хлеб—хлеб, вино—вино, теряет свое лицо и может лишь сочинять куплеты для слепых». После чего Эстебанильо тоже решил принять участие в конкурсе и, сидя за столиком в таверне, где он остановился, сочинил в модном стиле сонет, первая строфа которого звучала так:

Похожий на слошовую кость от белизны и помезный феникс,
Хрупкий бутон, который раскачивался в тени,
В нищий сапфир, вкусный горностай,
Как в балдахине тебя угощаю, пушливого²⁶.

Он повесил его на двери церкви. «Едва он там появился, как тут же набежала целая толпа любопытных, желавших прочесть его; не медля ни секунды и осыпая сонет похвалами, люди сделали более тридцати копий; члены жюри вручили мне в качестве приза подвязки, о которых я говорил и которые принесли мне славу второго Гонгоры».

«Разумные» люди, естественно, выступали против злоупотреблений языком, который стал предназначаться лишь для посвященных. «И что бы вы сказали, — говорит один из персонажей *Гида для иностранцев*, — о манере выражаться, придуманной этими писателями, такой трудной и такой заумной, что едва ли найдется хоть один человек, способный ее понять, ведь вопреки всем правилам старого стиля они ставят существительное как можно дальше от прилагательного, а подлежащее — через десять строк от сказуемого... Своим зашифрованным жар-

гоном, напичканным испанизированными греческими и латинскими словами, которые лишь в четвертом колене были родственниками нашего национального языка, эти люди стремились в течение пятидесяти лет испортить чистоту кастильского языка, вынуждая государство либо запретить их опусы, либо издать новый словарь...»²⁷

И несмотря на то, что академии несли большую долю ответственности за эти стилистические излишества, «шутовская академия», собравшаяся во дворце Буэн Ретиро в 1637 году, забавлялась тем, что, пародируя стиль королевских указов, поднимала на смех поэтическую напыщенность, от которой страдала страна, а заодно нравы и ревностные чувства литературной публики:

«Дон Аполлон, милостью поэзии король Муз, принц Зари, граф и сеньор оракулов Дельфа и Делоса, герцог Пинда, эрцгерцог двух фронтов Парнаса, всем эпическим, лирическим, трагическим, комическим, дифирамбическим, драматическим и проч. мой привет и гармония.

Знайτε же, что, познав ужасные беспорядки и вред, в котором до сих пор жили те, кто владел нашей рифмой и стихами, и несметное число тех, кто, не боясь Бога и не веруя в него, составлял, писал и сочинял стихи, воруя и списывая днем и ночью стили, идеи, манеру письма у своих старших собратьев, присваивая заимствованное у другого и совершая все виды мошенничества и жульничества со своими стихами, желали бы исправить положение нижеследующими мандонами и ордононами:

Во-первых, пусть все пишут кастильскими словами, не употребляя слов иностранных, и тот, кто введет в свои стихи необычное предложение или гиперболу, будет лишен академиком звание поэта, и в случае рецидива у него будут конфискованы все стихи.

Item, пусть самые старые поэты распределят между собой обязанность давать милостыню сонетами, песнями, рондо и романсами и всеми видами стихов

стыдливый поэт, подбирать на улице тех, кто упал из-за болезни или лишился чувств, комментируя “Уединения” Дона Луиса де Гонгоры, и к тому же у дверей Академии раздавать суп, сваренный из излишков имеющейся там поэзии.

Item, пусть поэзия в мавританском стиле примет крещение в течение сорока дней под страхом изгнания из королевства.

Item, пусть поэт, служащий знатному сеньору, умрет от голода.

Item, пусть ни один поэт не будет столь дерзок, чтобы говорить плохо о других, разве что два раза в неделю...»²⁸

Но ни протесты, ни шутки ничего не могли поделать с литературной модой, которая охватила всю испанскую поэзию первой половины века и даже затронула тех, кто, как Кеведо, больше других нападал на нее. Вопреки шутовской «прагматической» санкции, изданной Придворной академией, поэты продолжали голодать, прибегать к протекции знатных людей и беспощадно терзать друг друга...

ЖИЗНЬ ВОЕННЫХ

Престиж испанского оружия. Комплектование армии и личный состав войск. — Военная карьера. Жизнь и приключения капитана Алонсо де Контрераса. — Солдатский темперамент: храбрость, стойкость, гордость и хвастовство. — Закат военного духа. «Жизнь и подвиги Эстебанильо Гонсалеса»

Когда Пьер де Брантом, дворянин и писатель, увлеченный героизмом, узнал в 1566 году, что войска герцога д'Альба, идущие из Италии, собираются пересечь Лотарингию, чтобы добраться до Фландрии и покарать восставших против власти испанского короля, он в почтовой карете отправился посмотреть на поход «этой славной армии храбрых и доблестных солдат... все они бывалые и закаленные в боях и так прекрасно одеты и экипированы, что их скорее можно принять не за солдат, а за офицеров... И даже можно сказать, что это были принцы — столь они были надменны и столь высокомерно и грациозно маршировали». Действительно, со времен Итальянских войн «французская ярость» разбилась о стойкость испанских гвардейских полков, и испанский солдат пользовался непревзойденной славой, сохранявшейся вплоть до первой половины XVII века.

Однако не все, кто сражался под знаменами и во

имя Католического короля, были испанцами. Значительную часть составляли иностранцы-наемники (особенно немцы и ирландцы), нанимавшиеся на время какой-либо кампании, или подданные короля Испании из итальянских вице-королевств, которые в лице Александра Фарнезе и Амбросио Спинолы дали испанской армии золотого века замечательных полководцев. Тем не менее испанские солдаты составляли костяк этой армии, в которой они отличались храбростью, выносливостью и своим высокомерием.

Старинный средневековый принцип, согласно которому дворянин должен был служить королю с оружием в руках, все еще оставался в силе; иногда встречались даже дворяне, которые шли служить простыми солдатами. Но это были исключительные случаи; дворяне все больше стремились стать придворными и уклонялись от военной службы. Если исключить случаи принудительной отправки на королевские галеры в качестве наказания за преступление и мобилизации войск, поручавшейся муниципалитетам, для противостояния серьезной угрозе, солдат набирали добровольно, что создало профессиональную армию, в которой проявились все военные доблести — а также их оборотные стороны.

Офицер, получавший особое поручение от короля, должен был для его выполнения сам сформировать подразделение, которое затем возглавлял. Для этого он «втыкал копьё» и водружал свой флаг в тех городах или деревнях, которые были ему определены, и, собрав толпу на звук барабанной дробы, бросал клич добровольцам. Если волонтеров оказывалось недостаточно, то (впрочем, как и в других странах Европы) все средства были хороши — обещания, хитрость, насилие, что нередко вызывало ответную реакцию. «Высекли хлыстом, — сообщали *“Новости”* Мадрида в 1639 году, — женщину из хорошей семьи, которая помогала некоему офицеру, своему любовнику, вербовать солдат; она привлекала бедняков при помощи съестного; потом она неожиданно запирала их в подвале и оставляла без пищи до тех пор, пока они не соглашались записаться на службу в

армию за жалование, и таким способом она уже за-манила несметное количество людей»¹. Среди тех, кто добровольно ставил свою подпись под бумагами о зачислении в армию в присутствии секретаря суда или нотариуса, было множество людей, делавших это для вида, а на самом деле они собирались дезертировать при первой же возможности. Так что не таким простым делом для командира было довести свое войско, в более или менее полном составе, до места назначения, которым обычно был порт, откуда войска отправлялись на одно из полей сражений за пределами полуострова.

По дороге рекруты упражнялись в обращении с копьем, аркебузой и мушкетом — типичными видами оружия для пехотинцев. В очень редких случаях использовались длинные пики, которыми вооружали всадников. Кавалерия большей частью формировалась из иностранных наемников, а испанцы пополняли в основном ряды пехотинцев, которые были личным составом гвардии. Каждое гвардейское подразделение находилось под командованием полевого командира и включало дюжину рот по 200—250 человек; но нехватка денег, которую испытывала монархия, не позволяла постоянно держать в готовности укомплектованную армию. Обычно любая военная кампания заканчивалась не только увольнением наемников, но и расформированием некоторых рот, офицеры которых увольнялись в запас до того дня, когда возобновление военных действий или серьезная угроза Испанской империи не потребуют проведения новой мобилизации.

...

Существовало поразительное несоответствие между протяженностью владений Католического короля, многочисленностью сухопутных и морских границ, подверженных нападениям со стороны врагов, и незначительностью вооруженных сил, которые должны были держать оборону. При Филиппе IV в эпоху, когда Испании приходилось подавлять вос-

стания фламандцев в Соединенных провинциях и отражать натиск французов и англичан, их численность не превышала ста тысяч человек, включая иностранных наемников. Поэтому для того, чтобы вести военные действия, приходилось без конца перебрасывать войска, снимать подразделения с наименее угрожаемых мест, чтобы усилить оборону там, где опасность была наиболее велика. Львиная доля усилий и ресурсов испанской монархии уходила на борьбу с самым опасным из противников, с тем, над которым не одержать долговременной и надежной победы — расстоянием².

Но какой простор для приключений открывали обширные поля сражений и разнообразие стран, где от Вест-Индии до Германии и Ионического моря разыгрывались судьбы испанского могущества! Из всех сохранившихся до наших дней многочисленных автобиографических свидетельств о полной приключений жизни солдата наиболее выразительно то, что оставил нам капитан Алонсо де Контрерас. Ни малейшей напыщенности, ни малейшего расчета на эффект нет в его рассказе о своей жизни: Контрерас довольствуется тем, что просто-напросто излагает то, что он делал или видел, простодушно описывая как свои проступки, так и подвиги, и от его повествования возникает ощущение поразительной достоверности³.

Алонсо родился в Мадриде в 1582 году в очень простой семье. «Мои родители, — рассказывает он, — были старыми христианами, без примеси мавританской или еврейской крови, и не подвергались приговорам Святой службы; они жили в браке, как повелевает наша Святая Мать Церковь, и за двадцать четыре года у них родилось шестнадцать детей. Когда умер мой отец, нас осталось восемь — шесть мальчиков и две девочки, а я был старшим». В школе, куда его отправили учиться, юный Контрерас убил одного из товарищей ударом ножа, чтобы отомстить за унижение, которому тот его подверг; вмешалось правосудие и, учитывая возраст Контрераса, ограничилось ссылкой на один год в Авилу. Когда он

вернулся в Мадрид, его мать пристроила его учеником к золотых дел мастеру, несмотря на то, что он уже заявил о том, что хочет быть солдатом. Но хозяйка стала с первых же дней посылать мальчика за водой, и его гордость взыграла: он убежал и смешался с бродягами и женщинами легкого поведения, которые шли, как за любой армией в то время, за полками, направлявшимися во Фландрию под командованием эрцгерцога Альберта. Алонсо представилась возможность стать поваренком у французского повара эрцгерцога, что позволило ему сесть на корабль в Барселоне и добраться до Савоны. Во время этого путешествия он впервые увидел, что такое реальность войны: «... Прежде чем добраться до места, мы захватили корабль, не знаю, чей — турецкий, мавританский или французский (поскольку тогда была война); я получил большое удовольствие, увидев артиллерийский бой».

Из Савоны войско эрцгерцога Альберта добралось до Франш-Конте, где уже собрались другие войсковые подразделения. Алонсо, которому тогда было 14 лет, заметил среди солдат мальчишек, которые явно не были старше его; он попросил у своего шеф-повара позволения покинуть кухню и воевать с оружием в руках, но тот отказал. Тогда Алонсо обратился прямо к эрцгерцогу, который дал письменное разрешение вступить в войско, но все же заметил, что Алонсо еще не достиг необходимого возраста. Принятый в роту, он вместе с ней преодолел путь до Фландрии, но, прежде чем достигнуть ее, «мой капрал, которого я уважал, как самого короля, однажды ночью велел мне идти за ним и сказал, что это приказ командира; мы оставили армию, поскольку он вовсе не любил воевать. Когда рассвело, мы были уже в пяти лье от армии. Я спросил его, куда мы направляемся, и узнал, что в Неаполь...».

Дезертир поневоле, Контрерас не стал стремиться обратно на службу. Из Неаполя он добрался до Палермо, где нанялся в качестве «пажа-щитоносца» к одному каталонскому дворянину. Как раз в это время в Неаполе и у берегов Сицилии собирался флот, что-

бы атаковать турок в Море; на борту одного из судов Алонсо принял участие в штурме Патр: «Именно там я впервые услышал, как пули свистят у виска, поскольку я стоял перед моим командиром со щитом...; город взять не смогли, но захватили много добычи и рабов». В следующем году, покинув своего каталонца, чтобы наняться уже не пажом, а солдатом в другую роту, он сел на один из боевых кораблей, который охотился за турецкими судами и совершал набеги у берегов Берберии и Леванта: «Мы совершили столько налетов, что об этом долго рассказывать. Мы вернулись богатыми настолько, что даже я, простой солдат на жалованье в три экю, привез более чем на триста экю пожиток и денег; кроме того, по возвращении в Палермо, вице-король приказал отдать нам часть добычи, и мне досталась шляпа, до краев наполненная серебряными реалами... но уже через три дня я все потратил, проиграв и прокутив в оргиях». Потеря была быстро восстановлена, — впрочем, опять ненадолго, — в других экспедициях в восточной части Средиземного моря: «Мы совершали невероятные грабежи на земле и на море; мы ограбили склад Александретты, морского порта, где скапливались товары, поступавшие по суше из португальских колоний через Вавилон и Алеппо. Поистине огромны были богатства, которые мы привезли», а потом они растрачивались «то в одной гостинице, то в другой, то в одном доме, то в другом».

Но Алонсо де Контрерасу было мало участвовать в битвах и грабежах и тратить награбленное в попойках и других оргиях. Он пользовался плаванием по Ионическому морю, чтобы овладеть основами навигации, и начал составлять *derrotero* (морскую карту), которая постепенно охватила все Средиземное море с указанием наилучших мест для якорной стоянки и глубины воды в разных портах⁴. Его знания в области навигации вскоре емугодились, поскольку некий «инцидент» вынудил его тайком оставить службу у сицилийского вице-короля: во время ссоры один из его товарищей убил палермского трактирщика; виновный и его дружки укры-

лись в церкви, где им дали понять, что они, как только выйдут оттуда, будут повешены. Церковь находилась на берегу моря; ночью Алонсо и его приятелям удалось покинуть стены своего убежища, они завладели рыбацкой лодкой и на веслах за три дня сумели достичь Неаполя.

Вице-король Неаполя формировал роту, чтобы передать ее в командование своему сыну. Несмотря на то, что он знал, почему Алонсо и его приятели бежали из Палермо, он принял беглецов и разрешил им поступить на службу, которая, однако, оказалась недолгой. После очередной драки, закончившейся убийством, двое компаньонов Алонсо были повешены. Сам он бежал к одному мальтийскому рыцарю, который его спрятал, а потом тайно посадил на корабль, отправлявшийся на остров. Мальта была не только христианским аванпостом в борьбе против турок, но также и опорным пунктом испанского флота, действовавшего в восточной части Средиземного моря, и рыцарям нужны были матросы, чтобы формировать экипажи для своих галер. Так Контрерас поступил на службу к гроссмейстеру Мальтийского ордена, французу Алофу де Виньякуру, и принял участие в нескольких морских битвах, описания которых представляют собой живые свидетельства о том, чем была в те времена морская война:

«Под вечер мы заметили корабль, который казался огромным и на самом деле таким был. Мы плыли за ним, чтобы не потерять его из виду, и настигли его глубокой ночью. Наша артиллерия была наготове, и мы спросили у капитана судна: “Что это за корабль?..” — на что получили ответ: “Это корабль, который плывет по морю!..” — и поскольку тот корабль тоже был готов и на нем было все, что должно быть на корабле (он вез более четырехсот турок и был прекрасно оснащен артиллерией), он дал по нам залп, который унес на тот свет семнадцать наших людей, не считая нескольких раненых. Мы дали ответный залп, который был не слабее, после чего

взяли судно на абордаж, и завязалось сражение, поскольку они захватили носовую часть нашего судна и было нелегко сбросить их обратно на их корабль. Так прошла ночь, а с рассветом мы атаковали корабль, и ему не удалось уйти. Наш капитан прибег к действенному средству, оставив на палубе только тех людей, которые могут пригодиться в сражении, и приказал задрать все люки, так, чтобы не было иного выбора, кроме как сражаться либо бросаться в море. Битва была жестокой. Мы оказались уже на носу их корабля, овладели им, но они отбились. Тогда мы отступили, чтобы атаковать их с помощью артиллерии, поскольку наши парус и артиллерия были лучше. Весь день прошел в сражении, а когда наступила ночь, противник попытался высадиться на ближайший берег, и преследуя их, мы оказались очень близко от земли. Когда наступил следующий день, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, капитан отдал приказ, чтобы все раненые поднялись на палубу, чтобы достойно умереть, сказав: «Сегодня вечером мы пообедаем с Христом — или в Константинополе». Грехи наши отпустил брат-кармелит, которому капитан сказал: «Брат мой, дайте нам ваше благословение, ибо это последний наш день». Добрый брат исполнил просьбу, и после этого капитан приказал атаковать корабль, который был совсем близко. Когда мы брали его на абордаж, завязался жестокий бой, прекратить который, даже если бы мы захотели, было невозможно, поскольку с другого корабля к нам перекинули якорь на длинной цепи, так, чтобы наши суда не могли разойтись. Борьба длилась более трех часов, к исходу которых мы уже видели, что победа склоняется в нашу сторону, поскольку турки стали, благо берег был недалеко, бросаться в воду, хотя с нашего корабля их продолжали преследовать. Победа была одержана, и, пленив турок, захватив их в качестве рабов, мы принялись грабить судно, а там было много дорогих вещей. На их судне оказалось множество убитых, число которых превысило 250 человек: турки не захотели скинуть их в море у нас на виду».

Военная доблесть Контрераса, в совокупности со знаниями в области навигации, позволила ему быстро продвинуться вперед. Гроссмейстер выдал ему капитанский патент и поручил выполнять «разведывательную миссию» в восточной части Средиземного моря: речь шла о том, чтобы узнавать о передвижениях и планах османской эскадры, которая каждый год объезжала острова Архипелага, чтобы собрать дань, положенную султану, и которая иногда разрасталась за счет других флотилий, прибывавших с Родоса, из Александрии и Сирии, и доходила до Сицилийского пролива и дальше, совершая грабительские набеги на христианские берега. Но можно было предвидеть масштабы намеченных акций, если знать число кораблей, вышедших в море, и особенно — количество провизии, которую они брали с собой. Чтобы это узнать, можно было прибегнуть к различным средствам: проскользнуть на быстрой галере в самый центр турецких вод, захватывать торговые суда и выяснять у экипажа или пассажиров — если надо, то и с помощью пыток — сведения о передвижениях в порту, откуда они отплывали; или же высадиться на османском побережье, где можно было найти полезных людей среди христианского населения, попавшего под иго Константинополя. При исполнении этого задания Контрерас проявил завидную отвагу, продвигаясь до Яффы, Акры и Бейрута и не ограничиваясь только сбором информации, но тут и там вступая в морские схватки и совершая сухопутные набеги.

Один удивительный подвиг вознес его на вершину славы. На Мальте стало известно, что турецкий султан собирает большую флотилию, «но не знали, куда она отправится, что вызывало сильную озабоченность». Однако с помощью шпионов выяснили, что ростовщик-еврей, которому было поручено обеспечить необходимое финансирование экспедиции (в частности, за счет его единоверцев), жил в укрепленном доме в пяти милях от Салоник: «...Рыцари отдали мне приказ похитить ростовщика, как будто речь шла о том, чтобы пойти на базар и купить пару груш». Тем не менее Алонсо де Контрерас вмес-

те с семнадцатью верными помощниками отправился в путь на фрегате, который довез их до Салоникского залива, высадился на небольшом расстоянии от дома ростовщика, взорвал дверь, похитил еврея, его жену, двух детей, отвез их на судно и вышел в море как раз в тот момент, когда 400 турецких всадников, поднятых по тревоге, появились на берегу. «Еврей предлагал мне все, что бы я ни пожелал, лишь бы я его отпустил, но, хотя я мог бы это сделать, я не захотел, поскольку потом он мне сказал, что собран флот против венецианцев и что турки потребовали у них миллион цехинов, угрожая захватить Канди, остров почти такой же величины, как Сицилия, который находился в водах, контролируемых турками». На обратном пути Контрерас, узнав от греческих моряков, что бей Хиоса Солиман покинул остров, похитил его сожительницу, «венгерку по рождению, самую красивую женщину, которую я когда-либо видел», и увез с собой на Мальту. «Позже я узнал, — пишет он, — что бей, полагая, что я сделал ее своей любовницей, поклялся посадить меня на кол в тот день, когда я попадусь ему в руки... Я приехал на Мальту, где был принят, как и можно было предполагать, ибо после привезенных мной вестей все успокоилось и рыцари прекратили переброску пехотинцев, которых набрали в Неаполе и Риме».

Кроме славы, Контрерас получил и добычу: в 1601 году экспедиция против Плацы в Море дала 500 пленных, мужчин и женщин, среди которых были губернатор этой местности, его жена, дети, лошади, а также тридцать пушек. Пленники, проданные в рабство, принесли хорошую прибыль, поскольку на Мальте за них платили по 60 экю, «как за хорошего, так и плохого». Что касается захватов на море, то они приносили целое состояние, если нападали на торговое судно с товарами с Востока. Но деньги утекали сквозь пальцы Контрераса и его приятелей и обогащали мальтийских девиц, которые были «столь же красивы, сколь и коварны и становились хозяйками всего, чем только владели рыцари и солдаты». Своей любовнице Контрерас построил шикарный дом.

Увы! Возвратясь из своего триумфального похода в Салоники, он застал ее в комнате с одним из его приятелей. «Я нанес ему удар, от которого он очутился на волоске от смерти; выздоровев, он покинул Мальту, опасаясь, что я его убью». Что же касается девицы, то сначала она сбежала, а потом, «хотя и просила меня тысячу раз, я не вернулся к ней, поскольку выбор был широк, я быстро нашел способ утешиться, тем более что я считался очень важной персоной».

Этот неприятный эпизод, видимо, побудил нашего героя покинуть Мальту. После очередного похода к берегам Берберии, откуда он вернулся с четырнадцатью рабами и с таким количеством тканей, «что заполнил ими целый магазин», он попросил гроссмейстера об отставке, которую тот дал ему с большим сожалением, и отправился в Испанию. Королевский двор помещался в то время (1603 год) в Вальядолиде. Узнав о том, что обсуждается вопрос о создании «группы капитанов», Контрерас занялся этим, и его услуги были оценены военным советом; но ему удалось добиться лишь назначения лейтенантом (*alférez*) под командованием некоего капитана, которому была поручена мобилизация людей в Эстремадуре для того, чтобы затем вести их в Португалию.

По пути с Алонсо случилась интересная история. Его рота остановилась в Орнахосе, крупном селении, в котором жили одни мориски, за исключением священника. Солдаты остановились у одного из жителей, и некоторые из них, отправившись пошарить в подвалах хозяина в поисках съестного, увидели три могилы, выбеленные известкой. Они пошли за лейтенантом и рассказали ему об этом, намереваясь вскрыть эти могилы, чтобы выкрасть оттуда драгоценности, которые мавры имели обычай класть в могилу. Но Контрерас поскреб кончиком копья известку и понял, что это не могилы, а ящички с аркебузами и патронами, «что так меня обрадовало, поскольку я подумал, что этим оружием можно будет вооружить всю мою роту и нас будут еще больше уважать, поскольку из-за того, что у нас были только шпаги, а у некоторых и их не было, мы сильно проигрывали в

глазах окружающих». Он пошел предупредить военного комиссара (чиновника, отвечавшего за экипировку войск), который приказал ему помалкивать, чтобы тем временем предпринять необходимые меры против готовящегося восстания морисков.

Контрерас продолжил свой путь вместе с ротой, а через несколько дней пронзил шпагой своего командира, потому что тот хотел овладеть его любовницей, проституткой. Приговоренный к смерти за попытку покушения на своего командира, «самое тяжкое, сопряженное с неуважением вышестоящего, преступление, — говорит он, — которое только можно совершить в армии», он стал узником в одной из тюрем Мадрида, добился пересмотра дела, в результате чего его признали невиновным. Но когда он вернулся в Бадахос, от ста пятидесяти человек, которых он мобилизовал, осталось не больше двадцати, и поскольку еще несколько побегов было совершено во время последнего перехода, он прибыл в Лиссабон с четырнадцатью бойцами и одним барабанщиком... Ему удалось избежать посадки на судно, чтобы не попасть под командование офицера, которого он ранил, и, имея разрешение короля, Алонсо отправился в Палермо, где вице-король Сицилии, зная о его подвигах, совершенных на службе на Мальте, поручил ему проведение новых экспедиций в воды Леванта и в Берберию.

Его репутация и талант соблазнителя снискали ему любовь богатой испанки, вдовы важного сановника, которая согласилась выйти за него замуж, «хотя я был, — говорит он, — всего лишь солдатом с несколькими грошами в кармане». Но через год после свадьбы недоброжелатели сообщили ему, что его жена тайно встречается с одним из его приятелей. «Однажды я застал их врасплох, и они заплатились своими жизнями. Бог поможет им на небесах, если в последний момент они раскаялись».

Снова Алонсо де Контрерас проделал путь до Испании, чтобы еще раз получить патент капитана; но, потеряв терпение от всех хлопот и проволочек, с какими пришлось ему столкнуться, он принял неожиданно

данное и странное решение: стать отшельником, чтобы окончить свою жизнь в одиночестве: «Я купил все необходимое: власяницу, плеть, грубую ткань, из которой шьют монашеские рясы, солнечные часы, множество книг для покаяния, зерна, череп и маленькую кирку». Затем, экипированный этим снаряжением образцового отшельника, он добрался до Арагона и поселился в уединенном домике, который построил себе на склонах Монкайо, близ города Агрета, где находился один из монастырей францисканцев. «Я каждый день ходил на мессу в монастырь; по субботам я ходил в город просить милостыню; я не брал денег, но только растительное масло, хлеб и чеснок, которыми я питался. Каждое воскресенье я исповедовался и причащался. Меня звали Фрей Алонсо де ла Мадре де Диос, и братья иногда сажали меня за свой стол в надежде, что я стану монахом. Мне было радостнее, чем в Вербное воскресенье, и я думаю, что стал бы им, если бы меня насильно не увели отсюда, как это в действительности случилось».

В одно прекрасное утро 1608 года Фрей Алонсо увидел, как к его домику направляются вооруженные люди, которые, не дав ему никаких объяснений, связали его и увезли в соседний город, где коррехидор обвинил его в намерении провозгласить себя «королем морисков» и поднять всеобщее восстание. Обвинение, очевидным образом абсурдное, явившееся мстью того самого военного комиссара, которому он несколькими годами раньше сообщил о находке ящичков с оружием в Орнахосе и который, чтобы скрыть собственную халатность, донес на него. Контрерас был подвергнут допросам, пыткам и наконец был признан невиновным, а в качестве компенсации за испытания ему, вместо требуемого капитанского патента, дали письмо для эрцгерцога Карла, наместника во Фландрии, в котором король Испании рекомендовал ему доверить Контрерасу роту.

Контрерас сел на судно в Сан-Себастьяне и добрался до Брюсселя, где эрцгерцог принял его весьма доброжелательно, обещая ему первую же вакантную

должность капитана... Но прошло два года, и ничего не изменилось. Устав ждать — тем более что убийство Генриха IV отдалило угрозу войны, которую все полагали неизбежной, — и узнав, что вскоре должен был собраться генеральный капитул Мальтийского ордена, Алонсо попросил об отставке, чтобы вернуться на остров и попытаться получить компенсацию за свои былые заслуги. Он пересек Францию, переодевшись пилигримом, и через Неаполь и Палермо вовремя добрался, чтобы успеть на генеральный капитул, который принял его в члены ордена как «служащего с оружием», единодушно избавив от представления доказательств дворянского происхождения, обычно требовавшихся, чтобы вступить в орден. Исключительная честь для выходца из бедной семьи, который пятнадцатую годами раньше покинул Мадрид, будучи мальчишкой-прислужником на кухне. Затем он снова поспешил в Испанию, «где все меня восторженно поздравляли, некоторые с завистью, другие с симпатией».

Но его темперамент остался прежним. Он привёз одну замужнюю женщину и ранил ее двумя ударами шпаги, и лишь его принадлежность к Мальтийскому ордену позволила ему избежать обычного уголовного правосудия, которое уже наложило было свою руку на него. Через Геную, Рим и Неаполь он вернулся на Мальту, где, наконец, обрел капитанский патент, пожалованный ему королем Испании, который к тому же попросил гротсмейстера оставить его у себя на службе. Вернувшись в Испанию, где он некоторое время выполнял различные приказы и контрприказы, Контрерас получил задание отправиться в Кадис и сесть там на судно с двумя сотнями людей, предназначенных для оказания помощи Пуэрто-Рико, над которым нависла угроза со стороны голландского флота: рискованная задача, поскольку уж если не просто было собрать рекрутов, то было гораздо сложнее заставить их сесть на судно, отправлявшееся в колонии. Поэтому все приготовления проходили тайно, «иначе не удалось бы посадить на судно ни одного человека, по-

сколько солдаты этого гарнизона и матросы флота были самыми продувными плутами в Андалусии». Когда солдат неожиданно привели на борт судна, «они оказались в роли похищенных обманом, которые даже не понимали, что с ними произошло». Теперь надо было не допустить бунта, который представлялся вполне вероятным, учитывая вызывающее поведение солдат в отношении капитана. Заручившись поддержкой дюжины надежных людей, Контрерас прикончил ударом шпаги первого же осмелившегося говорить с ним на повышенных тонах, и спокойствие было восстановлено.

После сорокадневного путешествия галион прибыл в Пуэрто-Рико, где наместник поздравил Контрераса с тем, что тот избежал встречи со знаменитым корсаром Уолтером Рейли, промышлявшим у здешних берегов, и умолял оставить ему человек сорок для укрепления обороны острова... «Но ни один человек не хотел сходить на берег; все едва не плакали при мысли о том, что надо оставаться, и они были правы, поскольку это означало стать навсегда рабом». Решение о том, кто останется в Пуэрто-Рико, было принято с помощью жребия. Пятьдесят человек остались в Санто-Доминго, где при входе в порт Контрерас велел построить бастион. Другое сооружение, построенное за четыре дня, было возведено на Кубе, и там было оставлено десять человек для обороны... Затем, потопив один из кораблей эскадры Рейли, галион вернулся в Испанию. Едва он прибыл в Кадис, как пришла весть о том, что мавры в количестве тридцати тысяч осадили крепость Ла Мамора на побережье Африки. Контрерас вызвался командовать подкреплением. Ему удалось прорвать вражескую блокаду и войти в крепость, где он был принят губернатором как «голубь-посланец». Он ввел в город подкрепление и привез боеприпасы, что склонило осаждавших к переговорам.

Губернатор Андалусии, герцог де Медина Сидония, поручил ему самому доставить эту счастлившую весть в Мадрид, и Алонсо имел честь лично предстать перед королем Филиппом III и сообщить ему об ус-

пехе своего предприятия. В качестве награды за заслуги, а также учитывая свои знания в области навигации, он попросил себе пост адмирала, то есть главнокомандующего флотом. Но снова чиновники дворца затягивали исполнение обещания, данного Контрерасу, и ему пришлось довольствоваться привилегией «собрать роту» в самой столице (что никогда до этого не делалось), чтобы сесть с ней на корабль, которым были поручены наблюдение за Гибралтарским проливом и охрана судов, прибывавших с грузом серебра из Америки. Но Контрерас заболел и стал недееспособным. В Мадриде, куда он возвратился, без средств к существованию, он жил и питался в течение восьми месяцев у Лопе де Вега, который его никогда не видел, но принял со словами: «Сеньор капитан, с таким человеком, как вы, следует разделить даже свой плащ!» — и посвятил ему пьесу «*Король без королевства*», навеянную сплетнями о его так называемом королевстве морисков.

Настойчивыми требованиями Алонсо де Контрерас добился от военного совета, чтобы его послали на Сицилию, где вице-король поручил ему управление островом Пантеллария, «расположенным почти в Берберии». Этот остров контролировал Сицилийский пролив, и его Контрерас должен был охранять с отрядом в 120 человек. По истечении нескольких месяцев он попросил у вице-короля разрешения отправиться в Рим, где он получил аудиенцию у папы. Алонсо изложил ему все, что сделал для защиты католической веры, и получил от папы послание, адресованное Мальтийскому ордену, освобождавшее его от обязательства постоянного местопребывания, которое обычно требовалось для того, чтобы быть рыцарем и получить командорство. Затем, имея столь ценный документ, он вернулся на Мальту, где с соблюдением всех надлежащих формальностей был посвящен в «рыцари справедливости».

Получив столь блестящий титул, Алонсо де Контрерас вернулся в Неаполь, где вице-король герцог де Монтеррей дружески принял его и поручил ему управление островом д'Аквила, где законы диктова-

ли бандиты и знатные семьи, поручив ему навести там порядок и заставить жителей острова повиноваться королю Испании и его представителю. Несколько смертных приговоров, приведенных в исполнение вопреки всем ходатайствам, быстро укрепили авторитет Алонсо; но неумолимое правосудие, распространенное им на всех, вызвало такое количество жалоб, что через три месяца Монтеррей вынужден был его отозвать. В качестве компенсации он пожаловал ему командование кавалерийской ротой, и Контрерас во главе своих войск, в роскошном экипаже, принял участие в генеральном смотре всей кавалерии Неаполитанского королевства: «Я был беден, но одел своих двух трубачей и четырех лакеев в ливреи, сшитые из ярко-красной материи с вышивкой и серебряными обшлагами, с портупьями, перьями, а поверх одежды у них были такие же плащи... Мои пять лошадей скакали под седлами, украшенными серебряными галунами, с парадными седельными пистолетами...» Но поскольку герцог де Монтеррей отказал в капитанском патенте одному из его братьев (который, как и он, вел полную приключений жизнь военного), Контрерас оставляет службу у него. Снова он рисковал остаться не у дел и без средств к существованию, но в это время пришла весть о том, что гроссмейстер Мальтийского ордена пожаловал ему Испанское командорство со всеми доходами, которое оно приносило. Тогда он отправился в Испанию, и, вероятно, это было его последнее путешествие, поскольку его автобиография неожиданно прерывается на этой дате (1633).

Подобная жизнь кажется настолько необычной, что можно было бы подвергнуть сомнению правдивость рассказа о ней, но, даже если не принимать в расчет длинное посвящение, которое Лопе де Вега предпослал своему «Королю без королевства» (и где он сделал намек на некоторые подвиги Контрераса, о которых тот не рассказал в автобиографии), испанские архивы сохранили различные документы, которые подтверждают это повествование, в частности, *derrotero* — составленную им морскую карту, ко-

торую он одолжил эрцгерцогу Филиберу Савойскому, сохранившему ее, и текст просьбы, адресованной в 1623 году королю Филиппу IV, где он приводит свой послужной список за предыдущие годы.

Другие испанские солдаты эпохи золотого века тоже оставили рассказы о своей жизни, которые, возможно, и менее удивительны, чем повествование Алонсо Контрераса, но являются не менее ценными свидетельствами того, как протекала жизнь военных⁵: таков Диего Дукве де Эстрада, происходивший из дворянской семьи, который убежал из тюрьмы Толедо, куда был помещен в возрасте тринадцати лет за убийство товарища, и нашел убежище в армии. Вернувшись в Мадрид, он приобрел известность не только благодаря своему поэтическому таланту, но и из-за своих любовных похождений; но, убив одного из своих соперников, он был приговорен к повешению. Ему удалось бежать еще раз, добраться до Италии, затем перебраться в Трансильванию, где он стал одним из уважаемых людей при полувосточном дворе местного правителя и принял участие в борьбе с турками. Потом Диего перебрался в Германию и во время Тридцатилетней войны поступил на службу к императору, кузену короля Испании, и стал управляющим Богемии. Снова попав в Рим, он впал в мистику, вступил в орден Святого Иоанна Божьего и стал основывать монастыри на Сардинии. Нападение на остров французов в 1637 году побудило его снова взять в руки оружие. Диего Дукве де Эстрада отбил атаку захватчиков, затем вернулся к монашеской жизни и окончил свое существование в монашеской ячее⁶.

...

В повествовании Дукве де Эстрада о своей полной приключений жизни фигурирует одна весьма примечательная история: во время своего возвращения из Трансильвании он проезжал через Вену, где был представлен императору Фердинанду, который спросил его, кто он такой. «Солдат удачи», — ответил Дукве. «Император захотел узнать, чего он добился в

военной карьере, на что Дукве ответил: “Я — солдат, и этим все сказано”». Ни один другой ответ не проливает столько света на состояние духа солдат-авантюристов, которые считали себя больше, чем просто воинами, и которые повсюду, где бы они ни были, в Италии, Фландрии, Германии, в самой Испании, привыкли чувствовать себя хозяевами.

Испанский солдат возвел на самую верхнюю ступень чувство собственного достоинства, базировавшееся одновременно на воинских качествах, которые составляли его репутацию, и на сознании того, что он, сражаясь за своего короля, служит более высоким целям — воюет во имя Господа. Поэтому легко объяснить то, что профессия военного по определению придавала некоторое благородство тому, кто ею занимался:

Мой род начинается с меня,
Поскольку ценнее люди,
Создающие свой собственный род,
Чем те, кто губит его,
Обретая дурную славу⁷.

В эпоху, когда в армии не носили униформу, солдат, как и дворянин, старался выделиться из общей массы не только шпагой, но и роскошью, иногда даже экстравагантностью одежды, и сделать это было тем легче, что королевские указы, ограничивавшие чрезмерную роскошь в одежде, в армии не действовали. «Никогда, — говорится в тексте начала XVII века, — в испанской пехоте не было “прагматичности” в вопросах одежды и украшений, поскольку она лишила бы солдат душевных сил и блеска, которыми должны обладать военные»⁸. Поэтому длинные плащи, камзолы, штаны и пояса ярких цветов, иногда украшенные серебряной вышивкой, большие шляпы с разноцветными перьями внешне определяли достоинство солдата.

Но это чрезмерное чувство ценности собственной личности, отражением которого был костюм, стало препятствием для офицеров в проявлении своей власти над обычными солдатами, поскольку, как говорит Кальдерон в своей *Осаде Бреды*:

Они выдержат все во время осады,
Но не выносят, когда на них повышают голос...

Требования к боевым качествам и безжалостные наказания, следовавшие за любым нарушением дисциплины на военной службе, компенсировались терпимостью, проявлявшейся командованием вне службы, терпимостью, границы которой были очень широки.

Два порока были особенно распространены в армии: азартные игры и женщины. До какой степени мог доходить азарт, можно судить по истории, рассказанной Алонсо де Контрерасом: захват вражеского корабля в турецких водах принес такую добычу, что капитан галеры-победительницы в интересах своих людей запретил все игры, «чтобы каждый из них прибыл на Мальту богатым», и для большей уверенности выбросил в море все игральные карты и кости, которые смогли найти на борту. Тогда солдаты придумали организовать «взаимное пари» очень странного рода: на палубе нарисовали круг, который обозначал поле для скачек. Каждый солдат брал «свою» вошь и одновременно со своими товарищами сажал ее в центр круга: тот, чья вошь первой пересекала границы, получал весь выигрыш... «Когда капитан увидел, как мы увлечены, — комментирует Контрерас, — он позволил нам играть в то, во что нам хочется: столь силен был порок азарта у солдат!» Королевское правительство, так же как и капитаны, было беспомощно в борьбе с играми. Самое большее, что им удалось сделать — регламентировать азартные игры, запретив использование карт и костей только в караулах, «поскольку, если солдаты отлучались, чтобы где-то поиграть, это могло повлечь за собой самые серьезные последствия», но этот запрет остался на бумаге⁹.

Что касается женщин, следовавших за войсками, то иногда это были законные жены солдат и офицеров, которые тащили за собой детей, но большей частью это были девицы легкого поведения, существование которых было признано официально, поскольку некоторые уставы фиксировали их числен-

ность пропорционально количеству солдат: обычно 8 на 100... Поэтому армия, находясь в полевых условиях, с сопровождавшими ее женщинами, детьми, странствующими торговцами и нищими всех сортов, была похожа на некий табор — впрочем, тогда это относилось не только к испанским войскам. Но ухаживания и проституция, как и азартные игры, были поводом для частых ссор, которые иногда заканчивались трагически: пятеро или шестеро убитых сотоварищей, в смерти которых Алонсо де Контрерас, образцовый солдат, признал себя виновным, красноречиво говорят об этом.

Более серьезным было то, что свобода, предоставлявшаяся солдатам, проявлялась не только в презрении к гражданскому населению, но и в различных формах насилия по отношению к нему. Уже при Филиппе II посол Венецианской республики Сурьяно, восхищаясь доблестью испанских солдат, подчеркивает и оборотную ее сторону: «Испанский король владеет рассадником стойких людей, сильных телом и духом, дисциплинированных, годных для военных кампаний, маршей, приступов и обороны; но они настолько наглые, жадные до чужого добра и завидующие чужой чести, что невольно спрашиваешь себя: может быть, эти brave солдаты были бы более полезны своим правителям, если бы не причиняли им столько вреда за последние годы? Ведь они, хотя и являются средством достижения побед, плохим обращением с населением уничтожают его добрую волю и привязанность к правителю»¹⁰.

Итак, в начале XVII века, и особенно после 1621 года, когда возобновилась война против Соединенных провинций, все эти отрицательные стороны усилились растущими трудностями, с которыми сталкивалось испанское правительство при наборе и содержании своих войск. Как раз в это время выражение «воткнуть копьё в землю Фландрии» стало синонимом почти невозможного предприятия. Поскольку добровольцы становились все более редки, офицеры, набиравшие солдат, брали всех подряд, в частности, всех бездельников и нищих, от которых старались

избавиться городские власти под предлогом мобилизации. В обедневшей Испании голод заменил сержанта по вербовке в армию, и многие становились солдатами только для того, чтобы обеспечить себе хотя бы пропитание, средство к существованию. «Нет человека, каким бы бедным и опустившимся он ни был, — иронично пишет Эстебанильо Гонсалес, — который бы, убедившись, что ему из-за его недостатков нет места в этом мире и никто не даст ему кусок хлеба, не искал спасения в этом приюте...»

Командиры мало заботились о качестве рекрутов, тем более что зачастую их нанимали для количества. Обычай ставить «подставных солдат» (*plazas muertas*), который тогда практиковался во всех армиях, позволял офицерам получать предусмотренные деньги и питание для постоянного содержания солдат, которые на самом деле появлялись в строю только в дни «смотров». «Наша рота, — говорил Эстебанильо Гонсалес, — насчитывала шестьдесят действующих солдат, которые несли караульную службу, и сто пятьдесят человек для дней смотров...», так что реальная численность армии была значительно ниже официальной цифры, и гвардейские войска, официально состоявшие из трех тысяч человек, едва ли достигали десятой доли этой цифры¹¹.

Тем не менее королевское правительство было не в состоянии содержать и этот численно сокращенный личный состав своих армий, особенно когда они находились на далеких театрах военных действий. Выплата жалованья (так, около 1630 года: от 4 до 6 экю в месяц для простого солдата; 50 — для офицера; 500 — для командующего) производилась настолько нерегулярно, что могли проходить многие месяцы, но ни один человек, ни один офицер не получали ни *реала*. Что касается продовольственного обеспечения, то о нем можно судить по письму 1629 года, адресованному из Фландрии графу-герцогу Оливаресу, первому министру Филиппа IV: «...Солдаты умирают от голода, ходят полураздетые и просят милостыню у дверей домов... Мы дошли до крайней степени нищеты, нужды и бедности, особенно испанцы,

которых умерло уже великое множество, но только не от ран»¹².

Понятно, почему в этих условиях так трудно было поддерживать дисциплину в армии и довольно часто случались мятежи, которые, особенно во Фландрии, неоднократно сводили на нет успехи испанских вооруженных сил. Понятно также, что война должна была кормить войну, что солдат вынужден был выживать в стране, в которой находился, дружественной или враждебной, и что грабеж и обворовывание местного гражданского населения стали не просто обычным, но и терпимым делом. В самой Испании размещение солдат на постой в домах стало бедствием для деревень и городов, которые не были избавлены от этой повинности, и те безобразия, которые творили войска, сосредоточенные в Каталонии для отражения французского вторжения, стали определяющим фактором восстания графа Барселоны против власти короля Испании в 1640 году.

Сам Мадрид, где правительство обычно не размещало войска (за исключением королевской гвардии), не смог полностью избежать этих неприятностей, поскольку столица постоянно испытывала на себе прилив большого количества военных: офицеры, оказавшиеся не у дел и осаждавшие кабинеты военного совета и приемные дворца; простые солдаты, уволенные вследствие расформирования их роты или в момент зачисления в армию; инвалиды, настоящие или мнимые, взывавшие к милосердию прохожих, рассказывая о своих былых армейских подвигах. Под защитой привилегий, которые обеспечивал им статус военнослужащего, некоторые из них совершали другие «подвиги», о которых сообщали *«Новости»* Мадрида: «Не было дня, чтобы утром не находили убитых или раненных руками разбойников или солдат, взломанные дома, девушек и вдов, рыдающих от насилия, которому они подверглись, и от краж: *вот какую уверенность в себе дает военный совет солдатам...*» «В Мадриде за пятнадцать дней убиты 70 человек, и 40 раненых находятся в больнице: вот сколько подвигов совершено солдатами»¹³.

Более серьезной опасностью, чем индивидуальные эксцессы, для испанской монархии в целом был общий упадок воинского духа. В указе, датированном 1632 годом, король признал, что «... военная дисциплина в моей армии пришла в упадок во всех отношениях, так что даже не пользуется теперь уважением, как в былые времена». В 1640 году, во время мятежа в Каталонии, даже дворянство отказалось откликнуться на призыв короля или же покидало ряды армии, как это сделала часть знати, «мобилизованной» Оливаресом¹⁴. Спустя двадцать лет, когда Луис де Харо в спешном порядке прибыл на помощь защитникам Бадахоса, осажденного португальцами, «едва ли с ним было пятнадцать — двадцать известных людей, поскольку остальные отказались покинуть королевский двор и предпочли удовольствия доблести оружия и чести нации»¹⁵.

Забвение военной доблести, контрастировавшее со все большей наглостью солдат и растущим количеством преступлений, которые они совершали, объясняли, почему к военным относились все хуже и хуже и что послужило причиной появления не только за границей, но и в самой Испании расхожего образа фанфарона, труса и хвастуна, опасного не столько для врага, сколько для бутылок и девичьей чести.

Я умею красть кур и цыплят,
Шлюхам оказывать теплый прием,
Ловко сдать карты в игре,
А в битвах и сражениях
Показать врагам
Подошвы моих ботинок, —

говорит один из персонажей Тирсо де Молины. И Лопе де Вега, который, как мы видели, очень восхищался героизмом Алонсо де Контрераса, вставил в одну из своих комедий, действие которой разворачивается в Палермо, такой диалог:

— Что это за люди? Порядочные люди?
— Солдаты и испанцы, что значит:
Слова, бахвальство, ложь,
наглость, бравада и преступления.

Но не в этих насмешках следует искать самые красноречивые свидетельства упадка воинского духа, а в плутовском романе «*Эстебанильо Гонсалес*»¹⁶. *Жизнь и подвиги* Эстебанильо представляют собой в некотором смысле антитезу — можно даже сказать, почти пародию — жизни Алонсо де Контрераса, и контраст между ними тем более разителен, что хотя Эстебанильо и облек в форму плутовского романа некоторые свои приключения, оба персонажа не стали от этого менее историческими и в их жизнях обнаруживается множество точек пересечения, поскольку оба они исколесили Европу под испанскими знаменами и приняли участие в нескольких больших войнах того времени. Но если один из них воплощал в себе все героические добродетели, поставленные на службу идеала, другой счел своим долгом чернить, принижать, высмеивать все, что в течение века составляло славу и честь испанского оружия.

Родившись в Риме в 1608 году от отца-испанца, подросток Эстебанильо убежал, как это сделал Алонсо, из лавки, в которую его устроили учеником, и в 13 лет поступил знаменосцем в роту, формировавшуюся в Мессине. Но его устремления были противоположны тем, которые воплотил юный Контрерас: если последний отказался от неопасной службы в качестве поваренка, чтобы сражаться с оружием в руках, то Эстебанильо оставил свою службу в качестве знаменосца, чтобы сделаться помощником повара на корабле, на который села его рота, чтобы отправиться сражаться с турками, поскольку, объясняет он, «я был настолько безразличен к этому делу, что не мечтал ни о чем другом, кроме как набить себе брюхо, имея под боком вместо арбалета плиту, вместо копья — ложку и добрый котел — вместо корабельной пушки».

Недолгой оказалась столь приятная жизнь: командир его выгнал, и Эстебанильо слонялся по Италии, пробуя себя в разных занятиях, но его всякий раз прогоняли за воровство, и он, оказавшись без средств к существованию, снова записался в армию.

Но, узнав, что его отряд отправляется «на мулах святого Франциска» (то есть пешком) во Фландрию, он с пятнадцатью другими приятелями дезертировал, чтобы поискать места в другой роте, которую он через несколько дней также оставил, чтобы добраться до Испании. Поочередно выступая в роли «паломника в Сантьяго-де-Компостела», актера и торговца снадобьями, он прибывает в Андалусию, где снова поступает на военную службу и припеваючи живет на постое в одном из домов до тех пор, пока его рота не выступила в поход. Во время перехода через лес Эстебанильо и пятьдесят солдат «бросили» своего командира: «Мы оставили его одного — со знаменем, барабанами, лейтенантом и сержантом, а также мальчишками, которые несли поклажу». Правда, этот командир был не слишком умен и не очень-то старался как можно меньше утомлять своих людей, «не понимая, что очень легко найти командира и гораздо труднее собрать пятьдесят человек...». Легкость, с какой удалось ему это проделать, побудила Эстебанильо действовать тем же манером всякий раз, когда у него не было денег.

Под угрозой тюремного заключения за совершение преступлений в Малаге он все-таки сумел сесть на корабль, отплывавший во Францию (которая в то время находилась в состоянии войны с Испанией). Что было делать, дабы прожить в этой чужой стране? «Я встретил в одной деревне сержанта, который спросил меня, не хочу ли я стать солдатом и служить христианнейшему королю. Чувствуя, что голод одолевает меня, *а в таком положении, не имея никакого пропитания, согласишься служить и турецкому султану*, я ответил согласием». Так Эстебанильо вступил в армию, которой предстояло воевать с испанцами в графстве Ницца, что дало ему возможность дезертировать, перебраться в лагерь противника и поступить к нему на службу. Но его полк отправлялся на север, в сторону Германии, где шли бои. Эстебанильо и на сей раз нашел способ избежать риска, устроившись на кухню, как уже делал в самом начале своей «военной» карьеры. Так он

стал свидетелем одной из побед, прославившей последние десятилетия испанского могущества: битвы при Нордлингене, где войска Филиппа IV разгромили опасного соперника — шведскую армию, выкованную Густавом-Адольфом. Но о сражении, в котором его товарищи по оружию покрыли себя славой, он рассказывает только для того, чтобы похвастаться, что не принял в этом никакого участия и что всегда держался как можно дальше от мест, где свистят пули. Накануне боя, предчувствуя, что столкновение двух армий будет жестоким, он сначала спрятался в остане лошади, а затем, опасаясь, что его найдут, под покровом ночи бежал как можно дальше от поля битвы: «Я встретил своего командира, который спросил меня: “Почему ты не берешься за пик с готовностью умереть, защищая веру, или принести победу своему королю?” Я ответил ему: “Если Его величество ждет, что я ему ее принесу, его песенка спета...”»

И когда командира, доблестно сражавшегося в бою, принесли смертельно раненного, Эстебанильо сделал циничное заключение: «Его отнесли в город, где он, не будучи столь же мудрым, как я, отдал свою душу создателю»¹⁷.

Победа под Нордлингеном (1634) была одержана, когда Алонсо де Контрерас, воплощение героического духа, уже закончил свою военную карьеру. К тому времени, когда спустя пятнадцать лет Эстебанильо живописал о своих приключениях, с удовольствием выставляя напоказ собственную трусость и безразличие к делу, за которое продолжали гибнуть его товарищи, битва при Рокруа (1643) окончательно развеяла миф о непобедимости испанской армии. Противопоставление одного другому принимает символический характер: Алонсо де Контрерас начал военную карьеру в конце правления Филиппа II, когда Испания, уже внутренне истощенная, еще доминировала в Европе; именно эту Испанию, не только приходившую в упадок, но и сомневающуюся в себе, отражают насмешки Эстебанильо Гонсалеса.

«Что осталось от тех королей, которые из своих дворцов или монастырского уединения правили миром? — спрашивает современный испанский историк. — Что стало с теми полководцами, которые завоевывали королевства и миры? Во что обратились героические подвиги, вписанные кровью наших солдат и моряков при Гарильяно, Оране, Павии, в Тунисе, Отумбе и Перу, при Лепанто и Сен-Кантене? Эпопея закончилась. Плутувской роман был в самом зените»¹⁸.

ПЛУТОВСКАЯ ЖИЗНЬ

«Плут» и плутовской мир. Плутовской роман как свидетельство социальной жизни. — Обитатели плутовского мира и их разнообразие: нищие, мошенники, наемные убийцы и проститутки. — «Плутовская» география. — Философия плутовства и ее значение в Испании золотого века

Термин *picaro* (плут) в испанской литературе появился для обозначения Гусмана де Альфараче, о жизни и приключениях которого рассказал Матео Алеман. Произошло это в 1599 году — через год после смерти Филиппа II. Термин имел счастливую жизнь: не только «плутовской» роман пользовался в Испании успехом, не ослабевавшим в течение полувека, но и *picaro*, так же как *hidalgo*, стал одним из характерных типов испанского общества эпохи золотого века в том виде, в каком это общество нашло отражение в литературе. Однако непросто подобрать во французском языке точный эквивалент этого термина, который из-за разнообразных литературных воплощений оброс многочисленными значениями и нюансами. Самым лучшим его переводом, вероятно, остается тот, что давали французские писатели того времени, и особенно Шапелен — блестящий ис-

панист, но в равной степени плохой поэт, — который перевел роман Матео Алемана под названием «*Прощельги, или Жизнь Гусмана де Альфараша, зеркала человеческой жизни*»¹.

Тем не менее следует различать *picaro*, воспетого в литературе, и *плутовской* мир, в котором он развился: типичный *picaro* — циничный, аморальный, асоциальный. Он не преступник и не «профессиональный» прощельга, но превратности судьбы, и особенно отказ подчиниться условностям, в соответствии с которыми живет нормальное общество, заставляют его обретаться среди тех, кто существует на краю этого общества, то есть в среде, где вращаются пройдохи и бродяги всех сортов, от безобидного нищего до мошенника, от профессионального вора до наемного или обыкновенного убийцы. Хотя *picaro* и чувствует себя комфортно в этом мире, он все же не хочет прочно обосноваться в нем, и его жизнь, полная приключений и почти непрерывных странствий, с краткими периодами оседлости, дает ему возможность видеть различные общественные группы со стороны, судить и рассказывать о них. В этом смысле *плутовской* роман вполне может рассматриваться как «зеркало человеческой жизни».

Но какова все же ценность образа, который представляется на наш суд? Образ *picaro* предстает перед нами реалистичным по сути, поскольку автор предполагал показать все, без утайки, превратности судьбы плута, невзирая на укоренившиеся предрассудки или условности, навязываемые положением в обществе, состоянием и добрыми чувствами. Надо ли видеть в описании, которое нам предлагается, не просто истинную картину, но единственную истинную картину общества того времени?

Подобная интерпретация опровергается тем фактом, что *плутовской* роман стал полноценным литературным жанром, прототипом которого послужил *Лазарильо из Торреса*, появившийся на пятьдесят лет раньше *Гусмана*: если термин *picaro* там не фигурировал, то это не значит, что он не служил образцом для всей последующей литературной продукции, как

по своей автобиографической форме, так и по сути: в рассказе о своих «удачах и бедах» Лазарильо проводит читателя через общество своего времени, последовательно представляя ему своих учителей, среди которых выделяется *hidalgo*, с теми же стереотипическими чертами, что появляются позже в большинстве романов².

Как это обычно происходит в литературе с имитацией и эволюцией образа, характерные черты модели, зачастую присутствующие скрытно, в более поздних произведениях излишне акцентируются и даже приобретают карикатурный вид. Злоключения, пережитые юным Лазарильо, ничто по сравнению с бесчисленными приключениями героев плутовских романов последующей эпохи — Гусмана де Альфараче, Маркоса де Обрегона, Плабоса из Сеговии, Эстебанильо Гонсалеса и многих других — каждый писатель, похоже, стремится превзойти писавших до него, громоздя друг на друга удивительные эпизоды. Если многие из этих приключений, взятые в отдельности, несут некоторую печать правдоподобия, то их соединение становится невероятным и свидетельствует о том, что автор скорее хотел развлечь читателя испытанными средствами, нежели передать точную картину социальной реальности своего времени. Впрочем, как поверить, что в обществе, где такие моральные ценности, как честь и вера, глубоко проникают в дух человека, плутовской мир с его галереей характерных персонажей — мошенников, проституток, сутенеров, мужей, закрывающих глаза на измены жен, коррумпированных чиновников — мог занимать столь важное место? Поэтому знатоки отказываются признавать какую-либо ценность этой литературы как документального свидетельства о социальной жизни того времени³.

Но такое суждение чревато впадением в другую крайность, поскольку множество свидетельств, содержащихся в нелитературных источниках, подтверждают факты из плутовских романов, не позволяя относиться к ним как к обычной выдумке. Прежде всего автобиографическая форма, в которую

обычно облечен плутовской роман, зачастую корреспондирует с реальной жизнью. Если автор и не познал все злоключения, выпавшие на долю его героя, то во всяком случае вел, как и главный персонаж, жизнь, полную приключений, которая вынуждала его иметь дело с той социальной средой, в которой происходит действие романа. Матео Алеман, автор «Гусмана», был сыном тюремного хирурга из Севильи, что дало ему возможность с юных лет познакомиться с миром оборванцев, для которого этот крупный андалусский город был чем-то вроде столицы. Проведя в Саламанке и Алькале бурные годы жизни бедного студента, он отправился искать счастья в Италии, потом вернулся в Испанию, где нечистые делишки вынудили его познать суровость тюрьмы уже в качестве заключенного, прежде чем он отправился в американские колонии, где впоследствии и умер в Мехико. «Занимательное путешествие» (*El viaje entretenido*) — это слегка романизированная история жизни автора. Аугустин де Рохас, образцовый тип истинного *picaro*: идальго по рождению, юный Рохас в 14 лет оставил дом знатных людей, куда его пристроили пажом, чтобы отправиться в Севилью; нужда и любовь к приключениям подтолкнули его впоследствии, как и многих других, к поступлению на военную службу. Он сражался во Франции, где был взят в плен. Освободившись, попал на корабль, который вел корсарскую войну против Англии, и после разнообразных путешествий некоторое время оставался в Италии, бродяжничая. Когда Аугустин де Рохас вернулся в Испанию, за ним охотилось правосудие за убийство, и он укрылся в церкви; он смог оттуда выйти только благодаря доброте одной женщины, которая, соблазнившись его смазливой мордашкой, потратила все, что у нее было, чтобы закрыть дело, возбужденное против него. Затем он вместе с ней опустился на дно плутовской жизни, существовал за счет подаяния и краж, иногда получая доход от того, что писал тексты проповедей для одного брата-августинца... Потом он примкнул к труппе бродячих актеров и делил с ними все превратности и невзгоды

их судьбы до тех пор, пока правительство Филиппа III не приказало закрыть театры. Аугустин де Рохас сделался лавочником в Гранаде, но несчастная любовь подвигла его стать отшельником в горах близ Кордовы. Через некоторое время он вернулся к «мирской» жизни, женился, пережил еще несколько приключений, которые привели его в тюрьму, и закончил свои дни секретарем королевского суда в Саморе, после того как, по его словам, «в течение двадцати пяти лет, за грехи свои тяжкие, сражался на скорбном поле нищеты»⁴. Можно привести и множество других примеров: Винсент Эспинель, автор «Жизни оруженосца Маркоса де Обрегона», о котором можно утверждать, что, «располагая сведениями о жизни романиста, затруднительно сказать, что интереснее, живописнее и необыкновеннее — приключения *Обрегона*, рассказанные Эспинелем, или злоключения, пережитые самим Эспинелем, в том виде, как они отражены в *Маркосе де Обрегоне*»⁵.

Но еще более показательным, чем эта общая или частичная идентификация автора и его героя, является соотношение между основными чертами плутовской беллетристики и содержанием документов того времени. Зная об утрированной барочности творчества Кеведо, его потребности доводить до самой карикатурной крайности реализм и сатирический дух, можно испытать некоторое недоверие, читая его описание жизни *чудесных рыцарей*, вместе с которыми в течение нескольких недель жил Паблос из Сеговии и которые, существуя подаянием и кражами, старались сохранить чувство собственного достоинства и внешние признаки идалго, скрывая под широкими плащами грязные лохмотья. «Мы, — говорил один из тех, кто занимался “образованием” Паблоса, — считаем солнце нашим худшим врагом, потому что оно выставляет напоказ наши заштопанные дыры, рвань и лохмотья... На нас нет ничего, что раньше не было чем-нибудь другим. Видите этот камзол? Ну так вот, когда-то он был штанами, сшитыми из плаща, который в свою очередь был сделан из капюшона... Глядя на мою обувь, кто поверит, что

она надета прямо на босу ногу и под ней нет ни чулок, ни чего-либо другого? Кто, увидев эти накрахмаленные штаны, может подумать, что у меня нет рубашки? Так что, господин лицензиат, дворянин может обойтись без чего угодно, но только не без накрахмаленных штанов...»

Шутовской монолог, который трудно воспринимать буквально. Однако в письме одного отца-иезуита к собрату мы читаем: «Три-четыре дня назад в Мадрид приехал человек, который по утрам одевался в лохмотья и прикидывался больным калекой, с громкими причитаниями и вошлями прося милостыню до часу дня. Потом он возвращался домой, обедал, переодевался в шикарную одежду и причесывался. Он, одетый с иголки, прекрасно выглядя, выходил на прогулку. Все соседи очень интересовались, на что он живет... Они выследили его утром, когда он выходил, и вечером разоблачили “трюкача”, совершив на него донос алькальду, который и арестовал его. В его доме нашли добротную кровать, сундук с белоснежным бельем и другой, совершенно новый шелковый костюм, лохмотья же лежали в углу; в комнате стояли стол и два стула, на столе лежала маленькая книжка, в которую он записывал, сколько милостыни он собрал за каждый день и как он ее тратил. Он сразу же сознался, заявив, что *“стал вести такой образ жизни, чтобы не становиться на скользкий путь тех, кто живет беззаботно и с блеском, не имея ни ренты, ни какого-либо источника дохода, промышляя по ночам в бесхозных домах и воруя все, что плохо лежит ...”*»⁶. Это свидетельство подтверждает правдивость рассказа Кеведо и даже дополняет его новой разновидностью «чудесных рыцарей».

Итак, нельзя отказывать в документальной ценности плутовскому роману, однако следует учитывать, что он дает искаженную картину испанского общества, как является искаженной, в диаметрально противоположном смысле, картина общества с доминирующим чувством чести, которую представлял в ту же самую эпоху в своих самых лучших творениях испанский театр. Так что степень доверия должна оп-

ределяться количеством источников, носящих непосредственно исторический характер и дающих подтверждение фактам, изложенным в романе. Таких источников великое множество: «рукописные новости» (*relaciones, avisos*) и частная переписка, уголовные дела, королевские указы, политические и экономические договоры. Все они свидетельствуют не только о многочисленности класса оборванцев, но также и о тенденции к распространению «плутовства» в некоторых секторах испанского общества, чуждых этому классу.

Этот упадок общества, который осознавался наиболее пронизательными современниками, был следствием различных причин материального и нравственного порядка. В материальном аспекте это было обеднение Испании из-за экономического заката, о проявлениях которого мы уже говорили. Крестьяне, согнанные со своей земли, безработные рабочие и разорившиеся ремесленники пополняли ряды отбросов общества, которые пытались искать свое счастье в крупных городах или жить там на подаяние. Среди других элементов, пополнявших «плутовское сословие», были две важные категории: солдаты и студенты. Кроме солдат-калек и инвалидов, вызывавших сочувствие у людей, выставляя напоказ свои раны, были и такие — и встречались они очень часто, — для кого военная и плутовская жизнь являлась чередующимися этапами их существования, как, например, для Эстебанильо Гонсалеса. Голод — или желание избежать правосудия — вынуждал их поступить в армию; они дезертировали при первом же удобном случае, чтобы, забыв о воинских подвигах, вернуться к своим нищенским повадкам, усугублявшимся приемами военного ремесла.

Что касается мира студентов, то он находился в постоянном общении с представителями общественного дна, и нет героя плутовского романа, который бы не вспоминал счастливые времена своего пребывания в Алькале или Саламанке. Документы убедительно свидетельствуют, что речь здесь идет не просто о литературном приеме, позволяющем

вспомнить о живописных сторонах студенческой жизни. Многие молодые люди из простых и бедных семей, отправляясь в поход за дипломом, который позволил бы им выбиться в люди, приобретали в университете (или в его окрестностях) только вкус к «вольной» жизни и одновременно презрение к физическому труду.

Это презрение к ремесленному труду и производственной деятельности вообще объясняет тот факт, что плутовской мир в немалой степени пополнялся за счет разорившегося мелкого дворянства и что многие из них, претендовавшие, по праву или нет, на титул идадьго, предпочитали жить «чуждом» вместо того, чтобы заниматься каким-нибудь трудом, что унизило бы их как в глазах окружающих, так и в своих собственных глазах. «Разве *picaro*, который не был чисто вымышленным существом, разве *picaresca* (плутовской роман), который создал своих персонажей не на пустом месте, могли бы возникнуть где-нибудь, кроме как в нашей стране? — спрашивает современный испанский историк, внимательно изучавший корни менталитета испанца золотого века. — Могли бы они появиться у народа, который познал развитую экономическую жизнь, у которого не существовало такого разрыва между сильными мира сего и массами, обделенными судьбой; где еще, кроме как к югу от Пиренеев, лицевая и обратная стороны социальной жизни представляли собой такой резкий контраст? *А все потому, что у нас не было буржуазного сознания, способного предложить идеал жизни, отличный от героического идеала и его обратной стороны — жизни picaro*»⁷.

Самые разные элементы — среди которых, не стоит забывать, были и монахи, порвавшие с монастырем, — способствовали формированию плутовской «фауны», которую писатели того времени с удовольствием классифицировали на роды и виды. В порядке возрастающей вредности элементов на

низшей ступени находились нищие, которые, впрочем, принадлежали к юридически регламентированной категории. Действительно, право относиться к категории нищих давалось тем, кто не мог работать (закон выделял в особую категорию *vagos* (бродяг), не желавших работать): «признанный» нищий должен был иметь «лицензию», выдававшуюся священником по месту его рождения, которая позволяла ему взывать к милосердию людей в этой местности и в радиусе шести лье⁸. Среди них существовала привилегированная группа: слепые, у которых была монополия на исполнение речитативом или «пение» молитв, охранявших отдельных людей и коллективы от болезней и всевозможных бедствий. В некоторых городах слепые объединялись в братства, уставы которых, официально признававшиеся муниципальной властью, защищали их привилегии. Устав Братства нищих Мадрида гарантировал своим членам, кроме монополии на чтение молитв, эксклюзивное право на продажу «газет» — рукописных листовок и альманахов. В Сарагосе было предусмотрено, что если слепой, имевший знатных клиентов, заболел, то, «дабы благочестие его прихожан не терпело ущерба, мажордомы братства должны поручать чтение этих молитв в упомянутых домах другим братьям... и деньги, полученные за молитвы, должны идти на лечение больного, сколько бы ни продлилась его болезнь, а по излечении пусть он возвратится к своим прихожанам»⁹.

Но мнимые слепые, как и мнимые калеки, наводняли крупные города, надоедая на перекрестках и у церкви прохожим и прихожанам своими жалобами, своими мольбами и иногда даже оскорблениями. В произведении начала XVII века, посвященном королю Филиппу III, *«Трактате о защите, которую надлежит оказывать истинно бедным, и о борьбе с притворщиками»*, приводятся данные о ста пятидесяти тысячах человек, которые живут в Испании на подаяние, и большая часть из них — притворщики¹⁰. В этом произведении перечисляются некоторые «трюки», используемые мнимыми калеками и боль-

ными, чтобы «ампутировать» себе руку, обезобразить пирами свое тело или придать трупный оттенок цвету своего лица, а также рассказывается история про одного бедняка, который разыгрывал умирающего на улице в Мадриде: пока он агонизировал, его приятели вложили ему в руки свечу и устроили сбор пожертвований на похороны; проходивший мимо доктор остановился, чтобы пощупать пульс больного, но тот мгновенно вскочил и убежал со всех ног...

К мнимым слепым — продавцам спасительных молитв — близки пилигримы, которые шли или делали вид, что идут в Сантьяго-де-Компостела, взывая к милосердию жителей городов и деревень, через которые проходили. Многие прибывали из Франции, Германии и других стран, но среди них было много и испанцев: между двумя периодами службы в армии Эстебанильо Гонсалес сделался странником, «чтобы в любой момент можно было поесть, а не поститься каждый день». Он присоединился к французу и генуэзцу, которые были такими же, как он, любителями побездельничать: «Наполнив доверху свои фляги, мы начали свое паломничество с таким рвением, что даже в дни, когда проходили больше всего, мы не проделывали и двух лье, чтобы не превращать в работу то, что мы принимали за развлечение. По пути мы опустошали уединенные виноградники, ловили попадавшихся нам кур и, весело подшучивая, покидали город с карманами, полными денег от полученной милостыни...»

Степью выше тех, кто жил за счет нищенства, находились *pícaros*, владевшие каким-нибудь ремеслом, позволявшим им избежать бродяжничества, считавшегося преступлением, но в основном занимавшиеся хищениями и воровством: таковы были *pinches de cocina* (подсобные работники на кухне), которые всегда умудрялись поесть до отвала, да еще и накормить своих дружков за счет кухни, где служили, и *esportilleros* (носильщики или курьеры), которые нанимались доставить домой частным лицам товары и различные продукты и пользовались этим, чтобы спрятать под одеждой кое-что из доставляе-

мого. На одной ступени с ними располагались бродячие торговцы (*bubonero*). Этим ремеслом некоторое время занимался Эстебанильо, после того как его «разжаловали», по его словам, из паломников, и он поместил свой капитал в покупку ножей, четок, гребней, иголок и других дешевых товаров, которые продавал на улицах Севильи — этап, обязательный для каждого, кто вел плутовскую жизнь.

Любовь к азартным играм, имевшая губительные последствия для представителей всех классов общества, была гарантированным заработком для тех, кто умел ею пользоваться. Существовали официальные игорные дома (обычно ими управляли бывшие солдаты-инвалиды, которым этот доход заменял пенсию), но гораздо больше было притонов (*garitos*), где собирались игроки-профессионалы (*tabures*), обыгрывавшие слишком доверчивых посетителей; иногда они объединялись в команды, в которых каждый член имел свою специализацию: были среди них, по словам Кеведо, подделыватели (*fullero*), которые должны были подготовить несколько колод крапленых карт на случай, если одна из них будет обнаружена; жулики, отвечавшие за исчезновение этих колод в конце партии, чтобы профаны не обнаружили трюк; наконец, зазывалы, в обязанности которых входило привлечение в притон слишком доверчивых или слишком уверенных в себе игроков.

На вершине плутовской иерархии, доминируя над толпой тех, кто должен был как-то вертеться, чтобы выжить, используя добрые чувства, доверчивость или оплошность других людей, находились те, кто представлял собой действительно «опасный элемент» — здесь бок о бок сосуществовали профессиональные воры и убийцы. Среди них было много различных специалистов — Карлос Гарсиа, современник Филиппа IV, различал среди воров не менее двенадцати разновидностей, в том числе воры, срезавшие кошельки, *capeadores* (специализировавшиеся на кражах плащей по ночам), *salteadores* (бандиты с большой дороги), «юнги» (*grumetes*), прозванные так за их ловкость при лазании по веревочным лестни-

цам, которые служили для ограбления домов, «апостолы», которые, как святой Петр, всегда имели с собой большие связки ключей, «сатиры», воровавшие скот в полях, и даже «благочестивцы», занимавшиеся взламыванием кружек для пожертвований в церквях и умыканием дорогих убранных со статуй святых¹¹.

Аристократической прослойкой преступного мира были «молодцы» (*valentones*) и «убийцы» (*matones*), которые носили костюмы, напоминавшие одежду солдат (многие из них когда-то ими и были): шляпа с широкими полями, иногда украшенная пером, камзол из буйволового кожи (под которым часто была надета кольчуга), длинная шпага на поясе. Они работали «на себя» или оказывали услуги тем, кто хотел избавиться от неудобного человека, пользуясь при этом специально спровоцированной дракой или совершая самое обычное убийство. Восхищение, которое вызывала их храбрость, окружало их уважением, зачастую сохранявшимся и после их смерти, если совершенные ими злодеяния приводили их на виселицу и если они до последнего вздоха не теряли мужества, которое они проявляли в течение всей жизни. Перес Васкес де Эскамильо и Алонсо Альварес де Сория, знаменитые бандиты, повешенные в Севилье в XVI веке, запомнились потомкам тем, с каким мужеством и презрением к смерти они шли на казнь; воспоминание о них встречается в произведениях Лопе де Вега; Кеведо, упоминавший Эскамильо в своем «*Vope*» (*Buscon*), вероятно, вдохновлялся именно этим «примерным» поведением в эпизоде, когда палач рассказывает Паблосу из Сеговии о последних минутах жизни его отца:

«Твой отец встретил свою смерть более недели назад мужественно, как никто другой. Я говорю это как человек, который его казнил. Он без посторонней помощи взобрался на осла, который повез его к месту казни, и каждый при виде выражения его лица, как и при виде креста, который несли впереди него, счел бы его достойным виселицы. Он ехал с беззаботным видом, заглядывая в окна и любезно приветствуя тех, кто выходил из лавок, чтобы по-

смотреть на него. Пару раз он пригладил усы. Он предложил исповедникам отдохнуть, похвалив их за сказанные добрые слова.

Подойдя к виселице, он ступил на лестницу и поднялся, ни медленно, ни быстро, и увидев, что одна ступенька сломана, обернулся к судьям, сказав им, что нужно ее починить для других, потому что не все так смелы и решительны, как он. Невозможно передать, какое благоприятное впечатление он произвел на присутствовавших. Наверху он сел, сбросил вниз всю лишнюю одежду, которая на нем была, взял петлю и натянул ее себе прямо на адамово яблоко. Затем, увидев, что к нему спешит брат-театинец, чтобы прочитать проповедь, он сказал ему: «Отец мой, я избавляю вас от проповеди, прочитайте *'Credo'* и покончим с этим побыстрее...» Он повис, не скрестив ног, не сделав ни одного движения, сохранил такое спокойствие, которое вряд ли еще можно увидеть»¹².

В крупных городах, где самые низшие слои общества составляли немалую часть населения, воры и убийцы собирались в организованные банды со своими наводчиками, сообщниками и скупщиками краденого. Существовали ли настоящие «братства» воров со своим уставом, наподобие монашеских и милосердных братств? В своей «назидательной новелле» *Rinconete y Cortadillo*, действие которой разворачивается около 1598 года в Севилье, Сервантес показывает братство, которым верховодит Мониподио и члены которого объединились для занятия своим «ремеслом», строго соблюдая благочестие, ради чего жертвуя значительную часть своей добычи на мессы за упокой души «собратьев», кончивших жизнь на виселице. Можно было бы попытаться приписать фантазии Сервантеса комический эффект, который он извлек из этого контраста, если бы не свидетельство, датированное 1592 годом, которое, по-видимому, подтверждает его правоту. «В Севилье, — пишет Луис Сапата, — говорят, существует братство воров, со своими приорами и судьями в коммерческих судах, как у купеческих братств; у них есть свои приемщики, у которых скапливается наворованное добро,

хранящееся в сундуках под семью замками; отсюда извлекается то, что необходимо на оплату издержек, а также на *подкуп полезных людей, когда надо спасти кого-то из братьев, попавших в затруднительное положение*. Они очень осмотрительны, принимая в свои ряды новых членов; там могут оказаться только храбрые и ловкие люди, *старые христиане; они принимают только слуг богатых и влиятельных людей города или служителей правосудия*, и новички прежде всего должны поклясться в том, что даже если их будут рубить на куски, они вынесут все пытки, но не выдадут своих товарищей»¹³.

Намек на «коррупционные фонды», средства из которых помогали улаживать темные делишки, и на людей при должности, на поддержку которых можно было рассчитывать, объясняет неспособность официальных властей положить конец всевозможным безобразиям. Наверное, трудно поверить в то, что, как неоднократно утверждается в плутовских романах, например, в «*Гусмане де Альфараче*», все судьи были продажны, а все альгвасилы являлись сообщниками воров. Но не может не впечатлять огромное количество обвинений подобного рода, зачастую подтверждавшихся самими властями. «Святая эрмандада» и ее *cuadrilleros* (жандармы), в обязанности которых входило обеспечение порядка за пределами города, имели ужасную репутацию. «Если на тебе нет никакой вины, — говорит Гусман, — то пусть Бог хранит тебя от “Святой эрмандады”, поскольку “святые жандармы” все сплошь люди бездушные и приносящие зло; не колеблясь, они обвинят тебя, поклявшись, что говорят правду, в том, чего ты не совершал и чего они не могли видеть, просто потому, что им заплатили или даже за кувшин вина, полученный за лжесвидетельство». Те же обвинения мы находим в решениях муниципалитета города Осуны, в Андалусии, который, «считая, что многие жандармы не подчиняются своим алькальдам и даже замешаны в доносах и других делах, не входящих в их компетенцию, что приносит большой вред и ущерб», запретил им покидать город без специального приказа

судебных властей¹⁴. Недоверие правительства к своим собственным служителям юстиции и полиции засвидетельствовано также королевскими указами, изданными в 1610 и 1613 годах, в которых, с одной стороны, им запрещалось посещать таверны, а с другой — хозяевам этих заведений и всевозможным торговцам запрещалось обслуживать их в долг¹⁵.

Но было бы абсурдом обобщать: уголовная полиция зачастую вполне серьезно относилась к своим обязанностям и принималась за очистку города от самых опасных преступников. Для тех, кто попадал в руки судей, наказания были безжалостными, и показательный характер, придававшийся казням, становился все более устрашающим. Приговоренный к смерти, одетый в белую тунику и голубой колпак (это облачение называлось «одеянием «Непорочно-го зачатия»» и гарантировало прощение небес тому, кто его надел), проделывал свой последний путь — от тюрьмы до эшафота — верхом на муле или осле с руками, привязанными к распятию, с недоуздом на шее и в сопровождении двух монахов, которые наставляли его перед смертью. Перед ним ехал глашатай, возвещавший обо всех его злодеяниях; сзади верхом на конях ехали поймавший его альгвасил и судья, приговоривший его к смерти. Процессия останавливалась перед каждым святым образом или церковью, которые встречались у нее на пути, чтобы произнести молитву. После казни (обычно через повешение, поскольку обезглавливание считалось привилегией дворян) тело четвертовали и части его выставлялись на перекрестках и при въезде в город.

Для тех, кто знал, что его разыскивает полиция, все-таки был один способ спастись — священное убежище в стенах церкви, зачастую огражденной решетками или цепями, территория которой по этой причине превратилась в место встреч бандитов. Укрывшихся преступников снабжали едой их еще не попавшиеся приятели или женщины легкого поведения, превращавшие святое место в бордель...

Проституция вообще занимала большое место в плутовском мире, для которого она служила источ-

ником дохода. Как и сам этот мир, она имела несколько уровней. На низшем уровне находились женщины, работавшие «на дому» (*mancebias*). Их промысел был регламентирован Филиппом II в 1572 и 1575 годах. Каждая проститутка этой категории должна была находиться под присмотром «отца» или «матери», признанных в этой роли официальными властями и обязанных, взяв на себя эту заботу, исполнять все соответствующие королевские распоряжения. Запрещалось допускать к этому промыслу замужних женщин (равно как и девственниц) и женщин, обремененных долгами; запрещалось также одалживать деньги «пансионеркам», что могло бы вынудить их заниматься этой профессией неопределенное время. Каждую неделю женщин должен был осматривать врач; в случае обнаружения у них инфекционного заболевания их тут же отправляли в больницу.

Одевались проститутки в соответствии с регламентом, в обязательном порядке вывешивавшимся в домах терпимости: в отличие от порядочных женщин они не могли носить платья со шлейфами и туфли на высоком каблуке, но надевали короткие плащи красного цвета, накинутые на плечи. Они не имели права выходить из дома в сопровождении пажа и подкладывать под колени в церкви подушечку. «Отец» нес перед муниципальными властями ответственность за порядок и нормальное функционирование своего заведения, вход в которое был запрещен всем мужчинам со шпагами или кинжалами. Тарифы определялись в зависимости от достоинств и очарования девиц, а также от условий их работы: например, регламент для домов терпимости Арагона содержал следующее уточнение: на кровати — полреала, в кровати — один реал...¹⁶

Официальные власти следили также за нравственным здоровьем проституток: им запрещалось заниматься своей профессией во время Святой недели. Кроме того, во время Поста им в обязательном порядке предписывалось покаяние: их отводили в церковь, где проповедник давал им наставления на тему

о Магдалине, после чего он спускался с кафедры и показывал им на распятие со словами: «Поглядите на Господа — поцелуйте его». Если кто-то из них так и поступал, то их отправляли в монастырь для раскаявшихся девиц, но большинство отворачивалось, чтобы вернуться к своей «работе».

Каждый город, даже самый незначительный, имел по меньшей мере один публичный дом (*puterias*). Некоторые из этих заведений имели особую репутацию, например дом терпимости в Валенсии. «В Валенсии, — писал Бартеlemi Жоли, — как и во всех городах Испании, имеется место, где девицы доставляют удовольствие каждому желающему, но только особенно изысканное, большое и знаменитое, занимающее целый квартал города, где подобного рода промыслом занимаются совершенно беспрепятственно и женщины этой профессии предлагаются по очень низкой цене при крайней дороговизне на все товары»¹⁷. Этот квартал состоял из небольших домиков, каждый из которых был окружен садиком и принадлежал «отцу» или «матери», которые размещали в них проституток. В Севилье тоже был подобный квартал, Райский уголок, дома в котором частично принадлежали муниципалитету, а остальные частным лицам, зачастую городской знати, которые назначали «отцов», отвечавших за управление ими. Эти заведения, если верить современникам, как испанцам, так и иностранцам, пользовались немалым успехом. Энрике Кок, «папский нотариус и лучник королевской гвардии» при Филиппе II, заявлял, что «публичные дома (*puteria*) настолько обычное явление в Испании, что многие, приехав в город, отправляются сначала туда, а уж потом в церковь»¹⁸. Другой автор говорил о таком наплыве бедного люда в публичных домах категории *mancebias* в городах Арагона, что «у входа дерутся за свою очередь, как это обычно бывает на аудиенции у правителя или судьи...»¹⁹.

Но проституция распространялась и за пределы специально отведенных кварталов, так что в испанском языке сложилась целая иерархия названий жриц любви — от проституток, поджидавших клиен-

тов на углу улицы (*ramera, cantonera*), до *dama de achaque*, выдававшей себя за добропорядочную представительницу буржуазии, и даже *tusona* («дамы руна» — название, содержащее намек на орден Золотого руна, самый блестящий из рыцарских орденов), изображавшей из себя знатную даму, которая, чтобы казаться более «представительной» и набить цену за свои услуги, выходила в сопровождении дуэньи или сутенера, игравшего роль услужливого кавалера. Героинями некоторых плутовских романов стали эти авантюристки, например «Хустина-плутовка» и «Елена, дочка Селестины», элегантную походку и неотразимое обаяние которых описал Салас Барбадильо: «Какая женщина, друзья мои! Если бы вы видели, как она выходит, показав лишь уголок глаза, в плаще из севильского сукна, длинном платье с длинными рукавами, в туфлях на высоком каблуке, шагая степенно уверенной походкой, — не знаю, кто из вас довольно целомудрен, чтобы не последовать за ней, если не ногами, то хотя бы взглядом, в тот краткий миг, когда она пересекала улицу»²⁰.

Как и любая другая «среда», плутовской мир владел своим особым языком, «жаргоном братьев» (*jerga de germania*), использование которого служило знаком признания среди обитателей социального дна, поскольку, как отмечал прокурор Шав в своем описании севильской тюрьмы, «среди них считалось зазорным называть вещи своими обычными именами». Жаргон отличался любовью к антифразам (таверна становилась «эрмитажем») и метафорам, которые маскировали страшные реалии жизни и смерти: скамья для пыток называлась «исповедальной», где рекомендовалось не «петь», даже если молчание грозило вам «женитьбой на вдове» (казнью через повешение) и вело вас к *finibus terrae* (земному концу).

Плутовской мир имел также собственную географию, и настоящим плутом считался тот, кто прошел различные этапы, чтобы достичь «высокого положе-

ния», и слава об этих людях распространялась, вероятно, большей частью благодаря литературным произведениям по всей Испании. В Мадриде площадь Кузнецов (*Herradores*) и Пуэрто дель Соль были главными местами встреч воровского мира. В Сеговии воры собирались в тени римских акведуков на небольшой площади Азогуэхо. Толедо был знаменит своим бывшим арабским рынком (*Zocodover*), Севилья — Ареналом — песчаным берегом, спускавшимся к Гвадалквивиру. Но его славу затмевала площадь *Potro* («жеребенок») в Кордове: там собирался цвет плутовского мира; родиться там было равносильно получению грамоты о пожаловании дворянства, и именно туда Эстебанильо Гонсалес отправился, чтобы добиваться признания своих заслуг, поскольку «мне, побывавшему в своей жизни студентом, пажом и солдатом, не хватает только этой степени, чтобы прослыть доктором того права, которое я исповедую...». Но самым священным местом была Сахара, маленький порт в Андалусии, славившийся своими уловами тунца — это была Мекка плутовского мира, если верить Сервантесу, проследившему в своем «*Прославленном слуге*» карьеру и продвижение по социальной лестнице Диего де Карриазо:

«Он выучился играть в бабки в Мадриде, в экарте — в предместьях Толедо, в пикет — в барбаканах Севильи и прошел по всем ступеням *picaro* до самого верха, достигнув мастерства среди рыболовных сетей Сахары, где находится средоточие плутовского мира. О, кухонные *picaros*, грязные, жирные и лоснящиеся; мнимые нищие, калеки, уроды, воры-карманники из Сокодовера или с площадей Мадрида, громкоголосые исполнители молитв, носильщики из Севильи, сутенеры среди подонков — несметное множество всех, кого именуют плутами! Вас не назовут плутами, если вы не взяли пару уроков в академии ловли тунца: здесь поют, там отрицают Бога, еще дальше ссорятся и дерутся, и повсюду воруют; вот где воистину царствует свобода и с блеском выполняется «работа»; именно туда идут многие отцы добропорядочных семейств разыскивать своих сыновей и

находят их там, а те, когда их отрывают от этой жизни, горюют так, словно их ведут на смерть»²¹.

Принимая в расчет «эстетическое снисхождение», вдохновившее автора «*Дон Кихота*» на это эмоциональное описание, нельзя рассматривать его изолированно от других экзальтированных пассажей, повествующих о плутовской жизни, которые мы находим в литературе того времени и которые свидетельствуют о притягательности вольной жизни *picaro* для многих людей. Это стало одной из тем, постоянно возникающих в «*Гусмане де Альфараче*», «сумме философии плутовской жизни», произведении, автор которого, не будем забывать об этом, познал и нищету, и радости подобного способа существования: «О дважды, трижды, четырежды счастливейший ты, встающий по утрам, когда захочешь, не заботящийся ни о том, чтобы служить, ни о том, чтобы служили тебе, не имеющий нужды охранять свое имущество и не боящийся потерять его ... На площадях в праздники твое самое любимое место; зимой на солнышке, летом в тени. Ты накрываешь свой стол, стелишь свою постель так, как считаешь нужным, ни за что не платишь, никто тебе не мешает и ты не должен ни с кем препираться...»

Но тем не менее не всё в этой жизни сплошные удовольствия; в ней есть и голод, и жажда, летний паллящий зной и зимняя стужа без крыши над головой, а иногда и последняя на этом свете прогулка — путь на эшафот. Но что все это значит по сравнению со свободой! Когда Диего де Карриазо, сын, как утверждает Сервантес, знатной семьи из Бургоса, убежал из дома, чтобы странствовать по миру, «он был так счастлив от этой свободной жизни, что среди сопутствующих ей непокоя и нищеты вовсе не сожалел об изобилии, которое оставил в родительском доме, не чувствовал усталости от пеших переходов и не жаловался ни на жару, ни на холод; для него все времена года были приятны, как цветущая весна; ему так же уютно спалось на сене, как и в постели с дорогим бельем; ему так же хорошо отдыхалось на соломе, как и на простынях из тончайшего голландского полотна...».

Философия плутовской жизни представляет собой нечто большее, чем просто отказ от удобств, даруемых конформистской жизнью, или равнодушие к ним — она выражает презрение к ним. Что дает право исповедующим эту философию называться гордым именем *picaros*? Нравственные добродетели? «Все воруют, все лгут, все обманывают, и хуже всех тот, кто стяжал себе этим славу», — замечает Гусман. Не из-за этой ли столь превозносимой чести? Хорошая отговорка для богатых, поскольку «никогда голод и стыд не ладят друг с другом». И чего стоят социальные различия, коими так дорожат люди? Богатые и бедные, дворяне и нищие, разве не родились все на одной земле — или даже в одной грязи?

Через иронию и сарказм, адресованные к проявлениям ложного величия в этом мире, выражалось сакраментальное *Vanitas vanitatum* («суета сует»), в котором словно бы отразилась эволюция Испании от эпохи Филиппа II до времени его двух преемников, между Лепанто и Рокруа. Вспоминая свои молодые годы, Гусман говорит, что тогда *picaros* было меньше; сегодня же «нет профессии более распространенной, и все ею гордятся...»²². Действительно, *пикаризация* проявлялась одновременно в социальной реальности, где она охватывала практически все слои общества, и в умах людей; в последнем аспекте она находила выражение в разочаровании и безразличии, усталости от героизма, чести и великих предприятий, коими была одержима испанская душа. «Оставьте, оставьте этих кичливых гигантов!» — восклицает Матео Алеман за пятнадцать лет до того, как Сервантес бросит своего Дон Кихота на приступ ветряных мельниц...²³

Итак, если плутовской роман и был всего лишь кривым зеркалом, отражавшим жизнь испанского общества в эпоху золотого века, он все-таки был выражением Испании, которая, сопоставляя безмерность собственных усилий и суетность достигнутых результатов, размышляла о себе и своей судьбе.

БИБЛИОГРАФИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

Из огромной библиографии на испанском языке по нашей теме (в которую следует включить всю драматургию и романическую литературу эпохи) мы можем привести лишь малую часть. Отсылая по частным аспектам к указаниям, фигурирующим в начале каждой главы, и примечаниям, мы ограничимся упоминанием здесь нескольких обобщающих работ, относящихся к жизни общества и ее отражению в литературе. Особенно мы должны отметить серию исследований Хосе Делеито Пиньюэля (José Deleito Piñuela), где ученый рисует широкую панораму *Испании при Филиппе IV*, и отдельные работы которой мы упоминаем в соответствующих главах. В примечаниях мы отдадим должное всему, чем мы обязаны этому историку.

Altamira (Rafael): *Historia de España y de la civilización española*, 3^e éd., t. III, 1913.

Vicens Vives (José): *Historia económica y social de España*, dir. par. t. III; *Imperio, Aristocracia, Absolutismo*, 1^{re} partie par J. Regla.

Palacio Atard (Vicente): *Derrota, agotamiento, decadencia de la España del siglo XVII*, 2^e ed. 1956.

Domínguez Ortiz (Antonio): *Política y hacienda de Felipe IV*, 1960.

Morel Fatio (Alfred): *L'Espagne au XVI^e et au XVII^e siècle* (Heilbronn 1878), и *Études sur l'Espagne. Première série*, 2^e éd. (1895). Partie V: *Le «Don Quichotte» envisagé comme peinture et critique de la société espagnole du XVI^e et du XVII^e siècle*.

González Palencia (Angel): *La España del Siglo de Oro* (1940).

Pfandl (Ludwig): *Introducción al Siglo de Oro (Cultura y costumbres del pueblo español de los siglos XVI y XVII)*, пер. с немецкого (1929).

Valbuena Prat (Angel): *La vida española en la Edad de Oro según las fuentes literarias* (1943).

Igual Úbeda (Francisco): *El Siglo de Oro* (1951).

Del Arco (Ricardo): *La sociedad española en las obras dramáticas de Lope de Vega* (1942).

Vilar (Pierre): *Le temps du «Quichotte»* (Europe, XXXIV, 1956, pp. 3—16).

Ortega y Gasset (José): *Papeles sobre Velázquez y Goya*. Часть I: *De la España alucinante y alucinada de Velázquez*, 1950.

Глава I

«ПИСЬМО О ПУТЕШЕСТВИИ В ИСПАНИЮ»

О многочисленных рассказах о путешествиях в Испанию в XVI и XVII вв. см. труды: Fouché Delbosc, *Bibliographie des voyages en Espagne et au Portugal*, в: *Revue Hispanique*, III,

1896, и Farinelli, *Viajes por España y Portugal desde la Edad Media hasta el siglo XX* (1921), дополненный *Suplemento* (1930). Самые значимые работы собраны и изданы на испанском языке Гарсиа Меркадалем: Garcíia Mercadal, *Viajes de extranjeros por España y Portugal*, 2 vol. Madrid, 1959.

Наше «Письмо» навеяно главным образом повествованиями, оставленными тремя французскими путешественниками, которые посетили Испанию между 1600 и 1659 гг.: *Voyage de Barthélemy Joly en Espagne*, 1603—1604 (Б. Жоли именовал себя «советником и высшим духовным лицом при короле Франции»), текст был опубликован в: *Revue Hispanique*, t. XX, 1909, pp. 460—618; *Voyage d'Espagne* (1655) d'Antoine de Brunel (Брюнель был дворянином-протестантом из Дофине), текст был опубликован в: *Revue Hispanique*, t. XXX, 1914, pp. 119—376; *Journal de voyage d'Espagne* (1659) de François Bertaut (Берто, брат мадам де Моттевиль, был советником-клерком в парламенте Руана), текст был опубликован в: *Revue Hispanique*, t. XLVII, 1919, pp. 1—319. Все трое были образованными людьми, говорили по-кастильски и очень часто упоминали испанских авторов того времени, что еще раз свидетельствует об интеллектуальном влиянии Испании золотого века.

Знаменитое *Relation du voyage d'Espagne* мадам д'Ольнуа, успех которого был очень длительным и который способствовал укреплению во французском общественном мнении стереотипов, связанных с «традиционной» Испанией, представляет собой гораздо менее надежный источник. Кроме того, что ее путешествие приходится на гораздо более поздний период (1679—1681), графиня не упускает случая снабдить свое повествование пикантными деталями, истинность которых сомнительна. Но поскольку ее сочинение было в значительной степени вдохновлено рассказами о путешествиях более раннего времени, а кроме того, она использовала некоторые произведения испанской литературы той эпохи, ее свидетельство вполне может быть использовано, если факты, приведенные в рассказе, совпадают с событиями, приведенными в других источниках (Le due de Maura et A. González Amezua: *Fantasías y realidades del viaje a Madrid de la Condesa d'Aulnoy*, Madrid, s.d., ont partiellement réhabilité contre Fouché Delbosc (*éd. du Voyage d'Espagne*) le témoignage de Mme d'Aulnoy).

¹ Это предупреждение в начале книги подсказано Б. Жоли (Préface) и Брюнелем (chap. I, p. 124).

² Brunel, chap. II; о взимании налога инквизиции упоминает также Камилл Боргез (Camille Borghèse), дневник путешествия которого (Description del camino de Irún a Madrid (начало XVII века) был опубликован Морелем Фатио: Morel Fatio, *L'Espagne au XVI^e et au XVII^e siècle*, appendice IV.

³ В. Joly, p. 528; Brunel, chap. XXVI.

⁴ Об испанской почте см.: María Montánez Matillas, *El correo en la España de los Austrias* (1953). Путевой журнал (*Journal de voyage*) Камиля Боргеа содержит указание на длительность переездов верхом на мулах: от Ируна до Памплоны два дня; от Памплоны до Бургоса три дня; от Мадрида до Эскориалы один день. Брюнель потратил около десяти дней на путешествие от Ируна до Мадрида (84 лье).

⁵ Все путешественники, независимо от их национальной принадлежности, единодушно подчеркивают ужасное состояние испанских постоялых дворов, «где можно найти лишь то, что вы привезли с собой».

⁶ Весь этот пассаж — включая цитату из *Гусмана де Альфараче* — см. в: В. Joly, pp. 541—542.

⁷ «Хвала Испании» (*Laus Spaniae*), воспевавшая плодородие и изобилие земель этой страны, традиционно является неотъемлемой частью любой истории страны со времен Исидора Севильского. Отрывки из *Истории Испании* П. Марианы (*Historiae de rebus Hispaniae, libri XXV, Tolède 1592—1595*) часто цитирует Берто.

⁸ О кастильском пейзаже см.: Bertaut, p. 190. Количество баранов, которые приехали из Франции в Арагон, было приведено Б. Жоли: В. Joly, pp. 501—502.

⁹ Берто в своих рассказах дважды возвращается к колодцам (*norias*), которые он видел в Ла-Манче (p. 57) и в Андалусии (p. 193).

¹⁰ Описание польского магната Яна Собеского, который посетил Испанию в 1611 г. (García Mercadal, *Viajes... II, p. 330*).

¹¹ О красоте королевства Валенсия см.: В. Joly, p. 507.

¹² Свидетельство Брюнеля, записанное спустя более сорока лет после изгнания, демонстрирует глубокие отголоски этого события не только в материальном плане, но и в испанских душах. Сервантес приветствовал «героическое» решение великого короля Филиппа III, а валенсийский историк Эсколано в своих *Décadas de la historia de Valencia* говорит о «прекрасном саде Испании, превращенном в иссушенную и пустынную степь».

Б. Жоли, который посетил эту местность до изгнания, упоминает об уловках, к которым прибегали мориски, чтобы избежать подчинения христианским порядкам.

¹³ Берто, который также говорит об изгнании мавров, приводит цифру — 900 тысяч сосланных людей. Х. Лапейр (H. Lapeyre, *Géographie de l'Espagne morisque*), опираясь на неопровержимые документы, приводит общую цифру 270 тысяч.

¹⁴ В 1619 г. Санчес де Монкада (Sánchez de Moncada) писал: «Бедность Испании явилась результатом открытия Америки». Эта идея уже высказывалась до него при Филиппе II автором *Norte de Príncipes* (долгое время приписываемого Антонио Пересу, советнику короля).

¹⁵ Brunel, p. 153.

¹⁶ Brunel, chap. XIX. О Сеговии: Bertaut, p. 163.

¹⁷ Описания Барселоны и Сарагосы см. в: V. Joly (p. 476—481 et 537); о Валенсии: *ibid.* p. 515.

¹⁸ О французах, обосновавшихся в Каталонии и Сарагосе, см.: V. Joly, p. 483 et 535—536. Очевидно, что цифры, приводимые французскими авторами, не имеют ничего общего с действительностью; но похожие сведения мы находим и у испанских авторов того времени. Некоторые города производили впечатление буквально «захваченных» французами, например Севилья, где, согласно скромным подсчетам Домингеса Ортиса (A. Domínguez Ortiz, *Los Extranjeros en la vida española durante el siglo XVII*), проживало несколько десятков тысяч французов при общей численности населения в 120 тысяч жителей.

¹⁹ В эпоху Филиппа III и Филиппа IV (1598—1665) в Испании существовали две денежные системы: в областях Арагонского королевства (Арагон, Каталония, Валенсия) использовались, как и во Франции, ливры, су и денье (1 ливр = 20 су; 1 су = 12 денье). В Кастилии денежной единицей служили мараведи и реалы (1 реал = 34 мараведи); большие суммы выражались в дукатах (1 дукат = 375 мараведи).

²⁰ Brunel, chap. XXXVII.

²¹ «Toda la inmundicia de Europa ha venido a España, sin que se haya quedado en Francia, Alemania, Italia, Flandes, cojo, manco, tullido ni ciego que no se haya venido a España» (Fernández de Navarrete, *Conservación de Monarquías*, 1626).

²² Brunel, p. 144. Б. Жоли тоже несколько раз говорит о чрезмерной гордыне испанцев, в частности, среди ремесленников.

²³ Brunel, chap. VI, pp. 143—144.

²⁴ Все эти подробности взяты из книги Б. Жоли. Брюнель (chap. XXV) настаивает на различии темпераментов жителей различных провинций.

²⁵ Bertaut, p. 193. О налоговом неравенстве среди различных провинций см.: Domínguez Ortiz, *Política y hacienda de Felipe IV*, III, chap. I.

²⁶ Enrique Cock, *Anales del año ochenta y cinco* (в: García Mercadal, *Viajes...*, t. I, p. 1303). Кок, «нотариус и лучник Его Величества», сопровождал Филиппа II, когда король отправился поддержать кортесы в Монсон, в Арагоне (1585).

Глава II ЖИЗНЕННЫЙ УКЛАД

Три основных произведения представляют нам с различных точек зрения отличительные черты испанцев и их отражение на исторической судьбе страны и ее социальной жизни: R. Menéndez Pidal, *Los Españoles en la historia*

(Col. Austral, 1951); C. Sánchez Albornoz, *España, un enigma histórico* (2^e éd. Buenos Aires, 1962); Américo Castro, *Réalité de l'Espagne: histoire et valeur* (trad. de l'espagnol, Paris, 1963).

Среди весьма многочисленных исследований о чувстве чести: А. Castro, *Algunas observaciones acerca del concepto del honor en los siglos XVI y XVII* (*Rev. de Filología española*, III (1916) и *De la edad conflictiva. El drama del honor en España y su literatura* (1961); R. Menéndez Pidal, *Del honor en el teatro español* (*España y su historia*, 1957, t. II, pp. 357—394); García Valdecasas, *El hidalgo y el honor* (1948). Об извращенности чувства чести см.: М. Bataillon, introduction à l'édition bilingue du *Lazarillo de Tormes* (trad. française de Morel Fatio, 1958) и *El sentido del «Lazarillo de Tormes»*, Paris, 1954.

О предрассудках, связанных с «чистотой крови»: А. Domínguez Ortiz, *La clase social de los conversos en Castilla en la Edad moderna* (1955); Albert A. Sicroff, *Les statuts de pureté de sang en Espagne aux XVI^e et XVII^e siècles* (1955).

¹ Mateo Alemán, *Guzmán de Alfarache*, cité par Moreno Báez, *Lección y sentido del «Guzmán de Alfarache»*, pp. 162—163.

² Alessandro Tassoni, *Filípicas* (около 1602 г.), см. в: García Mercadal, *Viajes...*, II, p. 10.

³ Morel Fatio, *Etudes sur l'Espagne*, I, p. 10.

⁴ Juan de Palafox, *Discurso... y comparación de España con las otras naciones*, cité par Palacio Atard, *Derrota y agotamiento*, p. 22.

⁵ García Mercadal, *Viajes...*, II, p. 18.

⁶ Этот подзаголовок был дан в: J. Deleito Piñuela. *La vida religiosa bajo el cuarto Felipe. Santos y pecadores*.

⁷ *Noticias de Madrid*, édit. par González Palencia, pp. 31—32 et 110.

⁸ *Relación de la cárcel de Sevilla* due à Christobal de Chaves.

⁹ *Las Partidas*, liv. II, titre XIII, loi IV.

¹⁰ *La contienda de García de Paredes*; Valbuena Prat, *La vida española en la Edad de Oro*, p. 20.

¹¹ E. Lafuente Ferrari, *Vélasquez* (Skira), p. 60.

¹² Письмо Андреса де Альманса и Мендоса, прокомментированное в: Ortega y Gasset, *Papeles sobre Velásquez*, pp. 204—206. О Родриго Кальдероне см. также: Marañón, *El conde duque de Olivares*, p. 50.

¹³ *Las comendadoras de Córdoba*, см.: А. Castro, *La Edad conflictiva*.

¹⁴ Viel Castel, *De l'honneur comme ressort dramatique dans les pièces de Calderon, Rojas*, etc. (*Rev. des Deux Mondes*, fév. 1841), этот фрагмент приводится и комментируется в: R. Menéndez Pidal, *De honor en el teatro español*, loc. cit. II, p. 360.

¹⁵ Lope de Vega, *La estrella de Sevilla*.

¹⁶ Baltazar Gracián, *El crítico* (García Valdecasas, loc. cit. p. 215—216).

¹⁷ *Tratado compuesto por un religioso de la orden de los frayles menores aprobado por algunos reverendos padres y señores maestros en Theología y juristas de la Unoversidad de Salamanca*, Salamanca 1586, см.: Domínguez Ortiz, *La clase de los conversos...* p. 227.

¹⁸ Ibid., p. 152, note.

¹⁹ Ibid., p. 208. Касалла, каноник из Саламанки, являлся одним из первых адептов реформы в Испании и был сожжен на костре.

²⁰ См. произведения Батайона, особенно предисловие к Lazarillo, p. 48. Об идальгизме см. также: Morel Fatio, *L'Espagne du «Don Quichotte»*, *Etudes sur l'Espagne*, I, pp. 337—341.

²¹ Marqués del Saltillo, *La nobleza española en el siglo XVIII*, *Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos*, LX (1954), n 2.

²² Barthélemy Joly, *Voyage...* p. 616.

²³ Domínguez Ortiz, *Orto y ocaso de Sevilla*, p. 82.

²⁴ Saavedra Fajardo, *Empresas* (1640).

²⁵ *Guzmán de Alfarache*, passim, см.: Moreno Báez, *Lección y sentido del «Guzmán de Alfarache»*, pp. 139—140.

²⁶ Об «античести», воплощенной Эстебанильо Гонсале-сом, см. настоящее издание, гл. X (Жизнь военных).

Глава III МАДРИД: ДВОР И ГОРОД

Рукописные известия (*Avisos, Noticias, Relaciones*) представляют собой основной источник сведений о жизни Мадрида, причем некоторые из них образуют «анналы»: Luis Cabrera de Córdoba, *Relación de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614* (Madrid 1857); León Pinelo, *Anales de Madrid* (1598—1621) publiées par R. Martorell et Télez Girón (1931); *Noticias de Madrid* (1621—1627), publiées par González Palencia (1942); *La Corte y la Monarquía de España, en los años 1636 y 1637* (colección de cartas publicadas por A. Rodríguez Villa (1886); *Avisos* de José Pellicer (1639—1644), pub. dans *Semanario erudito* (t. XXXI, XXXII et XXXIII); *Avisos* de Barrionuevo (1654—1658) pub. par A. Paz y Melía; *Cartas de algunos Padres de la compañía de Jesús* (1634—1648) pub. par Gayangos (*Memorial histórico español*, t. XIII—XIV).

Сюда следует добавить труды авторов, «живописующих нравы» (*costumbristas*) того времени, особенно следующие: Linán y Verdugo, *Guía y avisos de forasteros que vienen a la Corte* (vers 1620) pub. par la *Real Academia española* (1923) и Zabaleta, *El día de fiesta por la mañana y por la tarde* (rééd. dans *Clásicos castellanos*, Madrid, 1948).

О жизни двора: Deleito Piñuela, *El declinar de la monarquía española* (3^o éd. 1955) и *El rey se diverte* (1935); Martin Hume, *La cour de Philippe IV et la décadence de l'Espagne* (trad. de l'anglais, 1912); Gregorio Marañón, *El conde duque de Olivares o la pasión de mandar* (1^o éd. 1936).

О Мадриде и жизни города: E. Sáinz de Robles, *Porqué es Madrid capital de España*; J. Oliver Asín, *El nombre «Madrid»* (1959); Fernández Álvarez, *El establecimiento de la capitalidad de España en Madrid* (1960); C. Viñas y Mey, *La estructura social-demográfica del Madrid de los Austrias* (*Rev. de la Universidad de Madrid*, IV, n 16 (1955)); M. Espada Burgos y M. A. Burgoa, *Abastecimiento de Madrid en el siglo XVI* (1960); J. Deleito Piñuela, *Sólo Madrid es Corte* (1953) et... *También se diverte el pueblo* (2^o éd. 1954).

¹ Под названием *Sólo Madrid es Corte* Нуньес де Кастро опубликовал в 1658 г. похвальное слово столице.

² *Archivo municipal de Madrid*, Tomo XXVI, fol. 168 v.

³ *Relación du voyage d'Espagne*, éd. Carrey, pp. 175—176.

⁴ См.: Ortega y Gasset, *Papeles sobre Velázquez*, pp. 134—135.

⁵ Brunel, *Voyage d'Espagne*, chap. VI, p. 146.

⁶ García Mercadal, *Viajes...* I, pp. 1178—79.

⁷ Deleito Piñuela, *El rey se diverte*, pp. 183—190.

⁸ См.: Deleito Piñuela, *El rey se diverte*, p. 215.

⁹ *Avisos de Barrionuevo* (см.: Ortega y Gasset, *Papeles sobre Velásquez*, p. 191).

¹⁰ *Velásquez, documentos publicados por el C. S. I. C.* (1960).

¹¹ Matias de Novoa, *Historia de Felipe IV*, см.: Deleito Piñuela, p. 142.

¹² *Noticias de Madrid*, éd. par González Palencia, p. 70.

¹³ *Relation du voyage d'Espagne*, p. 447.

¹⁴ *Cartas de los Jesuitas* (Ortega y Gasset, *loc. cit.*, pp. 124—125).

¹⁵ Brunel, *Voyage d'Espagne*, pp. 155—156.

¹⁶ Marañón, *El conde duque de Olivares*, p. 95.

¹⁷ *Ibid.*, p. 208 et p. 98 note 29.

¹⁸ Brunel, chap. V, p. 141.

¹⁹ *Diario de Camille Borghèse* (Morel Fatio, *L'Espagne au XVI^e et au XVII^e siècle*, p. 177).

²⁰ Текст указа см. в: Deleito Piñuela, *Sólo Madrid es Corte*, p. 128.

²¹ García Mercadal. *Viajes...* I, p. 142.

²² Espada Burgos et Burgoa, *El abastecimiento de Madrid*, p. 16.

²³ Муниципальные архивы Мадрида хранят большое количество документов, относящихся к «снежным фермам» (*asiento de nieve*).

²⁴ Domínguez Ortiz, *Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII* (1960), p. 339.

²⁵ Linán y Verdugo, *Guía y avisos de forasteros que vienen a la Corte. Novela y escarmiento sexto*.

²⁶ Тексты приводятся в: Deleito Piñuela, *La mala vida en la España de Felipe IV*, p. 95; Ortega y Gasset, *Papeles sobre Velázquez*, p. 185.

²⁷ О ментидерос см.: Deleito Piñuela, *Sólo Madrid es Corte*, chap. XLI, XLII, XLIII. Текст Сааведры (*Idea de un Principe político cristiano*) в: J. A. Maravall, *La philosophie politique espagnole du XVIIe siècle* (trad. de l'espagnol, 1955), p. 280.

²⁸ Brunel, *loc. cit.* p. 156.

²⁹ Camille Borghèse, *loc. cit.*, et Fulvio Testi, в: García Mercadal, *Viajes...* II, 26.

³⁰ См. полное описание в: Brunel, *Voyage*, pp. 176—179.

Глава IV

СЕВИЛЬЯ В СВЕТЕ ЮЖНОАМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЙ КАСТИЛИИ

Santiago Montoto, *Sevilla en el Imperio, Siglo XVI* (Séville, s. d.); A. Domínguez Ortiz, *Orto y ocaso de Sevilla* (Séville, 1946); о торговле с колониями: P. Chaunu, *Séville et l'Atlantique*, t. VIII, 1 et 2; A. Girard, *Le commerce français à Séville et Cadix au temps des Habsbourg* (1932). Атмосфера Севильи хорошо передана в обстоятельном предисловии Родригеса Марена (Rodríguez Marín) к критическому изданию произведений Сервантеса, подготовленному Риконете и Кортадильо (*Riconete y Cortadillo*). См. также: Valbuena Prat, *La vida española en la Edad de Oro*, chap. V.

¹ Domínguez Ortiz, *Orto y ocaso de Sevilla*, chap. III.

² Toda España, Italia y Francia

Vive por este Arenal

Porqué es plaza general

De todo trato y ganancia.

³ Об атмосфере ожидания см.: B. Benassar, *Facteurs sévillans au XVIe siècle d'après leurs lettres marchandes*, *Annales E. S. C.*, XII (1957) pp. 60—71.

⁴ Этот текст приводится в: Domínguez Ortiz, *loc. cit.* Об опасностях прохождения порога см. также: P. Chaunu, *loc. cit.* VIII—I, p. 239 sq.

⁵ A. Morgado, *Historia de Sevilla* (1587) см.: Rodríguez Marín, p. 11.

⁶ *Ibid.* по: Francisco Ariño, *Succos de Sevilla de 1592 a 1604*.

⁷ González Cépedes y Meneses, *Historias peregrinas y ejemplares*, см.: Valbuena Prat, *loc. cit.*, p. 140.

⁸ Brunel, *Voyage*, p. 169. Об организации контрабанды и сообщничестве см.: Girard, *loc. cit.*, II partie, chap. IV.

⁹ *Suma de tratos y contratos* см. в: Carande, *Carlos V y sus banqueros*, p. 136.

¹⁰ *Y unas gradas que una grada*

Vale más que todo el mundo (Torres Naharro, 1545).

¹¹ О строительстве Торговой биржи см.: J. M. de la Peña, *Guía del archivo de Sevilla* (pp. 27—30).

¹² Morgado, *Historia de Sevilla*, см.: Altamira, *Historia de España*, III, p. 456.

¹³ Tomás del Mercado, *Suma de tratos y contratos*, livre II, chap. 1.

¹⁴ Domínguez Ortiz, *La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna, Estudios de Historia social de España*, t. II (1952), p. 63.

¹⁵ Domínguez Ortiz, *loc. cit.*, pp. 401—402.

¹⁶ Morgado, *Historia de Sevilla*, см.: Rodríguez Marín, *loc. cit.*

¹⁷ Morgado, *ibid.* Мнение Лопе де Вега по этому поводу высказано в *Dorotea*.

¹⁸ Céspedes y Meneses см. в: Valbuena Prat, *La vida española...* p. 140.

¹⁹ Domínguez Ortiz, *Orto y ocaso*, pp. 69—71.

²⁰ *Rinconete y Cortadillo*, éd. Rodríguez Marín, p. 61.

²¹ Письмо Филиппа IV от 1643 г. Текст приведен в: Hune, *La cour de Philippe IV*, pp. 374—375.

Глава V

ЖИЗНЬ ГОРОДСКАЯ И СЕЛЬСКАЯ

J. Vicens Vives, *Historia económica de España* (1959); P. Vilar, *La Catalogne dans l'Espagne moderne*, t. I (1962); H. Lapeyre, *Une famille de marchands, les Ruiz* (1955); A. Domínguez Ortiz, *La sociedad española en el Siglo XVIII* (1955) (многочисленные отсылки к предыдущему веку; нам не удалось использовать работу того же автора *La sociedad española en el Siglo XVII*, вышедшую в то время, когда настоящая книга находилась уже в печати).

Relaciones de pueblos de España ordenadas por Felipe II представляет собой основной источник сведений о деревенской жизни. Два тома, содержащие «донесения» о провинциях Толедо и Мадрида, были опубликованы Виньясом и Меем и Рамоном Пасом (1949 и 1955). Н. Саломон изучил сведения, относящиеся к Новой Кастилии: *Les campagnes de Nouvelles Castille à la fin du XVI^e siècle, d'après les «Relaciones topográficas»* (в печати). — В работе: C. Viñas y Mey, *El problema de la tierra en España en los siglos XVI et XVII* (1941) приводится большое количество документов. Об обычаях общин см.: J. Costa, *El colectivismo agrario en España* (1915). Об отгонном скотоводстве: J. Klein, *La Mesta* (trad. de l'anglais, Madrid, 1936).

Об отражении деревенской жизни в литературе см.: A. Valbuena Prat, *La vida española en la Edad de Oro*, chap. X, *La vida de aldea en el teatro de Lope de Vega*.

¹ Полностью текст приведен в: Pedro Rodríguez Campomanes, *Educación popular de los artesanos, Apéndice IV* (1776), pp. 216—221.

² Об упадке кастильских городов см. данные, приведенные Жираром: A. Girard, *La répartition de la population en Espagne dans les temps modernes (Rev. d'Hist. écon. et sociale, 1929, pp. 347—362)*.

³ См. весьма важные данные о ремесле в Медине-дель-Кампо, приводимые Бенассаром: B. Bennassar, *Medina del Campo, un exemple des structures urbaines de l'Espagne au XVIe siècle (Rev. d'Hist. écon. et social, 1961, n 4)*.

⁴ A. Rumeu de Armas, *Historia de la Previsión social en España* (1942), p. 231.

⁵ Alvaro Castillo, *Dette flottante et dette consolidée en Espagne de 1557 à 1600, Annales E. S. C., Juillet et août 1963*.

⁶ Например, González de Cellorigo, *Memorial de la política necesaria y útil restauración de la Republica de España* (1600); Lope de Deza, *Gobierno político de agricultura* (1618); Caixa de Leruela, *Restauración de la abundancia de España* (1631). Многочисленные отсылки см. в: Viñas y Mey, *El problema de la tierra*.

⁷ Domínguez Ortiz, *La sociedad española en el siglo XVIII*, p. 310.

⁸ *Ibid.*, pp. 335—336.

⁹ Viñas y Mey, *loc. cit.*, pp. 68—69.

¹⁰ Alvarez Orosio, *Discurso general de las causas que ofenden la monarquía*, см. в: Juderías, *España en tiempos de Carlos II el Hechizado*, pp. 121—122.

¹¹ Sempere y Guarinos, *Biblioteca española de economía política*, t. III, p. LX.

¹² Benito de Peñalosa, *Libro de las cinco excelencias del Español que despueblan a España* (Domínguez Ortiz, *loc. cit.*, pp. 277—278).

¹³ Jiménez Gregorio, *El pasado económico social de Belvis de la Jara lugar de la tierra de Talavera (Estudios de Historia social de España, t. II (1952) p. 661 sq.)*.

¹⁴ *Relaciones topográficas. Provincia de Madrid*. Réponses de El Olmedo, Getafe, Alcorcón, Pezuela.

¹⁵ Navarrete, *Conservación de Monarquías (Biblioteca de Autores Españoles, XXV, p. 476)*.

¹⁶ *Relaciones... Provincia de Madrid*, p. 18.

Глава VI ЦЕРКОВЬ И РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ

J. Deleito Piñuela, *La vida religiosa bajo el cuarto Felipe. Santos y pecadores* (1952); Valbuena Prat, *La vida española en la Edad de Oro*, chap. IV: *La vida religiosa*. О магии и колдовств-

ве: duc de Maura, *Supersticiones de los siglos XVI y XVII y hechizos de Carlos II* (s. d.).

Произведение бывшего секретаря испанской святой инквизиции Х. А. Льоренте: J. A. Llorente, *Histoire critique de l'Inquisition espagnole* (Paris, 1817), хотя, вопреки названию, и не «критично», но весьма полезно. Среди многочисленных трудов, посвященных испанской инквизиции, самым полным является: Ch. Henry Lea, *A history of Inquisition of Spain* (Londres 1907, 4 vol.). О тюрьмах инквизиции см.: M. de la Pinta Llorente, *Las cárceles inquisitoriales*.

¹ См.: Deleito Piñuela, *La vida religiosa*, p. 79.

² Aguado, *Política española para el más proporcionado remedio de nuestra monarquía* (1646), см.: Domínguez Ortiz, *La sociedad española en el siglo XVIII*, p. 554.

³ B. Joly, *Voyage*, p. 554.

⁴ Jacques Sobieski, см.: García Mercadal, *Viajes II*, pp. 330—331.

⁵ Письмо Фрея Эрнандо дель Кастильо, приведенное в: N. López Martínez, *La desamortización de bienes eclesiásticos (Hispania)*, Madrid, t. XXII (1962), pp. 230—250).

⁶ В своих «*Avisos*» Пелисье квалифицирует *galanteo de monjas* как «злоупотребление, напрасно дозволяемое в испанских королевствах и напрасно терпимое духовными и светскими должностными лицами».

⁷ *Razones por qué no se publicó el decreto de que los frailes no hablen con monjas* (Deleito Piñuela, *loc. cit.*, p. 131).

⁸ См. другие примеры, упоминаемые в: Deleito Piñuela, p. 105 sq.

⁹ Zabaleta, *Día de fiesta por la noche*, см. в: Pfandl, *Introducción al Siglo de Oro*, p. 147.

¹⁰ B. Joly, *Voyage*, p. 554.

¹¹ Pérez de Herrera, *Discursos*, см. в: Domínguez Ortiz, *Los extranjeros en la vida española*, p. 340.

¹² *Noticias de Madrid*, éd. par González Palencia, p. 168 (4 novembre 1627).

¹³ См. настоящее издание, гл. VII.

¹⁴ *Pragmatique* de 1647, обновленная в 1655 и 1657 гг.

¹⁵ B. Joly, *Voyage*, pp. 556—557.

¹⁶ Valbuena Prat, *La vida española...* p. 87.

¹⁷ *Ibid.*, p. 90 et 102—103.

¹⁸ Deleito Piñuela, p. 204.

¹⁹ О деле монастыря Сен-Пласидо см.: Deleito Piñuela, chap. XIII; G. Marañón, *El conde duque de Olivares*, pp. 190—192.

²⁰ García Navarro, *Tribunal de superstición ladina* (1631), см. в: Maura, pp. 40—41.

²¹ Maura, *loc. cit.*, p. 63.

²² Maura, *loc. cit. Exorcismos*, pp. 149—175. Систематическое изложение практики заклинаний см. в: Benito Remigio Noydens, *Práctica de exorcitas y ministros de la Iglesia* (середина XVII в.) и Luis de la Concepción, *Prácticas de conjurar en que se tienen exorcismos y conjuraciones contra los malos espíritus de cualquier modo existentes en los cuerpos* (1721).

²³ О «колдовстве», приписываемом Оливаресу, см.: Marañón, *El conde duque de Olivares*, chap. XV: *Las hechicerías de Olivares*.

²⁴ Об этой «охоте на ведьм» см.: Regla, *Hist. económ. y social de España*, t. III, pp. 383—384.

²⁵ См. об этом: M. de la Pinta Llorente, *Las cárceles inquisitoriales*.

²⁶ Бартеlemi Жоли оставил впечатляющее описание аутодафе, свидетелем которого он был в Вальядолиде (*Voyage*, pp. 578—579).

²⁷ Alvarez de Colmenar, *Les Délices de l'Espagne et du Portugal*, t. V, pp. 896—897, см.: Deleito Piñuela, p. 331.

Глава VII

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ.

ПРАЗДНИКИ И НАРОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

J. Deleito Piñuela, *El rey se divierte* (1936) et... *También se divierte el pueblo* (2e éd. 1954); A. Valbuena Prat, *La vida española en la Edad de Oro*, chap. V, *Entretenimientos y fiestas*. О боях см.: J. M. de Cossio, *Los toros, tratado técnico e histórico* (4 vol. 1960—1961).

О театре и драматических представлениях: H. Mérimée, *Spectacles et comédiens à Valencia* (1580—1630), Paris-Toulouse, 1913; Valbuena Prat, *Historia del teatro español* (1956); Bruce W. Wardropper, *Introducción al teatro religioso del Siglo de oro (La evolución del auto sacramental, 1500—1648)*, Madrid, 1953.

¹ Brunel, *Voyage d'Espagne*, p. 105 (это размышление следует за описанием праздника Тела Господня); Deleito Piñuela, *También se divierte el pueblo*, p. 15.

² *La Gran Sultana* (см. в: Pfandl, *Introducción al Siglo de oro*, p. 250, note).

³ *Vida política de todos los estados de mujeres* de Fray Juan de la Cedra (1599), см. в: Deleito Piñuela, p. 77.

⁴ P. Mariana, *De spectaculis* (1609), chap. XII.

⁵ Brunel, p. 202; описание праздника Тела Господня (Corpus Christi) занимает всю гл. XVIII.

⁶ *Estebanillo González*, chap. XII.

⁷ Brunel, chap. XVII.

⁸ Термин «*torreador*», который исчезает из употребления в испанском языке (вытесненный термином «*torero*»), был весьма употребителен в XVII в.

⁹ Brunel, p. 198.

¹⁰ О «дворах» (*corrales*) см.: Deleito Piñuela, *También se divierte el pueblo*, pp. 170—239, *loc. cit.*, p. 234—235.

¹¹ Deleito Piñuela, *También se divierte el pueblo*, p. 181.

¹² Bertzut. *Journal du voyage d'Espagne*, pp. 211—212.

¹³ О значении ауто, кроме работ Уордроппера, см.: Bataillon, *Essai d'explication des autos sacramentales* (*Bulletin Hispanique*, XLVII (1940), pp. 193—212).

¹⁴ Wardropper, *loc. cit.*, p. 60.

¹⁵ S. Montoto, *Sevilla en el Imperio*, p. 273.

¹⁶ Сведения, фигурирующие в *Comedia famosa de San Antonio Abad* Фернандо де Сарате, которую мадам д'Ольнуа представляет Виктории (Maura-Amezua, *Fantasías y realidades des viaje de la condesa d'Aulnoy*, pp. 33—35).

¹⁷ Wardropper, *loc. cit.*, p. 39.

¹⁸ ... *sermones*

puestos en verso
representables cuestiones
de la Sacra Teología
que no alcanzan mis razones
a explicar ni comprender
y al regocijo disponen
en aplauso de este día

(цит. по: Wardropper, *ibid.*, p. 21).

¹⁹ О странствующих труппах: N. Salomon, *Sur les représentations théâtrales dans les pueblos*, *Bulletin hispanique*, LXII, oct. déc. 1960.

²⁰ *Don Quichotte*, II, XI, Ангуло эль Мало был в то время импресарио Сервантеса; *Auto sacramental de las Cortes de la Muerte* — произведение Лопе де Вега (см.: Rodríguez Marín, t. IV, pp. 243—244 в новом издании *Don Quichotte de la Mancha*, 1947—1949).

²¹ Cotarelo, *Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España* (1904).

²² *Guía de los extranjeros, Aviso quinto.*

Глава VIII

ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ. ЖЕНЩИНА И СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

A. González de Amezua, *La vida privada española en el protocolo notarial* (1950); Ricardo del Arco, *La vida privada en las obras de Cervantes* (*Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, LVI, 1950, n 3); Deleito Piñuela, *La mujer, la casa y la moda* (1954). Об условиях жизни женщины: P. W. Bowli, *La femme*

dans l'Espagne du Siècle d'or (La Haye, 1950); Amédée Mas, *La caricature de la femme, du mariage et de l'amour dans l'œuvre de Quevedo* (1957).

¹ Francisco Luque Fajardo, *Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos* (début XVIIe siècle), см. в: Rodríguez Marín, éd. critique de *Rinconete y Cortadillo*, p. 40.

² Confalonieri, см. в: García Mercadal, *España vista por los extranjeros*, II, p. 260. Его свидетельства подтверждают Камиль Боргез и большинство иностранных путешественников. В сатирической литературе и испанских комедиях часто встречается намек на «*dama pedigüeña*» (просительницу), которая не стесняется просить не только у своих близких, но и порой у незнакомцев «маленькие подарки».

³ Rodríguez Villa, *La corte y la monarquía de España*, см. в: Deleito Piñuela, *La mala vida en la España de Felipe IV*, p. 83.

⁴ Fr. Luis de León, *La perfecta casada* (1583).

⁵ Mme d'Aulnoy, *Relation du voyage d'Espagne*, p. 445; Bertaut, *Voyage*, p. 207 (там уже была сделана аналогичная ремарка).

⁶ Brunel, p. 157; Bertaut, *loc. cit.*, p. 207.

⁷ По рукописи Национальной библиотеки в Мадриде (см. Deleito Piñuela).

⁸ Б. Жоли выражает свое возмущение по поводу нескромного использования этих «нужников» (*Voyage*, p. 552).

⁹ F. Santos, *Día y noche de Madrid. Discurso X*.

¹⁰ Pfandl, *Introducción al Siglo de oro*, p. 278.

¹¹ См. другие свидетельства об испанской сдержанности в: Deleito Piñuela, pp. 108—115.

¹² Astraña y Marín, *Lope de Vega*, p. 164 (по: *Relaciones de Luis de Cabrera* (1609)).

¹³ Об «ученых женщинах» см.: P. W. Bowli, chap. IV.

¹⁴ Цит. по: A. Mas, p. 77.

¹⁵ *Relation du voyage d'Espagne*, pp. 249—250.

¹⁶ Alvares de Colmenar, цит. по: Deleito Piñuela, p. 175. Мадам д'Ольнуа тоже обратила на это внимание.

¹⁷ Rodríguez Villa, *La corte y la monarquía de España*, p. 144.

¹⁸ Сравнение портрета Марии-Анны Австрийской, хранящегося в музее Прадо, и портретов предыдущей королевы, Изабеллы Бурбонской, весьма показательны.

¹⁹ Текст приводится герцогом де Морой и Гонсалесом Амесуа: *Fantastas y realidades del viaje de la condesa d'Aulnoy*, pp. 264—266.

²⁰ León Pinelo, *Velos antiguos y modernos en los rostros de las mujeres; sus conveniencias y daños* (Maura et G. Amezua, *ibid.*, pp. 266—267).

²¹ О «каретной лихорадке» Делеито Пиньюэла (p. 257 sq.) собрал большое количество текстов.

Об университетах и жизни студентов: La Fuente, *Historia de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseñanza de España*, 4 vol. (1884—1889); G. Reynier, *La vie universitaire dans l'ancienne Espagne* (Paris—Toulouse 1902); J. García Mercadal, *Estudiantes, sopistas y picaros* (1934); Valbuena Prat, *La vida española en la Edad de Oro* (1949), гл. II: *El Estudiante. Las Universidades*.

О литераторах: C. Vossler, *Lope de Vega y su tiempo* (1934) и *Introducción a la literatura del Siglo de Oro* (1949); A. Valbuena Prat, *Literatura dramática española* (1930); L. Astrana Marín, *La vida azarosa de Lope de Vega* (2-е изд., 1941); José Sánchez, *Academias literarias del Siglo de Oro español* (1960); A. Comas y J. Regla, *Góngora, su tiempo y su obra* (1960); R. Menéndez Pidal, *Culteranos y conceptistas (España y su historia, II, pp. 501—547)*.

¹ О возрастании количества университетов и «деревенских» университетов см.: Reynier: *loc. cit.* 2^e partie, chap. I et III.

² Указы, сохранившиеся в *Novísima Recopilación de las Leyes de España*, книга III, документ IX, законы 3 и 4.

³ *Instrucciones que dio D. Enrique de Guzmán, conde de Olivares a D. Laureano de Guzmán*, в: García Mercadal, *loc. cit.*, p. 71.

⁴ *Avisos de Barrionuevo II*, 240, см.: Ortega y Gasset, *Papeles sobre Velázquez*, p. 190.

⁵ *Ceremonial de l'université de Salamanque*, chap. XVI (García Mercadal, *loc. cit.*, pp. 152—153).

⁶ *Ibid.*, p. 143 et Reynier, chap. VII.

⁷ *Instrucción de los bachilleres de pupilos* (1538) в: García Mercadal, *loc. cit.*, pp. 83—85.

⁸ Quevedo, *La vida del Buscón llamado D. Pablos*, chap. III.

⁹ *Novísima Recopilación de las Leyes de España*, liv. I, titre XII, loi 14.

¹⁰ Cervantes, *Coloquio de los perros*.

¹¹ *hacerse de obispillo* («делать своего маленького епископа»): намек на шутовской праздник, аналогичный празднику дураков, который отмечался в Средние века в некоторых церквях Франции и во время которого студенты и представители духовенства в облачении священников пародировали церковные обряды.

¹² Mateo Alemán, *Guzmán de Alfarache*, II partie, livre III, chap. V.

¹³ Jerónimo de Alcalá, *Alonso, mozo de muchos amos*.

¹⁴ *Guzmán de Alfarache*, chap. V.

¹⁵ La Fuente, *Historia de las Universidades*, t. III, p. 95.

¹⁶ О беспорядках, устраивавшихся студентами, см.: Reynier, chap. IV et García Mercadal, chap. XI: *Armas y reyertas*.

¹⁷ Из многочисленных биографий Лопе де Вега мы больше всего использовали: Astraña Marín, *La vida azarosa de Lope de Vega*. См. также: G. Laplane, *Lope de Vega* (1962).

¹⁸ Una dama se vende a quien la quiere
en almoneda está. ? Quieren comprarla?
su padre es quien la vende que, aunque calla
su madre la sirvió de pregonera.

¹⁹ Por tu vida, Lope, que me borres
las diez y nueve torres de tu escudo
porque, aunque todas son de viento, dudo
que tengas viento para tantas torres.

²⁰ ...que está aforrado de martas
anda haciendo magdalenos.

²¹ *Noticias de Madrid*, éd. par González Palencia, p. 28 (26 juin 1622).

²² Об этом литературном вторжении и постепенной победе формализма см.: Ortega y Gasset, *Papeles sobre Velázquez*, p. 208 sq.

²³ «Романс» в испанском значении этого термина — короткая поэма на героическую или эпическую тему; в более общем смысле — поэма, написанная октосиллабическим стихом.

²⁴ Речь идет об Академии *El Parnaso*, покровителем которой был Франсиско де Сильва (Astraña Marín, p. 234).

²⁵ *Estebanillo González*, chap. XII; см. выше, с. 151.

²⁶ Eburnea de candor, fénix pomposa
débil botón, frondoso brujulea
zafir mendiga, armiño golosea
siendo dosel, trbuna vaporosa.

Мы не гарантируем точности нашего перевода.

²⁷ *Guía para forasteros, Escarmiento IX*.

²⁸ *Académie burlesque célébrée par les poètes de Madrid au Buen Retiro en 1637*, текст полностью передан в: Morel Fatio, *L'Espagne au XVIe et XVIIe siècle*, pp. 602—684.

Глава X ЖИЗНЬ ВОЕННЫХ

J. Deleito Piñuela, *El declinar de la monarquía española* (3e éd. 1955), partie III: *La defensa nacional* (с весьма информативной библиографией); *Autobiografías de soldados. Estudio preliminar* de J. M. Cossio (*Biblioteca de Autores españoles*, t. XC (1956); Morel Fatio, *Soldats espagnols du XVIIe siècle (Etudes sur l'Espagne, 3e série)*.

¹ *Noticias de Madrid* (1639). О «вербовке» рекрутов см.: García Mercadal, *Estudiantes, pícaros y sopistas*, pp. 216—218.

² F. Braudel, *La Méditerranée et le monde méditerranéen au*

temps de Philippe II. В работе показано, насколько трудна была проблема расстояний и сообщения в период правления Филиппа II: «...Добрая половина усилий Филиппа II определялась исключительно необходимостью поддерживать связи, обеспечивать транспорт, осуществлять необходимую переброску денег в самые удаленные области королевства» (р. 32).

³ *Vida del Capitán Alonso de Contreras (Autobiografías de soldados*, pp. 77—148). Существует хороший французский перевод с интересным предисловием Ж. Буланже: *Les aventures du capitaine Alonso de Contreras* (1933). Другое издание: *Revista de Occidente* (Madrid, 1943) с предисловием J. Ortega y Gasset.

⁴ Этот маршрут (*derrotero*), до сих пор хранящийся в Национальном архиве Мадрида (Ms. 3715 fol 1 à 107), представляет собой главный документ, подтверждающий слова Контрераса; он был опубликован после описания жизни в *Autobiografías de soldados* (pp. 149—235).

⁵ *Vida y trabajos de Jerónimo de pasamonte (Autobiografías*, pp. 5—75); *Vida de Miguel de Castro, ibid.*, pp. 487—627.

⁶ *Memorias de D. Diego Duque de Estrada, ibid.*, pp. 251—627.

⁷ *Mi linaje empieza en mí
porque son mejores hombres
los que sus linajes hacen
que aquellos que lo deshechan
adquiriendo viles nombres.*

(Mateo Fragoso, *Lorenzo me llamo*).

⁸ Рукопись 1610 г., которая приводится в: Deleito Piñuela, *loc. cit.*, p. 177. Однако королевские указы 1632 и 1652 гг. пытались ввести военную униформу.

⁹ Deleito Piñuela, *ibid.*, p. 209.

¹⁰ Свидетельство Мигуэля Сурьяно, см. в: García Mercadal, *Viajes*, I, 1140.

¹¹ В 1663 г. 14 полков гвардии (*tercios*) насчитывали в целом 1553 человека (Deleito Piñuela, *loc. cit.*, p. 194 sq.).

¹² Письмо Карлоса Короны приводится в: Altamira, *Historia de España*, III, p. 297.

¹³ *Avisos de Pellicer* (14 juin et 26 juillet 1639).

¹⁴ Об этом эпизоде: Domínguez Ortiz, *La movilización de la nobleza castellana en 1640*, в: *Anuario de Historia del Derecho español*, XXV (1955), pp. 799—823.

¹⁵ Deleito Piñuela, *loc. cit.*, p. 199.

¹⁶ Биография автора, составленная Уильямом Кнеппом Джонсом на основе архивных документов (*Estebanillo González, Revue hispanique*, LXXVII, pp. 201—245), подтверждает правильность «послужного списка» Эстебанильо (включая его дезертирство и запись в ряды французских войск).

¹⁷ Estebanillo González, livre I, chap. VII.

¹⁸ Этот вывод приводит Делеито Пиньюэла в своей работе: Deleito Piñuela, *El declinar de la monarquía española*.

Глава XI ПЛУТОВСКАЯ ЖИЗНЬ

Основные плутовские романы были собраны в издании: *La novela picaresca española. Estudio preliminar, selección, prólogos y notas* de A. Valbuena Prat (Madrid, 1962). См. работу того же автора: *La vida española en la Edad de Oro*, chap. VII: *La literatura picaresca y su significación y fondo social*.

Проблема документальной ценности и этической значимости плутовского романа стала материалом многочисленной критической литературы (см.: Deleito Piñuela, *La mala vida en la España de Felipe IV*, pp. 117—118, примечания для произведений до 1950 г.). На французском языке можно прочесть: G. Reynier, *Le roman réaliste au XVII^e siècle* (1914), и особенно: M. Bataillon, *Le roman picaresque* (1931), а также предисловие к двуязычному изданию *Lazarillo de Tormes*. Литература по-испански: González Palencia, *De Lazarillo a Quevedo* (1946); Moreno Báez, *Lección y sentido del «Guzmán de Alfarache»* (1945).

О персонажах из плутовского мира в произведениях Сервантеса см.: R. del Arco, *La ínfima levadura social en las obras de Cervantes* и *La crítica social en Cervantes (Estudios de Historia social de España, II* (1952), pp. 209—326); E. F. Jareno, «*El Coloquio de los perros*» *documento de la vida española en la Edad de Oro* (ibid., pp. 327—364). В предисловии и комментариях Родригеса Марена к своему критическому изданию *Rinconete y Cortadillo* собрано большое количество текстов и документов, которые демонстрируют тесную связь между плутовской действительностью и ее литературным отражением.

¹ Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana («atalaya» в смысле наблюдения). Обе части Guzman были опубликованы Шапеленом в 1619 и 1620 гг. (то есть спустя 20 лет после выхода испанского произведения).

Дискуссии относительно значения плутовского романа в основном были сосредоточены вокруг «Гусмана», настоящей «библии» плутовства (и одновременно его первого литературного отражения). Moreno Báez, *loc. cit.* представляет его как типичное произведение барочного духа, истоки которого — в Контрреформации; J. A. van Praag, *Sobre el sentido del «Guzmán de Alfarache» (Estudios dedicados a Menéndez Pidal, t. V* (1954), pp. 282—306), напротив, видит в

нем весьма показательное проявление состояния духа «нового христианина», озлобившегося на общество, в котором живет. Ни та, ни другая интерпретация не кажется нам убедительной.

² О «Lazarillo» как предшественнике плутовского романа см. работы М. Батайона.

³ Это мнение Гонсалеса Паленсии: González Palencia, *De Lazarillo a Quevedo*. О различиях духа *Lazarillo* и *Guzmán de Alfarache* см.: Bataillon, предисловие к двуязычному изданию *Lazarillo de Tormes*.

⁴ Краткую биографию Августина де Рохаса см. в: Deleito Piñuela, *La mala vida*, pp. 157—158.

⁵ Предисловие Игнасио Бауэра к *Vida del Escudero Marcos de Obregón Vincente Espinel* («Las cien mejores obras de la literatura española», vol. 35). О правдивости описания приключений Эстебанильо Гонсалеса см. прим. 17 к предыдущей главе.

⁶ *Cartas de los jesuitas*, см. в: Ortega y Gasset, *En torno a Velázquez*, p. 148.

⁷ Claudio Sánchez Albornoz, *España*, un enigma histórico, I, chap. IX, p. 573.

⁸ *Novísima recopilación de las leyes de España*, livre I, titre XII, lois 6 et suiv.

⁹ Rumeu de Armas, *Historia de la previsión social en España*, chap. XIV, pp. 270—271.

¹⁰ *Discurso del amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos* de Pérez de Herrera (1598), см. в: R. del Arco, *Cervantes testigo social*.

¹¹ См. в: Deleito Piñuela, *La mala vida*, pp. 136—137.

¹² *La vida del Buscón*, livre I, chap. VIII.

¹³ Luis Zapata, *Miscelanea* (1592) переиздано в: *Memorial histórico español*, Madrid, 1852, t. XI.

¹⁴ *Rinconete y Cortadillo*, édit. Rodríguez Marín, p. 56 note 2.

¹⁵ Valbuena Prat, *La vida española...*, p. 188.

¹⁶ Ricardo del Arco, *La ínfima levadura social en la obra de Cervantes*, p. 222.

¹⁷ B. Joly, *Voyage*, p. 518.

¹⁸ Enrique Cock, в: García Mercadal, *Viajes...* I, p. 1047.

¹⁹ García Mercadal, *España vista por los extranjeros*, t. III, p. 15 sq.

²⁰ *La hija de Celestina* (*La novela picaresca española*, p. 886).

²¹ *La illustre Fregona* (*Ibid.*, pp. 150—151).

²² M. Bataillon, *Le roman picaresque*, p. 16.

²³ См. в: Valbuena Prat, *La vida española en la Edad de Oro*, p. 154. О «пикаризации» испанского общества см.: M. Bataillon, *loc. cit.*; об атмосфере «разочарованности» см.: P. Vilar, *L'Espagne du «Quichotte»* (*Europe*, XXXIV, pp. 3—16).

СОДЕРЖАНИЕ

В. Д. Балакин. Век великой иллюзии.

6

Предисловие

13

Глава I

«Письмо о путешествии в Испанию»

Путешествие: таможи, транспорт, постоянные дворы. — Разнообразие испанского пейзажа. Изгнание морисков и его последствия. Экономический спад и его причины. Упадок городов; роль иностранцев. Испанский темперамент и провинциальный партикуляризм. — Королевство Франция и королевство

Испания

16

Глава II

Жизненный уклад

Католическая вера. — Честь. — Честь быть христианином и «чистота крови». — Идальгизм и пристрастие к благородству. — Реакция: античесть как общественная позиция. — Идеализм и реализм

36

Глава III

Мадрид: двор и город

1. Мадрид, королевский город. — Двор: дворец и пышная королевская жизнь. Этикет. Шуты. Галантные ухаживания во дворце. — Королевские праздники. «Буэн ретиро». Блеск и нищета двора. — Жизнь грандов. Роскошь и ее законодательное ограничение. Мода. Любовь и деньги. Моральная деградация дворянства

2. Город. Перемены и украшения. Нечистота улиц. Воздух и вода Мадрида. Снабжение и хозяйственная деятельность. — Население Мадрида: космополитизм и отсутствие безопасности. Социальная жизнь: «ментидерос» и общественное мнение. Светская жизнь и Прадо. Жизнь народа. Мансанарес и праздник «сотильо»

60

Глава IV

Севиля в свете южноамериканских колоний Кастилии

Севиля — порт сообщения с Южной Америкой. Экономическая деятельность. Флоты и галионы.

Центры городской жизни. — Население Севильи. Иноземцы и рабы. — Атмосфера Севильи и ее контрасты: роскошь, расточительство, коррупция. — Севилья и общественное мнение Испании

97

Глава V

Жизнь городская и сельская

- 1. Упадок городов и его причины. — Хозяйственная деятельность. Ремесленные цехи и братства. Буржуазия. — Городской пейзаж. Город и деревня*
- 2. Сеньориальный уклад и повинности. Налоги и чинши. — Сельское хозяйство. Общины и отгонное скотоводство. — Условия жизни крестьян: деревня; праздники и развлечения. Образ крестьянина в театре золотого века*

119

Глава VI

Церковь и религиозная жизнь

- Церковь Испании. Духовенство и церковные владения. — Монастырская жизнь: ее духовное и мирское начала. — Религиозная практика: любовь к ближнему и религиозный пыл. — Культ Пресвятой Девы и святых. Братства. Большие религиозные праздники. — Извращения религиозных чувств: приверженность к обрядам и ее крайности. «Озарение» и колдовство. — Испанская инквизиция*

139

Глава VII

Общественная жизнь. Праздники и народные развлечения

- 1. Религиозные и светские праздники. — Танцы и маскарады. Карнавал. Шествия в праздник Тела Господня. — «Juegos de Canas» и коррида*
- 2. Театр. Залы для спектаклей и публика. — Представления: «comedias» и «autos sacramentales». — Труппы странствующих артистов. — Социальное положение актеров и любовь к театру*

167

Глава VIII

Домашняя жизнь. Женщина и семейный очаг

- Условия жизни женщины и их противоречивость. — Дом. Прислуга. Трапеза и кухня. — Женское воспитание. Ученые женщины. Туалеты и женская мода. Выезд в свет: «tarado» и кареты*

188

Глава IX

Университетская жизнь и мир литературы

1. Университетская жизнь. Саламанка, Алькала и «деревенские» университеты. — Организация университета. Преподавание. Экзамены и присвоение ученых степеней. — Жизнь студентов. Большие колледжи и пансионы для студентов. «Студенческий голод». — Забавы и развлечения. Жестокие шутки над новичками. — Упадок университетов

2. Мир литературы. Величие и бремя писательской жизни: Лопе де Вега. — Страсть к письму и поэтические академии. Утонченность литературного языка: концептизм и культеранизм

210

Глава X

Жизнь военных

Престиж испанского оружия. Комплектование армии и личный состав войск. — Военная карьера. Жизнь и приключения капитана Алонсо де Контрераса. — Солдатский темперамент: храбрость, стойкость, гордость и хвастовство. — Закат военного духа. «Жизнь и подвиги Эстебанильо Гонсалеса»

244

Глава XI

Плутовская жизнь

«Плут» и плутовской мир. Плутовской роман как свидетельство социальной жизни. — Обитатели плутовского мира и их разнообразие: нищие, мошенники, наемные убийцы и проститутки. — «Плутовская» география. — Философия плутовства и ее значение в Испании золотого века

272

Библиография и примечания

293

Дефурно М.
Д 39 Повседневная жизнь Испании золотого века /
Пер. с фр. Т. А. Михайловой; Науч. ред. и предисл.
В. Д. Балакина. — М.: Мол. гвардия, 2004. — 314[6]
с.: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь че-
ловечества).

ISBN 5-235-02445-1

Современный французский писатель и исследователь М. Дефурно, используя художественный прием увлекательного рассказа от имени и глазами очевидца, добивается эффекта читательского присутствия на дорогах, в городах, дворцах, домах и кабаках Испании времен ее золотого века. Яркие зарисовки жизни испанцев всех сословий (любовь, война, поэзия, инквизиция) и остросюжетные коллизии этой богатой на приключения эпохи мушкетеров и авантюристов основаны на тщательно подобранных автором исторических источниках, прежде всего мемуарной литературы.

Книга сопровождается ценным иллюстративным материалом.

УДК 94(460)•654»
ББК 63.3(4)511(4 Исп)

Дефурно Марселен
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ИСПАНИИ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Главный редактор **А. В. Петров**

Редактор **В. М. Петров**

Художественный редактор **А. Ю. Никулин**

Технический редактор **В. В. Пилкова**

Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Слано в набор 18.11.2003. Подписано в печать 20.01.2004. Формат 84x108/32
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Гарамон». Усл.-печ. л
16,8+0,84 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 34601.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127030 Москва
Сущевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: dssel@gvardiya.ru.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127030 Москва
Сущевская ул., 21.

ISBN 5-235-02445-1

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

в самое ближайшее время
представит на суд читателей следующие издания:

М. Вострышев
«ПАТРИАРХ ТИХОН»

Н. Черкашин
«АДМИРАЛ КОЛЧАК»

Г. Сухина
«ГРИГОРЬЕВ»

К. Жиль
«МАКИАВЕЛЛИ»

С. Федякин
«СКРЯБИН»

В. Бондаренко
«ВЯЗЕМСКИЙ»

Ж.-П. Ру
«ТАМЕРЛАН»

А. Берне
«БРУТ»

И. Клулас
«ИАНА ПУАТЬЕ»



Отзывы, творческие и коммерческие предложения:

787-63-85; 978-89-82; 787-63-75; 787-63-87

<http://mg.gvardiya.ru> dsel@gvardiya.ru

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

в самое ближайшее время
представит на суд читателей следующие издания:

Ю. Лошиц
«ГОНЧАРОВ»

Ф. Важнер
«ГОСПОЖА РЕКАМЬЕ»

Ю. Селезнев
«ДОСТОЕВСКИЙ»

Н. Старосельская
«ТОВСТОНОГОВ»

О. Лекманов
«ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ»

В. Андриянов
«КОСЫГИН»

М. Синез
«герман Гессе»

С. Дурьлин
«Нестеров»

А. Мусаев
«Шейх Мансур»



Отзывы, творческие и коммерческие предложения:

787-63-85; 978-89-82; 787-63-75; 787-63-87

<http://mg.gvardiya.ru>, dsel@gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

М. Л. Дубаев

РЕРИХ

Имя Николая Рериха вот уже более ста лет будоражит умы исследователей, а появление новых архивных документов вызывает бесконечные споры о его месте в литературе, науке, политике и искусстве. Многочисленные издания книг Николая Рериха свидетельствуют о неугасающем интересе к нему массового читателя.

Историк-востоковед М. Л. Дубаев уже обращался к этой легендарной личности в своей книге «Харбинская тайна Рериха». В новой работе о Н. К. Рерихе автор впервые воссоздает подлинную биографию, раскрывает внутренний мир человека-гуманиста, одного из выдающихся деятелей русской и мировой культуры XX века, способствовавшего сближению России и Индии. Прожив многие годы в США и Индии, Н. К. Рерих не прерывал связи с Россией. Экспедиции в Центральную Азию, дружба с Рабиндранатом Тагором, Джавахарлалом Неру, Франклином Рузвельтом, Генри Уоллесом, Гербертом Уэллсом, Александром Бенуа, Сергеем Дягилевым, Леонидом Андреевым, Максимом Горьким, Игорем Грабарем, Игорем Стравинским, Алексеем Ремизовым во многом определили судьбу художника. Книга основана на архивных материалах, еще неизвестных широкой публике, и открывает перед читателем многие тайны «Державы Рерихов».



Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:

127994, Москва, Сушевская ул., 21

Телефоны: 787-63-85; 978-89-82. Факс: 978-12-86

Телефоны для оптовых покупателей:

787-63-75; 787-63-97; 787-64-78; 787-63-81

При издательстве работает

книжный магазин:

972-05-41; 787-64-77

Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:

<http://mg.gvardiya.ru.dsel@gvardiya.ru>

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

В. И. Андриянов
КОСЫГИН

Алексея Николаевича Косыгина по праву называют лучшим главой правительства в России XX века. О его жизни и деятельности, о загадках политического долгожительства на советском олимпе писатель Виктор Андриянов рассказывает, основываясь на неизвестных архивных документах, воспоминаниях родных и близких, соратников и товарищей А. Н. Косыгина.

В книге использованы фотографии из личных архивов Т. Д. Гвишиани-Косыгиной, а также И. П. Казанца, Е. А. Козловского и автора.



Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:

127994, Москва, Сушевская ул., 21

Телефоны: 787-63-85; 978-89-82. Факс: 978-12-86

Телефоны для оптовых покупателей:

787-63-75; 787-63-97; 787-64-78; 787-63-81

При издательстве работает

книжный магазин:

972-05-41; 787-64-77

Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:

<http://mg.gvardiya.ru> dsel@gvardiya.ru

Всех любителей
гуманитарной литературы
приглашаем посетить
новый специализированный
магазин-салон

КНИЖНАЯ СЛОБОДА



открытый при издательстве «Молодая гвардия»



В продаже самый широкий ассортимент
биографических изданий,
книги по истории, философии, психологии
и другим отраслям гуманитарных знаний.

Наш адрес: ул. Новослободская, 14/19, строение 4.
Проезд до станций метро «Менделеевская» (в минуте ходьбы)
или «Новослободская».

Телефоны: 972-05-41, 787-64-77.

<http://mg.gvardiya.ru> ☎ book@gvardiya.ru









СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

Л. Крете
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
КАЛИФОРНИИ
В ГОДЫ ЗОЛОТОЙ
ЛИХОРАДКИ

Э. Драйтова
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
А. ДЮМА И ЕГО ГЕРОЕВ

Ж. Бордонов
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ТАМПЛИЕРОВ В XIII ВЕКЕ

Е. Суслина
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РУССКИХ ЩЕГОЛЕЙ
И МОДНИЦ

М. Брион
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕНЫ ВО ВРЕМЕНА
МОЦАРТА И ШУБЕРТА

Ф. Декрузет
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕНЕЦИИ ВО ВРЕМЕНА
ГОЛЬДОНИ

ISBN 5-235-02445-1



9 785235 024458

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ